

Тадеуш  
Доленга-Мостович

### Знахарь

Популярный польский писатель хорошо известен мелодраматическим романом «Знахарь» и его одноименной киноверсией, которая неоднократно и с неизменным успехом демонстрировалась в кинотеатрах и на телеэкранах.

Несмотря на удары судьбы, герои сохраняют страстную любовь, верность, преданность и благородство...

Тадеуш Доленга-Мостович  
Знахарь

### Глава I

Над операционным столом повисла тревожная тишина, изредка нарушаемая резким стуком хирургических инструментов, которые ассистенты брали со стеклянного столика. В операционной стояла невыносимая жара. В воздухе витал сладковатый запах хлороформа и свежей крови. Одна из санитарок потеряла сознание, но никто из персонала не мог отойти от операционного стола, чтобы привести ее в чувство. Три ассистента не сводили внимательных глаз с открытой красной полости, над которой спокойно и, казалось, неловко двигались большие сильные руки профессора Вильчура.

Каждый жест этих рук нужно было понять мгновенно. Каждый звук, доносящийся время от времени из-под маски, означал приказ, который ассистенты исполняли в тот же миг. Борьба шла не только за жизнь пациента, но и за престиж. Благополучный исход этой отчаянной, казалось бы, безнадежной операции мог стать триумфом хирургии и принести известность не только профессору, его клинике и ученикам, но и всей польской науке.

Профессор Вильчур делал операцию на сердце. Держа его на левой ладони, он ритмичными движениями пальцев массировал его, так как сердце слабело. Сквозь тонкую резиновую перчатку он чувствовал каждое его колебание. Когда сердечные клапаны отказывали, доктор немеющими пальцами заставлял их работать. Операция шла уже сорок шесть минут. Следящий за пульсом доктор Марчевский шестой раз вводил пациенту камфору с атропином.

В руках профессора один за другим менялись инструменты. К счастью, гнойный очаг неглубоко проник в сердечную мышцу и пациента еще можно было спасти. Только бы выдержало сердце еще минут восемь-девять!

«Однако никто из них не решился! — подумал профессор. — Никто — ни один хирург Лондона, Парижа, Берлина или Вены». Пациента привезли в Варшаву. Все отказались от славы и большого гонорара. А гонорар — это строительство нового корпуса больницы да еще путешествие Беаты с дочуркой на Канарские острова на всю зиму. Тяжело будет без них, но зато они хорошо отдохнут. Нервы Беаты в последнее время совсем сдали.

Синеvато-розовый мешок спазматически вздулся и мгновенно опал. Раз, второй, третий...

Кусок трепещущей плоти в левой руке профессора сжался. Из маленькой ранки на фиолетовую оболочку вытекло несколько капель крови. В глазах присутствующих появился испуг.

Раздалось тихое шипение кислорода, и игла «Рекорда» снова вошла в вену больного. Пальцы профессора ритмично сжимались и разжимались.

Еще несколько секунд и ранка была очищена. Профессору подали тонкую хирургическую нить. Первый, второй, третий шов. Трудно было поверить, что эти огромные руки способны совершить такое. Профессор осторожно положил сердце и несколько мгновений всматривался в него. Оно пульсировало в неровном ритме, но опасность уже миновала. Профессор выпрямился и велел ассистентам продолжать операцию. Из стерильных полотен доктор Скужень достал удаленную часть грудной клетки. Работа продолжалась. Отдав необходимые распоряжения, профессор покинул операционную. Он был уверен, что ассистенты доведут дело до конца. Глубоко вдохнув свежий воздух. Вильчур снял маску, перчатки, передник, забрызганный кровью халат и расправил плечи. Часы показывали половину третьего.

«Опять опаздываю на обед, да еще в такой день, — подумал он. — Правда, Беата знает, какая сегодня трудная операция, но опоздание ее огорчит». Выходя утром из дому, он нарочно сделал вид, что не помнит о сегодняшней дате: исполнилось восемь лет со дня их бракосочетания. Но Беата знала, что забыть он не мог. Каждый год в этот день он дарил жене какой-нибудь оригинальный подарок, с каждым годом все прекраснее и дороже по мере того, как росли его известность и состояние. И сейчас, наверное, в кабинет уже принесли подарок, который он заказал.

Профессор торопливо переодевался. Однако он помнил, что предстоит осмотреть еще двух больных на первом этаже и пациента, прооперированного совсем недавно. Дежуривший около него доктор Скужень лаконично доложил:

— Температура и давление в норме, пульс очень слабый с некоторой аритмией.

— Слава Богу, — улыбнулся профессор.

Взглядом, полным признательности и уважения, молодой доктор окинул внушительную фигуру учителя. Он слушал лекции профессора в университете, когда тот занимался научной деятельностью. Доктор помогал ему готовить материал для научных работ. А когда профессор открыл частную клинику, доктор Скужень получил в ней хорошо оплачиваемую работу и все условия для самостоятельной деятельности. Возможно, в душе он сожалел, что профессор внезапно отказался от дальнейшей научной работы, ограничившись чтением лекций в университете и практикой, приносящей большие деньги. Но это не могло повлиять на доброе отношение молодого доктора к своему учителю и шефу. Как и все в Варшаве, он знал, что профессор поступал так не ради себя, что он работал как вол и никогда не колебался, если нужно было взять на себя ответственность. В сложнейших операциях, таких, как сегодня, проявлялся талант. Как хирург Вильчур творил чудеса.

— Вы гений, пан профессор, — восторженно сказал доктор Скужень.

Профессор Вильчур рассмеялся своим мягким добродушным смехом, который успокаивал пациентов и вселял в них веру в исцеление.

— Не преувеличивайте, коллега, не преувеличивайте. И вы достигнете того же. Но, должен признаться, я доволен. Звоните мне домой, хотя, надеюсь, вы справитесь сами. У меня, знаете ли, сегодня домашнее торжество. Из дому, наверное, уже звонили...

Профессор не ошибался. В его кабинете уже несколько раз звонил телефон.

— Прошу передать пану профессору, — говорил слуга, — чтобы он как можно скорее возвращался домой.

— Профессор в операционной, — каждый раз флегматично отвечала секретарша панна Яновичувна.

— Что за штурм, черт возьми! — проговорил, входя в приемную, главный врач Добранецкий.

Панна Яновичувна вынула из машинки отпечатанную страницу и сказала:

— Сегодня годовщина бракосочетания пана профессора. Забыли? У вас ведь приглашение...

— Ах, да. Надеюсь хорошо повеселиться... Как всегда, у них будет первоклассный оркестр, отменный ужин, лучшее общество.

— Это еще не все! Вы забыли о прекрасных женщинах, — иронически заметила секретарша.

— Вовсе нет. Если вы там будете... — галантно произнес доктор.

На бледных щеках секретарши появился румянец.

— Не остроумно, — пожала она плечами. — Даже будь я красавицей, и то не рассчитывала бы на ваше внимание.

Панна Яновичувна не любила Добранецкого, хотя, как мужчина, он нравился ей: орлиный нос, высокий лоб и задумчивый взгляд. Она знала, что он хороший хирург, потому что сам профессор поручал ему сложнейшие операции и перевел на должность доцента. Однако она считала его холодным и расчетливым карьеристом, охотившимся за богатой невестой, и, кроме того, не верила в его искреннюю благодарность профессору, которому он был обязан всем.

Добранецкий был достаточно прозорлив, чтобы почувствовать эту неприязнь. А поскольку в его правила не входило восстанавливать против себя кого бы то ни было, кто мог хоть чем-нибудь ему навредить, он примирительно спросил, указывая на стоявшую возле стола коробку:

— Сшили себе новую шубу? Коробка от Порайского.

— Я не могу позволить себе одеваться у Порайского, тем более сшить такую шубу.

— Даже «такую»?

— Загляните. Черные соболя.

— О-го-го!.. Хорошо же живется пани Беате.

Покачав головой, он добавил:

— По крайней мере, материально.

— Что вы имеете в виду?

— Ничего.

— Постыдились бы! — вспыхнула панна Яновичувна. — Такой муж и так любит ее...

Позавидовать ей могла бы каждая женщина.

— Очевидно.

Панна Яновичувна пронзила его гневным взглядом.

— У нее есть все, о чем может мечтать женщина! Молодость, обаяние, очаровательная дочурка, известный и обожающий ее муж, который работает днями и ночами, чтобы обеспечить ей все удобства, положение в обществе. И уверяю вас, доктор, что она умеет это ценить!

— Я не сомневаюсь, — кивнул головой доктор. — только знаю, что женщины больше всего ценят...

Не успел он закончить свою мысль, как в кабинет вбежал доктор Ванг и воскликнул:

— Потрясающе! Удалось! Будет жить!

С энтузиазмом он начал рассказывать о ходе операции, во время которой ассистировал профессору.

— Только наш профессор мог отважиться на такое!.. Показал, на что способен, — с гордостью заметила панна Яновичувна.

— Ну, не будем преувеличивать, — продолжал доктор Добранецкий. — Мои пациенты не всегда лорды и миллионеры, может быть, им не всегда по шестьдесят, но история знает целый ряд успешно проведенных операций на сердце, в том числе и история нашей медицины.

Варшавский хирург доктор Краевский именно после такой операции приобрел всемирную известность. Это было тридцать лет назад!

В кабинете собрались врачи из персонала клиники, и когда, спустя несколько минут, появился профессор, на него обрушился поток поздравлений.

Он слушал их, и на его раскрасневшемся, с крупными чертами, лице светилась добрая улыбка. Профессор украдкой поглядывал на часы. Однако прошло не менее 20 минут, прежде чем он оказался внизу в своем большом черном автомобиле.

— Домой, — бросил он шоферу, поудобнее устраиваясь на сиденье.

Усталость быстро проходила. Он чувствовал себя здоровым и полным сил. И, хотя из-за полноты Вильчур выглядел гораздо старше своих 43 лет. Чувствовал он себя моложе своего возраста, а временами казался просто мальчишкой, особенно когда кувырчался на ковре с маленькой Мариолой или играл с ней в прятки. При этом он не только забавлял дочурку, но и сам получал удовольствие от игры с ней.

Беата не понимала его, и, когда присматривалась к нему в такие минуты, в ее глазах можно было увидеть что-то вроде замешательства и страха.

— Рафал, — говорила она, — если бы тебя кто-нибудь увидел сейчас!

— Возможно, тогда мне предложили бы место воспитательницы детского сада, — отвечал он с улыбкой.

Признаться, в такие минуты ему становилось обидно. Беата, несомненно, была самой лучшей женой в мире и, конечно, любила его. Но почему она относилась к нему с ненужным почтением, даже с поклонением? В ее заботе и бережном отношении было что-то церемонное. В первые годы их жизни ему казалось, что Беата боится его, и он делал все, чтобы помочь ей справиться с этим чувством. Рассказывал ей самые смешные случаи о себе, исповедовался в ошибках, студенческих похождениях, старался вытеснить из ее милой головки даже самую мысль о том, что они не совсем равны. Наоборот, он на каждом шагу подчеркивал, что живет только для нее, работает для нее, что только она составляет его счастье. И это было действительно так.

Он безумно любил Беату и знал, что она отвечает ему тем же, хотя ее любовь проявлялась не столь откровенно. Беата была деликатной и нежной, как цветок. Она всегда встречала мужа милой улыбкой и добрым словом. И, если бы иногда Вильчур не видел ее раскрепощенной, заливающейся громким радостным смехом, веселой и кокетливой в окружении молодежи, ему бы казалось, что она и не может быть другой. Профессор старался доказать ей, что он не меньше, чем молодежь, способен на беззаботные развлечения. Но все его усилия были напрасны. Наконец, со временем он смирился со своим положением и считал, что не имеет права желать еще большего счастья.

И вот наступила восьмая годовщина их совместной жизни, ни разу не омраченной даже самой незначительной ссорой, мелочным спором или же тенью неуважения. Они познали бесконечно долгие минуты счастья, нежности и признаний...

Признания... Собственно, только он рассказывал Беате о своих чувствах, мыслях и планах...

Беата либо не умела раскрывать свою душу, либо ее внутренний мир был слишком узким, слишком простым... Может быть, чересчур Вильчур осуждал себя за это определение, — чересчур примитивным... Он считал, что это оскорбительно для Беаты, что он унижает ее, думая так. Однако такие мысли наполняли его сердце еще большей заботой и нежностью.

— Я оглушаю ее, ошеломляю собой, — говорил он себе. — Она такая интеллигентная и хрупкая. Отсюда впечатлительность и боязнь, как бы я не подумал, что ее дела мелкие, повседневные и не заслуживающие внимания.

Придя к такому выводу, он всегда старался показать, как важно и значительно все то, чем она занимается. Он с большим вниманием вникал во все домашние мелочи, интересовался нарядами Беаты, духами, одобрял все ее планы встреч с друзьями. Обо всем, что касалось устройства детской комнаты, Вильчур рассуждал так серьезно, точно речь шла об очень важной научной проблеме.

И это действительно, было для него очень важно, ибо он верил, что счастье нужно сохранять с особой заботой. Те немногие, оторванные от работы часы, которые профессор уделял Беате, он старался наполнить любовью и теплом.

Автомобиль остановился возле красивой виллы с фасадом из белого камня, несомненно, самой красивой на всей Аллее Сириной и одной из наиболее элегантных в Варшаве.

Профессор Вильчур выскочил из машины, взял у шофера коробку с шубой и быстро пошел к дому. Входную дверь он открыл своим ключом и постарался закрыть ее за собой, как можно тише. Он хотел сделать Беате сюрприз, который задумал еще час назад, когда, склонившись над вскрытой грудной клеткой пациента, наблюдал за сложным переплетением аорт и вен. Однако в холле профессор увидел Бронислава и старую домработницу Михалову. Видимо, Беата обиделась на него за опоздание. Это можно было прочесть на их вытянутых, напряженных лицах. Они ждали его. Это не входило в планы профессора, и он движением руки велел им выйти.

Несмотря на это, Бронислав попытался обратиться к нему:

— Пан профессор...

— Тсс!.. — прервал его Вильчур и, нахмутив брови, добавил шепотом:

— Возьми пальто!

Слуга снова хотел что-то сказать, но только пожевал губами и помог профессору раздеться. Вильчур быстро открыл коробку, вынул прекрасную шубку из черного блестящего меха, накинул ее себе на плечи, а на голову залихватски надел шапочку с двумя кокетливо свисающими хвостиками. Руки он вложил в муфту и с радостной улыбкой посмотрел в зеркало — выглядел чертовски смешно.

Он бросил взгляд на слуг, чтобы проверить впечатление, но в их взглядах было только замешательство и осуждение.

— Глупцы, — подумал профессор.

— Пан профессор... — снова начал Бронислав, а Михалова стала переминаться с ноги на ногу.

— Да замолчите же вы, в конце концов, — прошептал профессор и, отстранив их, открыл дверь в гостиную.

Он надеялся застать Беату с дочуркой в розовой комнате или в будуаре.

Он прошел в спальню, будуар, детскую. Их нигде не было. Вильчур вернулся и заглянул в кабинет. Там тоже было пусто. В столовой, на украшенном цветами столе, сверкающем позолотой фарфора и хрусталя, стояли два прибора: Мариола и мисс Толерид пообедали раньше. В открытых дверях буфетной стояла горничная. Лицо ее было заплакано, а глаза распухли от слез.

— Где пани? — спросил он обеспокоенно.

Вместо ответа профессор услышал рыдания.

— Что это значит? Что случилось?! — уже не пытаясь сдерживаться, крикнул он.

Предчувствие какой-то беды сдавило ему горло.

Служанки и Бронислав тихо вошли в столовую и молчаливо остановились у стены. Окинув их испепеляющим взглядом, профессор в отчаянии крикнул:

— Где пани?!

Неожиданно его взгляд остановился на столе. Возле его прибора лежало письмо: бледно-голубой конверт с серебристыми краями.

Сердце судорожно сжалось, голова закружилась. Он протянул руку и взял конверт, который показался ему холодным и мертвым. Вильчур с минуту нерешительно держал его в руках. На конверте, адресованном ему, он узнал угловатый, крупный почерк Беаты.

Наконец, дрожащими от волнения пальцами, он вскрыл письмо и начал читать:

«Дорогой Рафал! Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что ухожу...»

Слова дрожали и сливались в одно целое. Он задышался, лоб покрылся испариной.

— Где она?! — крикнул он, задыхаясь. — Где она?!!

— Пани уехала с девочкой, — едва слышно прошептала служанка.

— Врешь!!! — проревел Вильчур. — Это ложь!

— Я сам вызвал такси, — простодушно признался Бронислав, а потом добавил: — И чемоданы выносил. Два чемодана...

Шатаясь, профессор вышел в соседний кабинет и закрыл за собой дверь. Прислонившись к двери, он попытался читать дальше, но прошло много времени, прежде чем он смог вникнуть в содержание письма.

«Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что ухожу. Поступаю низко, отвечая злом на твою безграничную доброту, которую я никогда не забуду. Но оставаться я больше не могла. Клянусь тебе, у меня был только один выход — смерть. Но я всего лишь слабая и бедная женщина. У меня не хватило мужества. Долгие месяцы я боролась с этой

мыслью. Может быть, я никогда не буду счастлива, может быть, мне никогда не будет покоя.

Я не имею права осиротить Мариолу, но и не могу... оставить его.

Пишу беспорядочно, не могу собраться с мыслями. Сегодня день нашей свадьбы. Знаю, дорогой Рафал, что ты подготовил какой-нибудь подарок для меня. Было бы нечестно принять его сейчас, когда окончательно решила покинуть тебя.

Я полюбила, Рафал. И эта любовь сильнее меня. Сильнее всех чувств, которые питала и питаю к тебе, от безграничной благодарности до самого глубокого уважения и восхищения, от искренней доброжелательности до привязанности. К сожалению, я никогда не любила тебя, но поняла это лишь теперь, когда встретила на своем пути Янека. Я уезжаю далеко, и будь милосерден: не ищи меня! Умоляю, жалься надо мной! Я знаю, что ты великодушен и безгранично добр. Я не прошу тебя, Рафал, простить меня. Не заслужила этого и понимаю, что ты имеешь право ненавидеть меня и презирать. Я всегда была недостойна тебя и никогда не смогла бы подняться до твоего уровня. Ты сам это слишком хорошо знаешь. Но, будучи человеком добрым, ты старался не показывать мне этого. Твоя доброта унижала и мучила меня. Ты окружил меня роскошью и людьми своего круга, засыпал дорогими подарками. Наверное, я не создана для такой жизни. Меня мучил высший свет, твое богатство и слава, а заодно и моя никчемность рядом с тобой.

Я сознательно вступаю в новую жизнь, где, возможно, меня ждет крайняя нужда или во всяком случае отчаянная борьба за каждый кусок хлеба. Но я буду рядом с человеком, которого безгранично люблю. Если своим поступком я не убила благородства твоего сердца, то заклиная тебя: забудь обо мне. Надеюсь, ты скоро успокоишься. Ты такой умный и, наверное, встретишь другую женщину, в сто раз лучше меня. От всего сердца желаю тебе счастья, которое обрету и я, если буду знать, что тебе хорошо.

Я забираю Мариолу, потому что без нее не смогла бы прожить и часа, ты ведь знаешь это.

Только не думай, что я хочу лишить тебя дочери, которая принадлежит нам обоим. Спустя несколько лет, когда мы оба сможем спокойно смотреть в будущее, я найду тебя.

Прощай, Рафал. Не считай меня легкомысленной и не думай, что сможешь как-то повлиять на мое решение, изменить его. Я не отступлюсь. Я не умела обманывать, и знай, что верна была тебе до конца. Прощай, будь милосерден и не старайся меня найти.

Беата

Р. S. Деньги и все драгоценности оставляю в сейфе. Ключ положила в ящик твоего стола.

С собой забираю только вещи Мариолы».

Профессор Вильчур опустил руку с письмом и протер глаза. В зеркале напротив он увидел свое отражение в странном наряде. Сбросив с плеч шубу, он начал читать письмо снова.

Удар обрушился на него так неожиданно, что он все еще никак не мог поверить в его реальность.

— Как же это? — простонал он. — Почему?.. Почему?..

Он безуспешно пытался хоть что-нибудь понять. В сознании пульсировала лишь одна мысль: ушла, бросила его, забрала ребенка, любит другого. Ни один из мотивов поступка Беаты не укладывался в рамки его понимания.

Спускались ранние осенние сумерки Вильчур подошел к окну и уже в который раз стал перечитывать письмо Беаты.

Раздался стук в дверь, и Вильчур вздрогнул. На мгновение мелькнула неосознанная надежда — «Это она! Вернулась!..»

Но уже через минуту он понял, что ошибся.

— Войдите, — пригласил профессор охрипшим голосом.

В комнату вошел Зигмунт Вильчур, дальний родственник, председатель кассационного суда.

Они поддерживали близкие отношения и частенько бывали друг у друга. Но появление Зигмунта в такое время вряд ли было случайным...

— Как поживаешь, Рафал? — спросил Зигмунт бодрым приятельским тоном.

— Привет, — протянул руку профессор.

— Почему в темноте? — и, не дожидаясь ответа, Зигмунт щелкнул выключателем. — Холодно здесь, собачья осень. Смотри-ка, дрова в камине! Нет ничего лучше камина! Так пусть Бронислав затопит...

Вошедший слуга краем глаза взглянул на хозяина, поднял с пола шубу, развел огонь и вышел.

Пламя быстро охватило сухие поленья. Профессор продолжал неподвижно стоять у окна.

— Иди сюда, посидим, поговорим, — потянул его Зигмунт в кресло у камина. — Вот так. Тепло — это замечательная вещь. Ты молодой, не умеешь еще это ценить. А для моих старых костей... Ты что не в больнице?

— Да... Так вышло.

— Я звонил, — воодушевленно продолжал председатель, — звонил в больницу. Хотел зайти получить у тебя консультацию. Беспокоит меня левая нога. Боюсь, что это ишиас... Профессор слушал молча, но лишь отдельные слова доходили до его сознания. Однако ровный и спокойный голос Зигмунта действовал настолько благотворно, что мысли начали концентрироваться, соединяться, связываясь в какой-то почти реальный образ действительности. Профессор вздрогнул, когда родственник вдруг, сменив тон, спросил:

— А где же Беата?

Лицо профессора вытянулось, и он с усилием произнес:

— Уехала... Да... Уехала... Уехала... за границу.

— Сегодня?

— Сегодня.

— Это как-то неожиданно, — заметил Зигмунт.

— Да... Да. Я отправил ее... Понимаешь... были некоторые дела и в связи с этим...

Профессор говорил с таким трудом, а страдание так выразительно отражалось на его лице, что Зигмунт поспешил согласиться:

— Разумеется, понимаю. Только, видишь ли, на сегодня приглашены гости. Нужно было бы позвонить всем и предупредить, что вечер не состоится... Если позволишь, я займусь этим?..

— Буду тебе крайне признателен...

— Вот и хорошо. Я думаю, что у Михаловой есть список приглашенных, я возьму его. А для тебя сейчас самое лучшее — прилечь в постель... Ну, не буду тебе мешать. До свидания.

Он протянул руку для прощания, но профессор не заметил ее. Зигмунт похлопал его по плечу, задержался еще на минуту у двери и вышел.

Профессор очнулся, когда скрипнула дверь. Он заметил, что все еще сжимает в ладони письмо Беаты. Смяв лист бумаги в маленький шарик, он бросил его в огонь. Вспыхнув красным бутоном, письмо превратилось в пепел. Дрова в камине уже давно превратились в горку красных углей, когда, наконец, профессор встал. Медленным движением он отодвинул кресло и осмотрелся.

— Не могу, не могу здесь больше, — прошептал Вильчур и выбежал в прихожую.

Бронислав вскочил со стула:

— Пан профессор уходит?.. Осеннее пальто или более теплое?

— Все равно.

— На улице прохладно. Я думаю, лучше надеть более теплое, — высказал свое решение слуга и подал пальто.

— Перчатки!

Бронислав выбежал за профессором на крыльцо. Но тот не услышал, так как был уже на улице. Конец октября в том году был холодный и дождливый. Сильный северный ветер срывал с ветвей деревьев преждевременно пожелтевшие листья. На тротуарах стояла вода. Одинокие прохожие шли с поднятыми воротниками, наклонив голову, чтобы защитить лицо от мелких колючих капель дождя, или двумя руками держали зонтики, защищаясь от резких порывов ветра. Из-под колес редких автомобилей вылетали мутные струи воды. Извозчицы лошади лениво тащились, а поднятые верхи пролетов, омываясь дождем, тускло поблескивали в свете желтых фонарей.

Доктор Рафал Вильчур машинально застегнул пальто. Он шел по улице, никуда не сворачивая. «Как она могла так поступить? Как могла?» — уже в который раз мысленно задавал он себе один и тот же вопрос.

Неужели она не понимала, что отнимает у него все, что лишает его смысла и цели существования? И почему? Только потому, что встретила какого-то человека... Если бы он хоть знал, если бы был уверен, что этот человек сможет оценить ее, не обидит, даст счастье, которого она достойна. Она написала только его имя: Янек.

Вильчур начал перебирать в памяти близких и далеких знакомых. Нет, ни с одним из них она не могла уехать. Может, это какой-нибудь негодай, аферист, бродяга, который бросит ее при первой возможности. А может, Беате заморочил голову, обманул ее, сманил лживыми

признаниями и клятвами профессиональный соблазнитель? Рассчитывал, вероятно, на деньги. А ведь она не взяла даже своих драгоценностей. Это, вероятно, отъявленный мерзавец. Надо его догнать и, пока еще есть время, предупредить преступление. Необходимо обратиться к властям, в полицию... Объявить розыск, разослать сыщиков...

И что с того, если ее найдут? Она ведь все равно не вернется ко мне. Откровенно же написала, что не любит, что ее мучили и его мнимое превосходство, и богатство, и слава... и, наверное, его любовь. Она была такой деликатной, что никогда об этом не говорила прямо... По какому же праву он осуждает ее, решает чужую судьбу?.. А если она согласна на любые тяготы с тем другим?.. Какие аргументы можно найти, желая убедить женщину вернуться к нелюбимому мужу, к мужу, которого она... ненавидела? Не слишком ли поспешно он причислил того человека к отбросам общества, представив этаким мерзавцем?. Беата не могла уйти с таким мужчиной. Ей всегда нравились идеалисты, мечтатели... Даже Мариоле она часами читала стихи, которые семилетний ребенок не мог понять. Она читала для себя.

Мужчина, с которым она ушла, должен быть молодым, непрактичным, бедным. Но как, когда она с ним познакомилась? Почему никогда, ни единым словом, не обмолвилась о нем?..

И внезапно сбежала, поступила так неосмотрительно и жестоко. Бросила человека, который был готов на все... как пес, как раб...

Согрешил ли он перед ней, перед своей любовью? Никогда! Даже в мыслях! Она была первой женщиной, которую профессор полюбил. Произошло это почти десять лет тому назад. Он так отчетливо все помнил. Познакомились они случайно. И он до сегодняшнего дня утром и вечером, каждый час, каждую минуту благословлял тот случай. Тогда Вильчур был еще доцентом и проводил собственные опыты. Ее дедушка попал на улице под колеса грузовой машины. Сложнейший перелом обеих ног. Вильчуру, оказавшему первую помощь, пришлось взять на себя труд сообщить о несчастье его внучке. Дверь маленькой квартирке в старом городе тогда открыла ему Беата.

А через несколько месяцев уже состоялась их помолвка. Беате едва исполнилось семнадцать лет. Она была хрупкой, бледной девушкой и носила дешевые заштопанные платья. В доме царил бедность. Родители Беаты во время войны потеряли все свое состояние. До несчастного случая старик содержал свою жену и внучку, давая уроки иностранных языков. Бабушка часами рассказывала внучке и ее жениху о былом величии рода Гонтыньских, о дворцах, балах, охоте, о табунах лошадей, драгоценностях, о нарядах, которые привозились из Парижа...

В задумчивых глазах Беаты отражалось сожаление об утраченном прошлом, которое, казалось, уже не вернется никогда.

В такие минуты он сжимал ее худенькую ручку и говорил:

Я все тебе дам. Вот увидишь, Беата! И драгоценности, и наряды из Парижа, и балы, и слуг! Все тебе дам!

А у самого тогда, кроме двух чемоданов в одной комнатухе, шкафа со специальной литературой и скромного оклада доцента, ничего не было.

Но зато у него была стальная воля, твердая вера и горячее желание выполнить данные Беате обещания. Большие знания, врожденный талант, сильный характер и упорный труд сделали свое дело. Счастье сопутствовало ему. Росла слава, росли доходы. В тридцать семь лет он получил кафедру, а через несколько месяцев еще большее счастье пришло в их дом: Беата родила девочку.

В честь покойной прабабки Гонтыньской назвали ее Мария Иоланта, уменьшительно — Мариола.

Воспоминание о дочери новой болью сжало сердце профессора Вильчура. Не однажды он задумывался над тем, кого из них он больше любит... Когда девочка начала говорить, одним из первых ее слов было: «тапу-ля...»

Так и осталось с годами. Она всегда его называла «тапулей». Когда в два года девочка заболела и перенесла тяжелую скарлатину, он дал себе слово, что с этого момента всех бедных детей будет лечить бесплатно. В его второй больнице, где всегда не хватало мест, несколько палат занимали дети — бесплатные пациенты. Все это делалось ради нее, для ее благополучия и здоровья.

А сейчас ее отняли у него.

Это было бесчеловечно и жестоко.

— Ты должна отдать ее мне! Должна! — произнес профессор, сжимая кулаки.

Прохожие оглядывались, но он не замечал ничего.

— За мной право! Ты бросила меня, но я заставлю тебя вернуть мне Мариолу. Право за мной. И моральное право за мной тоже. И ты сама это должна признать, ты подлая, подлая! Подлая... Низкая, неужели не понимаешь, что совершила преступление! Какое преступление может быть более тяжким?... Какое, скажи сама!.. Тебе были омерзительны деньги и все остальное. Хорошо, но чего тебе не хватало? Не любви же, потому что никто не сможет тебя любить так, как я! Никто! Во всем мире!

Профессор споткнулся и едва не упал. Он шел немощной улицей, утопавшей в грязи. То тут, то там были уложены большие камни, по которым жители этого района пытались добраться домой, не промочив ног. В окнах уже нигде не было света. Редкие газовые фонари едва освещали темную узкую улочку. Вправо вела более густо застроенная улица. Вильчур повернул туда и пошел медленнее.

Он не чувствовал усталости, но ноги стали тяжелыми, невыносимо тяжелыми. Он, должно быть, промок насквозь, так как чувствовал, что под порывами злого осеннего ветра его начинает знобить.

Вдруг кто-то преградил ему дорогу.

— Уважаемый, — раздался охрипший голос, — одолжи, пан, без банковской гарантии пять сотен на поддержку.

— Что? — не понял профессор.

— Не чокай, ибо к тебе вернется, говорится в Священном Писании. Как аукнется, так и откликнется, гражданин столицы тридцатимиллионного государства с выходом к морю.

— Что вам угодно?

— Здоровья, счастья и всяческого благополучия. А более всего желаю себе, чтобы мой пустой желудок был наполнен сорокапятипроцентным раствором алкоголя при любезном участии некоторой дозы свиной падали, называемой колбасой.

Оборванец с отеком небритым лицом едва держался на ногах. От него разило спиртным.

Профессор достал из кармана несколько монет.

— Возьмите.

— Bis dat, qui cito dat,

[1]

— манерно ответил пьяница. — Thank you, my darling.

[2]

Позволь, однако, щедрый жертвователю, и мне пожертвовать для тебя что-нибудь ценное. Я имею в виду свое общество. Да. Слух тебя не подводит, добрый человек. Я достаиваю тебя этой чести. Noblesse oblige!

[3]

Я ставлю! Вы промокли, сэр, замерзли на холоде. «Войди в мой дом, человек, и отогрейся возле меня». Правда, у меня нет дома, но зато у меня богатые знания. Что значит какое-то строение по сравнению со знаниями?... А я ими с паном, топ рипсе,

[4]

охотно поделюсь. Мои знания разносторонни. Пока говорю только о топографической части. Определенно знаю, где находится единственная пивная, в которую человек может попасть в такое время, не выламывая замков и решеток. Одно слово: Дрожжик. Это здесь, на углу Поланецкой и Витебской улиц.

Вильчур подумал, что действительно алкоголь разогреет его, ведь он совершенно замерз. А, кроме того, непрерывная болтовня пьяницы оглушала его, но и отвлекала.

Уже совсем стемнело, когда после настойчивого стука в закрытые ставни они, наконец, вошли в маленький магазин, пропитанный запахами открытых бочек с селедкой, пива и керосина.

В комнате рядом, немного большей, хотя еще более зловонной, в углу за столом сидело несколько совершенно пьяных мужчин. Хозяин, квадратный верзила с лицом заспанного бульдога, в грязной рубашке и расстегнутой жилетке, ни о чем не спрашивая, поставил на свободный стол бутылку водки и выщербленную тарелку с обрезками мяса.

Но здесь было тепло, и окоченевшие руки постепенно оттаивали. Первый стаканчик водки сразу разогрел горло и желудок. Сосед не переставал говорить. Пьяная компания в углу не

обращала на них никакого внимания. Оттуда доносился храп и время от времени бессвязное бормотание.

Второй стакан водки принес профессору явное облегчение.

«Как хорошо, — подумал он, — никто здесь на меня не смотрит, никто ничего не...»

— Потому что, послушай, граф, — продолжал свой монолог заросший приятель, — Наполеона черт побрал, Александра Македонского ditto.

[5]

А почему, спросишь! Потому что не фокус быть кем-то. Фокус быть ничем. Ничем, мелким насекомым за воротником судьбы. Disce, puer!

[6]

Это тебе я говорю, я, Самуэль Обединский, которого никогда ниоткуда не собьешь, потому что он никогда никуда не подыметя. Цоколь это, приятель, основание для дураков.

А вера — шарик, из которого рано или поздно выйдет воздух. Шанс?.. Есть, конечно, что скорее сам слохнешь. Остерегайтесь шариков, граждане!

Он поднял пустую бутылку и прокричал:

— Пан Дрожжик, еще одну! Даритель вечной радости, опекун заблудившихся, даритель сознания и забвения!

Хмурый шинкарь, не спеша, принес бутылку водки, широкой ладонью шлепнул по дну и поставил откупоренную бутылку перед ними.

Профессор Вильчур молча выпил и содрогнулся. Он никогда не пил, и неприятный вкус дешевой водки вызывал в нем отвращение, но, уже чувствуя шум в голове, ему захотелось потерять сознание, раствориться.

— Весь смысл обладания серым веществом, — говорил человек, который назвал себя Самуэлем Обединским, — заключается в жонглировании между сознанием и мраком. Иначе чем можно возместить трагедию интеллекта, который доходит до абсурдного утверждения, что является игрой природы, ненужным балластом, пузырьком, прикрепленным к хвосту нашего звериного высочества. Что ты знаешь о мире, о вещах, о цели существования? Да, я спрашиваю тебя, существо, обремененное двумя килограммами мозговой субстанции, что ты знаешь о цели?.. Не парадокс ли это? Невозможно сделать движение рукой, нельзя сделать и шага без ясной и осознанной цели. Правда?.. А между тем, с самого рождения, на протяжении десятков лет ты проделываешь миллионы, миллиарды разных движений, борешься, работаешь, учишься, падаешь, встаешь, радуешься, огорчаешься, думаешь, расходует столько же энергии, сколько варшавская электростанция. И на кой ляд? Да, приятель, вот так, живешь и не знаешь, с какой целью все это делаешь. Единственная инстанция, куда ты можешь обратиться за получением авторитетной информации по данному вопросу, является разум, а он, я тебе скажу, бессильно разводит руками. Так где же смысл, где логика?

Он громко рассмеялся и одним духом опрокинул стакан.

— Тогда зачем существует разум, если он не в состоянии выполнить свою единственную, действительно единственную, задачу?.. Я знаю, каким будет ответ, но это чепуха. Он ответит, что его диапазон действия охватывает только жизненные функции. Причины и цели жизни не принадлежат его департаменту. Согласен. Но увидишь, как он справляется с жизнью. Что он может нам здесь объяснить? Оказывается — ничего. Ничего, кроме самых элементарных животных функций. Так зачем же появилось в черепной коробке это новообразование? На кой, спрашиваю тебя, уважаемый председатель, черт? Что он знает? Знает ли, что такое разум?! Дал ли он человеку возможность узнать хотя бы самого себя? Узнать настолько, чтобы сказать с полной уверенностью, что я негодяй или порядочный человек, идеалист или моралист. Нет, сто раз нет! Он может сказать лишь, хочу я телятины или свинины. Но для этого достаточно мозга обыкновенной дворняжки. А если говорить о людях, о близких? Подскажет ли он нам что-нибудь?.. Нет! Клянусь всем своим состоянием, что в вашем черепе не родится ни одна аксиома по отношению к моей незаурядной личности. Хотя общаемся мы уже сроком в... две бутылки. Скажите, есть ли какая-нибудь уверенность не во мне, а в тех, кого вы знаете много лет?.. Знаю ли я что-нибудь о братьях, об отце, о жене, о приятеле?.. Нет! Люди ходят в непромокаемых комбинезонах. И нет возможности проникнуть в их сущность. Будем здоровы! Пей, пан.

Бродяга чокнулся с профессором и выпил.

— Если хочешь, маэстро, узнать, как действительно выглядит шикарная дама, можешь подсмотреть ее в ванне через замочную скважину. Проверишь, скажем, что у нее истрепанная грудь и худые бедра. Узнаешь о ней что-нибудь новое. Но о ее сущности по-прежнему ничего не будешь знать. Потому что даже тогда, когда она одна и снимает свою оболочку, маску, которую всегда надевала для тебя, под ней окажется другая, которую она не снимала никогда и которая для нее самой является чем-то непроницаемым. Верно? Конечно, есть минуты, когда можно заглянуть кому-нибудь в рукав или за воротник. Это катастрофические мгновения. Оболочка разрывается, лопается, появляются отверстия, щелочки. Вот... вот, например, в такой ситуации, как у тебя сейчас, пан! Что-то тяжелое проехалось по тебе.

Он наклонился над столом и вперил в профессора Вильчур свои покрасневшие глаза.

— Я прав? Ты согласен со мной?

— Да, — кивнул головой профессор.

— Разумеется! — гневно крикнул Обединский. — Разумеется! Такой человек, как я, страдающий покоя, не может не столкнуться с человеческой глупостью! Потому что дно каждой трагедии это глупость!.. Так в чем дело? Лопнувший шарик или платформа?.. Обанкротился, выбросили из какого-нибудь министерского кресла или разочарование? Что?.. Женщина?.. Изменила тебе?..

Профессор опустил голову и едва слышно ответил:

— Бросила...

Глаза Обединского сверкнули яростью:

— Ну и что! — заорал он. — Что из этого?!

— Что из этого? — профессор схватил его за руку. — Это значит... Это все... Все!..

В его голосе, должно быть, было что-то такое, что заставило Обединского сразу успокоиться; он сник и замолчал. Только спустя несколько минут он начал говорить каким-то жалобным тоном:

— Подлая жизнь, и мне постоянно не везет. Ненавижу сентиментальность, но судьба вечно подбрасывает мне жертвы сентиментальности. Черт бы побрал... Не сомневаюсь, что это специально. Одного дубина не свалит с ног, а другой поскользнется на вишневой косточке и расшибет себе лоб. Нет тут никакой мерки, никакого критерия. Пей, брат. Водка — хорошая вещь, черт подери!..

Он снова наполнил стаканы.

— Пей, — предложил Обединский, вкладывая стакан в руку профессора. Эй, Дрожжик, дай следующую!

Хозяин сполз со своего логовища в алькове и принес бутылку. После чего погасил свет, так как в нем уже не было нужды: через грязное окно заглядывало пасмурное дождливое утро. Компания, что сидела в углу пивной, бросив своего компаньона, высыпала на улицу.

Обединский, опершись локтями о стол, в пьяной задумчивости говорил:

— Вот так с женщинами... Одна присосется к тебе и все соки вытянет, другая обдерет как липку, третья обманывает на каждом шагу или будет такая, которая втянет в повседневное болото... Стирка, уборка, пеленки и всякое такое... И это жизнь! Но это не так, все зависит от мужчины, какой он! Одному — как с гуся вода, другой, как подстреленный кот закрутится, запищит и сдыхает, а такой, как ты, амиго?.. Твердо должен стоять. Как могучее дерево! Если бы с тебя содрали кору, выросла бы новая, если бы тебе обрезали ветки, выросли бы новые... Но вот вырвали тебя из земли с корнями... Бросили в пустыне...

Вильчур наклонился к нему и пробормотал:

— С корнями... это правда...

— Вот видишь, никакая сила не поможет, если не на что опереться. Земля размякла, расплылась, перестала существовать. Еще Архимед сказал... Что это он там говорил... Хотя, черт с ним!.. О чем это я говорил? Что корни! Самые сильные корни не помогут, если не за что держаться. О, дьявол... такая жизнь...

У него все больше заплетался язык. Наконец он покачнулся, откинулся к стене и заснул.

Вильчур, теряя сознание, повторял:

— Как дерево, вырванное с корнями... Как дерево, вырванное с корнями...

Он не спал, вероятно, давно и поэтому, разбуженный бесцеремонными толчками, с трудом открыл глаза и зашатался. Алкоголь продолжал действовать. На столе снова стояла водка, а кроме ночного компаньона, сидело еще трое незнакомых. Профессор Вильчур с трудом

сообразил, где он находится, и тотчас же неожиданной острой болью отозвалось воспоминание о Беате. Он вскочил и, переверачивая на своем пути стулья, направился к двери.

— Эй, уважаемый! — крикнул вслед хозяин.

— Что?

— А платить кто будет?.. Счет на сорок шесть злотых.

Вильчур машинально достал из кармана портмоне и подал ему банкнот.

— О-го-го! Вот это деньги, — тихо прошипел один из собутыльников.

— Заткнись! — прорычал другой.

— Дрожжик! Зачем чистишь клиента? Верни сдачу! Посмотри на него!

Хозяин с ненавистью посмотрел на него, отсчитал деньги и подал их Вильчуру.

— А ты, быдло, смотри за собой.

Вильчур не обратил на эту сцену ни малейшего внимания и вышел на улицу. Падал густой мокрый снег, но проезжая часть и тротуары оставались черными, так как он сразу же таял. Серединой улицы тащились телеги, груженные углем.

— Бросила меня... Бросила... — повторял Вильчур. Он все шел и шел, не останавливаясь, вперед. — Как дерево, вырванное с корнями...

— Пан на Грохув? — услышал он рядом чей-то голос. — Тогда лучше обойти по улице Равской, меньше грязи.

Он узнал одного из пьяниц.

— Мне все равно, — он махнул рукой.

— Вот и хорошо. Это мне по дороге, пойдем вместе, все будет веселее. У вас, наверное, что-то случилось? Горе?

Вильчур не ответил.

— Понятно. А я пану скажу, что для любого горя есть один только способ: залить холеру до конца. Понятно, не в такой норе, как у Дрожжика, который вор и подает клиентам колбасу со стрихнином. Но здесь недалеко на Равской улице есть приличный кабац, как мне известно. И поразвлекчься можно, официантки обслуживают. А цена та же.

Опять шли в молчании. Спутник значительно ниже и более мелкого телосложения, чем профессор, взял его под руку и каждый раз ему приходилось задираТЬ голову, чтобы посмотреть на профессора из-под козырька своей кепки. Они миновали несколько перекрестков, когда спутник потащил его за угол.

— Ну, так как? Зайдем?.. Лучше залить... Это здесь.

— Хорошо, — согласился Вильчур, и они вошли в пивную.

Первый глоток водки не принес облегчения, скорее, наоборот, отрезвил дремавшее сознание.

Однако следующие рюмки сделали свое.

В соседнем помещении хрипло играл оркестр. Зажгли свет. Спустя некоторое время к ним присоединились еще двое мужчин, с виду рабочих. Толстая, сильно накрашенная официантка тоже присела за столик. Пили уже третью бутылку, когда вдруг из боковой комнаты донесся громкий смех женщины.

Профессор Вильчур вскочил. Кровь ударила ему в голову. Мгновение он стоял неподвижно.

Мог бы поклясться, что узнал голос Беаты. Стремительным движением оттолкнул

преградившего ему путь собутыльника и одним прыжком оказался у двери.

Две газовые лампы ярко освещали небольшую комнатку. За столом сидел толстый, с брюшком, коренастый мужчина и какая-то веснушчатая девица в зеленой шляпе.

Вильчур медленно повернулся, тяжело опустился на стул и разрыдался.

— Налей ему еще, — буркнул человек в кепке, — у него еще голова холодная.

Человек в кепке потряс Вильчура за плечо:

— Пей, брат! Чего там!

Когда пивная закрывалась, компания должна была поддерживать Вильчура под руки, так как он уже не мог идти самостоятельно. Раскачиваясь грузным телом, он тащил за собой спутников, которые едва удерживали его. К счастью, путь не был далеким. За углом, в темной пустой улочке их ждала пролетка с поднятым верхом. Молча погрузили Вильчура и втиснулись сами. Извозчик стегнул коня.

Спустя несколько минут езды дома стали встречаться реже. По обеим сторонам то тут, то там в маленьких окнах мелькал тусклый свет керосиновых ламп. Наконец, домов вдоль дороги не

осталось вовсе. В нос ударил зловонный запах большой свалки. Пролетка свернула вправо. Доехали до первого глиняного карьера.

— Стой, лучше всего здесь, — сказал один из спутников.

В молчании прошло несколько минут. Издали доносился монотонный шум города. Здесь же царствовала абсолютная тишина.

— Вываливай его, — раздалась короткая команда.

Три пары рук вцепились в безжизненное тело. Через минуту карманы были пусты. Без труда сняли пальто, пиджак и жилет. Вдруг, видимо, под воздействием холода, Вильчур пришел в себя и крикнул:

— Что вы, что вы делаете?..

Он попытался подняться с земли. И в тот момент, когда уже стоял на ногах, получил страшный удар в затылок. Даже не вскрикнув, профессор Вильчур упал на землю, к самому краю большой глубокой ямы, в которую ссыпали мусор, и скатился на самое дно.

— Черт возьми! — прохрипел один из грабителей. — Не мог придержать?

— А зачем?

— Глупый щенок! Зачем! Полезай сейчас в яму за ботинками и штанами.

— Сам лезь, если ты такой умный.

— Что ты сказал?

Назревала драка, когда раздался флегматичный голос извозчика, в молчании курившего папиросу.

— А я говорю, едем. Хотите, чтобы нас тут накрыли?..

Компания опомнилась, и все вскочили в пролетку. Лошадь рванула с места. Прежде чем выехать на главную дорогу, они остановились. Извозчик вытащил из-под облучка старый мешок и тщательно обтер все колеса от прилепившегося к ним мусора. Затем вскочил и погнал лошадь. Вскоре воцарилась прежняя тишина.

Целый день на свалку никто не заглядывал, а ночью тем более. Только под утро у глиняного карьера начиналось движение. Мужики из деревень, расположенных в радиусе нескольких десятков километров от столицы, занятые вывозом мусора из города, приезжали сюда со своим зловонным грузом. Они высыпали с телег мусор и, заработав несколько золотых, возвращались домой. Более добросовестные сваливали нечистоты в глиняные ямы, как было приказано, другие, пользуясь отсутствием контроля, высыпали мусор прямо в поле.

Старый Павел Баньковский, хозяин из Бжозовой Вульки, любил, однако, чистую работу, поэтому подъехал точно к глиняной яме и стал неторопливо разгружать свою фуру. Он не спешил, зная, что и лошади необходимо отдохнуть перед дорогой, да и сам страдал одышкой, что в его возрасте было вполне естественно.

Закончив разгрузку, он укладывал на телегу мешок с остатками сена, когда снизу отчетливо послышался стон. Перекрестившись, на всякий случай Баньковский прислушался. Стон повторился громче.

— Эй, там! — позвал он. — Что за черт?

— Пить, — послышался слабый голос.

Этот голос показался Павлу Баньковскому знакомым. Как раз вечером, подъезжая к городу, он видел Матеуша Петровского из Бучиньца, который тоже ехал перевозить мусор. Что-то подсказывало Баньковскому, что это именно Петровский. И голос его, и в ту же яму всегда высыпал мусор, да и выпить любил. По пьянке упал на дно, может, сломал себе что-нибудь и лежит там.

Баньковский осмотрелся вокруг. Еще было темно. Если Петровский оставил свою телегу здесь, то лошадь, наверное, сама потащилась в Бучинец.

— Это вы, пан Петровский? — позвал он. — Свалились или что случилось?..

Единственным ответом был слабый стон.

— А может, это его так городские разделали и сбросили в яму? — подумал хозяин. — От городских можно всего ожидать.

Потрогав ногой склон, он возвратился к лошади. Затем отвязал постромки, скрепил их, узлом привязал к оси и, держась за веревку, спустился вниз.

— Пан Матеуш, отзовитесь, здесь темно. Где вы?

— Воды! — услышал голос рядом с собой.

Наклонившись, он дотронулся до плеча.

— У меня нет воды, откуда вода? Вам нужно подняться наверх. А где ваш конь?.. Наверное, сам домой пошел?.. Я не подыму вас, попробуйте встать.

Профессор придавил ногами мусор, напрягся и попытался поднять свое непослушное тело.

— Двигайтесь. Еще! Еще! Один я не справлюсь. О-о-о! Нет, не могу! Поднатужьтесь. Ну, не будете же вы подыхать здесь!

Руки Баньковского коснулись мокрых слипшихся волос. Он понюхал пальцы и спросил:

— Вас били? Что?

— Не знаю...

Хозяин колебался.

— Так или иначе, не сдыхать же вам на свалке. Тьфу!.. Слушайте, у меня вожжи. Вам нужно только встать, а там как-нибудь подтянетесь.

К лежавшему на земле профессору, видимо, постепенно возвращались силы. Он поднялся один раз, второй, но снова падал, хотя Баньковский поддерживал его, как мог.

— Ничего не выйдет, нужно идти за помощью. Наверное, уже подъехали люди.

Он выбрался из ямы и спустя несколько минут вернулся с двумя мужиками, объясняя им, что какие-то варшавские бандиты убили здесь Петровского из Бучиньца. Без слов мужики взялись за работу и, вытащив раненого из ямы, уложили его на телегу старика. Спасенный почувствовал себя лучше. Он самостоятельно сел и стал жаловаться на холод.

— Оставили на нем только штаны, сволочи. — выругался один из хозяев.

— Нужно бы его в комиссариат, — заметил другой.

Баньковский пожал плечами.

— Это не мое дело. Я подвезу его до Бучиньца, это по дороге, а там его сыновья пусть делают, что хотят. В отделение или куда — их дело.

— Ну да, — согласились мужики, — их дело.

Старик подсунул под голову лежавшему мешок с сеном, сам сел на голые доски и дернул вожжи. Когда выехали на шоссе, он устроился поудобней и задремал. Лошадь сама хорошо знала дорогу.

Проснулся он, когда уже было светло. Протер глаза и осмотрелся. За спиной на телеге, прикрытый попоной, лежал какой-то незнакомый человек: крупное одутловатое лицо, черные волосы, склеившиеся на затылке от запекшейся крови. Баньковский поклялся бы, что никогда не видел этого человека, а на Петровского из Бучиньца он совсем не был похож, разве только ростом и сложением, потому что тот тоже был могучим мужиком. Из-под короткой дырявой попоны выглядывала тонкая разорванная рубашка, испачканные грязью брюки и башмаки городского жителя.

— О, дьявол! — воскликнул он и задумался, что же ему делать в сложившейся ситуации.

Баньковский прикидывал, взвешивал и, наконец, наклонившись, потряс за плечо своего пассажира:

— Эй, пан, проснись! Нелегкая тебя принесла! Проснись! Сам себе беду из-за него найду... Проснись!

Пассажир едва открыл глаза и приподнялся на локте.

— Кто ты такой?.. — злобно спросил мужик.

— Где я, что это? — ответил пассажир вопросом на вопрос.

— А на моем возу. Что, не видишь?

— Вижу, — кивнул человек и с трудом сел, подтягивая ноги.

— Ну?

— А как я тут оказался?

Баньковский отвернулся и сплюнул. Нужно было подумать.

— А я знаю? — пожал плечами. — Я спал, а ты, наверное, влез на телегу. Ты из Варшавы, что?

— Откуда?

— Я и спрашиваю, пан из Варшавы?.. Если так, то тебе нечего ехать со мной в Вульку или Бучинец. Я же еду домой, а вам не в Вульку. Мне уже за той мельницей поворачивать надо... Сойдете или как? До городской черты отсюда десять километров.

— До чего? — спросил человек, а в его глазах было изумление, замешательство.

— Я говорю, до городской черты. Вы из Варшавы?

Человек потер лоб, посмотрел вокруг широко открытыми глазами и сказал:

— Не знаю.

Баньковского взорвало. Теперь он понял, что имеет дело с проходимцем. Осторожно дотронулся до груди, где был спрятан мешочек с деньгами и оглянулся. На расстоянии в полкилометра от них тащились три телеги.

— Что ты дураком прикидываешься, — проворчал старик, — не знаешь, откуда ты?

— Не знаю, — повторил человек.

— Ты свихнулся, что ли? А того, кто тебе голову разбил, наверное, тоже не знаешь?

Тот потрогал свою голову и подтвердил:

— Не знаю.

— Ну, так слезай с телеги! — крикнул окончательно выведенный из себя старик. — А ну, пошел! Слазь!

Он натянул вожжи, и лошадь остановилась. Незнакомец послушно сполз па шоссе. Сполз и стал, оглядываясь во все стороны отсутствующим взглядом. Баньковский, видя, что незнакомец не имеет никаких злых намерений, решил обратиться к его совести:

— Я с тобой по-людски, по-христиански, а ты со мной, как с собакой. Тьфу, городская падаль! Я его спрашиваю, из Варшавы ли он, так и то говорит, что не знает. Ты, может, не знаешь тоже, что тебя мать родила?.. Может, не знаешь, кто ты и как тебя зовут?.. Незнакомец смотрел широко открытыми глазами.

— Как... зовут?.. Как?.. Ннет... не знаю...

— И мускулы его лица сжались, как бы от страха.

Тьфу! — сплюнул Баньковский и решительно стегнул кнутом коня.

Телега двинулась вперед. Отъехав несколько метров, хозяин оглянулся: незнакомец шел за ним по обочине.

— Тьфу! — плюнул старик и принялся нахлестывать клячу, пока та не пошла рысью.

## Глава II

Исчезновение профессора Рафала Вильчура всколыхнуло весь город. Прежде всего, в этом происшествии чувствовалась какая-то тайна. Все те, кто на протяжении многих лет встречался с профессором и хорошо его знал, были убеждены, что о его самоубийстве не может быть и речи. Вильчур отличался жизнестойкостью, любил свою работу, семью, любил жизнь. Его материальное положение было великолепным, известность продолжала расти. В медицине его считали знаменитостью.

Убийство тоже, казалось, не имело оснований по той простой причине, что у профессора не было врагов. Единственным допустимым мотивом нападения на него могло быть ограбление. Но и здесь возникали сомнения. Без труда подтвердилось, что в тот роковой день у профессора с собой было не многим более тысячи злотых; а вообще все знали, что он пользовался простыми часами с черным циферблатом и не носил даже обручальное кольцо. Поэтому предположение о запланированном нападении с целью ограбления и убийство, как результат такого нападения, выглядели неубедительно. В случае катастрофы или несчастного случая тело было бы быстро найдено.

Оставалась еще одна версия: потеря памяти. Так как в прошлом году полиции удалось найти пять человек, пропавших в результате внезапной потери памяти, в прессе многочисленными корреспондентами выдвигалось и такое предположение.

Однако, если газеты лишь вскользь касались причин загадочного исчезновения профессора Вильчура, то в частных беседах эта тема широко обсуждалась и назывались совершенно другие обстоятельства.

Виллу профессора напрасно штурмовали репортеры. Они без труда узнали, что жены профессора и его семилетней дочурки нет в Варшаве, а слуги молчали, будто набрав в рот воды. Более назойливых журналистов отсылали к родственнику пропавшего профессора, председателю кассационного суда, Зигмунту Вильчуру. Тот с невозмутимым спокойствием повторял:

— Мой брат всегда был очень счастлив со своей женой. В глазах близких и друзей они были образцовой парой. Поэтому, по меньшей мере, нелепо связывать гибель профессора, чем я лично глубоко потрясен, с семейными взаимоотношениями.

— А вы не могли бы нам сказать, где в настоящее время находится пани Беата Вильчур? — спрашивали журналисты.

— Конечно, могу. Готов повторить вам то, что слышал из уст моего брата именно в тот день, когда в последний раз он вышел из дому.

Председатель рассказал им, что профессор отправил жену с ребенком за границу.

— А цель их выезда?

Председатель, усмехнувшись, сделал неопределенный жест рукой:

— Должен признаться, что об этом не спросил. Если не ошибаюсь, речь шла о лечении. Как мне помнится, жена брата не лучшим образом переносила нашу золотую осень. Она довольно часто выезжала отдохнуть за границу.

— Однако такой внезапный отъезд в тот день или за несколько дней перед банкетом, на который были уже разосланы приглашения...

— Господа, по-разному вершатся дела людские. Кроме того, мы не были в таких близких отношениях, чтобы они сообщали мне обо всех своих передвижениях. Однако я буду вам весьма признателен, если вы не станете раздувать это происшествие до размеров нездоровой сенсации. Мне хотелось бы надеяться, что пресса воздержится от каких бы то ни было намеков, касающихся личной жизни моего брата. Я очень на это рассчитываю. В ответ поделюсь с вами своим собственным мнением о случившемся. Не исключено, что профессор собирался выехать вместе с супругой. Его задержала в Варшаве важная операция, о которой столько писала пресса. После ее успешного завершения мой брат мог уехать вслед за женой.

— Но прошло уже столько дней, — заметил один из репортеров, невозможно, чтобы в руки профессора не попала ни одна газета с тревожными сообщениями о его исчезновении. Он дал бы о себе знать.

— Разумеется. Но есть много таких уголков за границей, тихих пансионатов в горах, укромных мест отдыха, куда письма из Варшавы не доходят.

— Бюллетень о гибели профессора напечатала вся зарубежная пресса, настойчиво доказывал репортер. — ну, и не забывайте о радио.

— Радио можно не слушать. Я сам, например, не переносу радио. А сколько людей во время отдыха не берут в руки газету! Не каждому охота заглядывать в нее, отдыхая на лоне природы в Тироле или еще где-нибудь в Альпах.

— Да, пан председатель. Но есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что профессор вообще не покидал пределов Польши.

— И как же это вам удалось установить? — с усмешкой спросил председатель.

— Это не представляло труда. Я просто узнал в канцелярии Министерства иностранных дел, что заграничный паспорт профессору Вильчур был выдан сроком на год. А срок этот истек ровно два месяца тому и профессор не обращался с просьбой о продлении паспорта.

Воцарилось молчание. Наконец, председатель развел руками:

— Да. Несомненно, ситуация не ясна. Однако, поверьте, я приложу все силы, чтобы разобраться в этой загадке. Над этим работает и полиция. Во всяком случае, прошу вас, не забывайте о моей просьбе.

Именно благодаря этой просьбе, высказанной человеком, занимающим столь почетное место в общественной жизни, а также повсеместной симпатии, какой пользовался пропавший профессор, пресса отказалась от заманчивой возможности покопаться в его личной жизни. Это, конечно, не положило конец сплетням, которые продолжали ходить по всей Варшаве. Однако не подпитываемые свежими новостями слухи постепенно начали утихать.

Но полиция продолжала заниматься выяснением обстоятельств исчезновения профессора.

Комиссар Гурный, которому было поручено дело, смог установить ряд подробностей.

В результате опроса персонала больницы выяснилось, что в роковой день профессор Вильчур уходил домой в хорошем настроении, унося с собой соболью шубу, которую он купил накануне в подарок жене по случаю восьмой годовщины их брака. По всему было видно, что внезапный отъезд жены стал для него полной неожиданностью. Из показаний слуг вытекало, что профессор узнал об этом только из письма, оставленного ею. Это письмо совершенно ошеломило его. Казалось, он был в шоке, ничего не ел, сидел, не зажигая света.

Правда, письма не нашли. Нетрудно, однако, было догадаться, что в нем супруга профессора сообщала о разрыве. Такую мысль допускал также председатель Вильчур, который представил

следствию мельчайшие подробности о взаимоотношениях супругов и сделал исчерпывающий доклад о своем визите к брату.

Из дальнейших показаний слуг не прояснилось ничего определенного. Пани Беата ежедневно в утренние часы выезжала на машине на длительную прогулку в Лазенковский парк. Водитель оставался в машине у ворот и никогда не видел никого, кто бы сопровождал ее. А вот сторожа парка в показанной им фотографии сразу узнали пани, которая ежедневно встречалась здесь с молодым худощавым блондином в довольно потрепанном костюме. Описание блондина не привело следствие к определенным выводам.

Исследование писем и бумаг жены профессора также не дало никакой ценной информации. Выяснилось, что она оставила большую сумму денег и драгоценности, которые можно было бы легко превратить в деньги.

В столе профессора комиссар Гурный нашел заряженный револьвер.

— Это позволяет мне сделать вывод, что у профессора не было намерений покончить жизнь самоубийством. В противном случае он забрал бы с собой оружие. Забрал бы он его и в том случае, если бы собирался расправиться с соблазнителем жены.

— Вы считаете, что профессор мог знать, где искать его?

— Нет. Я допускаю, что профессор даже не догадывался о его существовании. По описаниям, никто из прислуги не видел этого молодого человека у них на приемах. Однако я убежден, что лишь отыскав беглецов, мы узнаем, что случилось с профессором.

В соответствии с такой концепцией комиссар направил следствие на розыск пани Беаты. После долгих поисков полиции удалось найти шофера такси, который в роковую день подъезжал к дому профессора. Однако и он не многое смог рассказать. Помнил только, что отвез с Аллеи на Центральный вокзал молодую элегантную женщину с малолетней девочкой. Она заплатила, сама взяла чемоданы и исчезла в толпе. Изучение расписания движения поездов тоже не дало положительных результатов. В полдень между двенадцатью и часом с Центрального вокзала отправлялось несколько десятков поездов в различных направлениях.

Комиссар Гурный уже задумывался над тем, чтобы дать в прессе объявление о розыске Беаты Вильчур, когда неожиданно новая информация направила следствие по другому пути.

Во время обыска на квартире у одного из скупщиков краденого на улице Кармелицкой среди множества вещей было найдено черное пальто, пиджак и жилет очень большого размера. Хотя ярлыки портного были спороты, следователи без труда нашли швейную мастерскую, где шились эти вещи. Таким образом удалось установить, что вещи принадлежали профессору.

Прижатый к стенке, барыга признался, что купил их у какого-то Феликса Жубровского.

Жубровский, вопреки предположениям комиссара, никогда не привлекался к уголовной ответственности. Жил он над Вислой с женой и четырьмя детьми, занимался добычей и продажей речного песка. Он рассказал, что нашел костюм на берегу, когда после попойки рано утром возвращался домой. Несколько свидетелей с сомнительной репутацией подтвердили его алиби. Во всяком случае ему не в чем было предъявить обвинение, и по истечении трех дней его пришлось выпустить. К тому же Висла в том месте была глубокой, а самоубийство профессора Вильчура по-прежнему рассматривалось в качестве рабочей гипотезы.

В последующие дни полиция обыскала дно реки на протяжении нескольких километров.

Безрезультатно. Шесть раз вызывали прислугу и председателя Вильчура для опознания трупов, хотя в этом не было необходимости: пропавший профессор имел весьма заметную внешность.

— Мы еще не нашли труп, — упавшим голосом говорил комиссар Гурный, — возможно, весной выплывет. У Вислы много притоков, случается, что только спустя несколько месяцев тело где-нибудь выносит на берег.

— Значит, вы подтверждаете мои опасения? — спросил председатель.

— Многие обстоятельства говорят о самоубийстве. На всякий случай я разослал фотографии профессора во все полицейские участки.

— Однако вы допускаете и возможность потери памяти?

— Если быть откровенным до конца, я не верю в это. Но, пока не обнаружится труп, нельзя отрицать и эту версию. По той же причине я не отказался от предположения об убийстве, хотя почти уверен, что речь может идти только о самоубийстве. Профессор вышел из дому, ошеломленный несчастьем, и поэтому сначала не мог принять никакого решения. Наверное, он долго ходил по городу, может быть, пил, пытаясь забыть...

— Он никогда не пил, — прервал его председатель.

— Так или иначе, он решил покончить с собой. Кто же мог его убить?.. Бандиты?.. Тогда их должно было быть не меньше трех-четырёх, чтобы незаметно справиться с ним, потому что он был человеком исключительной физической силы. А выстрелы?.. Да, не исключено, но они всегда привлекут чье-нибудь внимание, да и с трупом много хлопот, ведь его нужно быстро спрятать. Ни на пальто, ни на пиджаке нет ни малейшего следа крови. Остается еще версия, что он попал в засаду и его убили в закрытом помещении. Но кому это нужно, кто заинтересован в его смерти? Никто. Профессор не оставил завещания. По закону все имущество унаследовала бы его дочь и жена. Пан председатель, однако, утверждает, что вдова профессора самая бескорыстная женщина в мире. Остается еще ее соблазнитель, который, судя по его внешности, мог вести себя не лучшим образом. Но и эта версия более чем сомнительна. Если бы он хотел получить деньги, то ему не составило бы труда убедить жену профессора забрать наличность, меха и драгоценности. Все, это составляло весьма приличную сумму. А любящую женщину специалист на все может уговорить...

— Сомневаюсь. Беата была очень принципиальной...

— Пан председатель, вы, как опытный судья, знаете лучше меня: там, где начинается любовь, там заканчиваются все принципы. Но о невиновности этой пары говорят и другие действия. Во-первых, они бы не скрывались, чтобы избежать подозрений. Во-вторых, объявились бы после гибели профессора, ведь вся пресса трубила об этом событии. Разве что были настолько глупы, что считали, будто полиции не удастся их найти. Имея такую приманку, как наследство, оставшееся после смерти профессора, они бы появились спустя несколько дней, а тут уж второй месяц проходит. Их совесть чиста.

— Я тоже так считаю.

— И еще один факт! По опыту знаю, что убийце никогда не хватает терпения. Каждому из них нужно скорее получить то, что толкнуло его на преступление. Преступник постоянно вертится под носом у полиции, чувствуя себя увереннее на виду, чем в бегах.

— Да, это правда.

— Несомненно. Я рассматривал еще одну версию: случайное убийство. Допустим, профессор нашел их и во время ссоры был убит. В таком случае опять же следует принять во внимание, что профессор был человеком недюжинной силы, а на его одежде не обнаружено следов крови. Невозможно предположить, чтобы худощавый и довольно хилый молодой человек смог убить такого гиганта, как профессор Вильчур, не пользуясь оружием. Именно поэтому я не трачу понапрасну времени на их поиски.

— Может, оно и лучше, если вы их не найдете, — согласился председатель.

— Может, и лучше, — подтвердил комиссар.

Хотя ничего иного он и не мог сказать, так как полиция по-прежнему не располагала сведениями о нахождении Беаты Вильчур, ее дочери и неизвестного молодого человека.

Проходили месяцы, и, захваченные повседневной суетой большого города, люди постепенно стали забывать о профессоре Рафале Вильчуре и его таинственном исчезновении.

Многочисленные папки с материалами следствия грудились в шкафах и медленно покрывались пылью, на них нагромождались кипы новых досье. Спустя год, их запаковали в ящики и сдали в архив.

В соответствии с законом об управлении имуществом отсутствующего, суд назначил попечителя, и у адвоката Шренка, которому вверили эти функции, не возникало повода для нареканий. Жалованье шло постоянно, а работы было немного. Виллу он сдал в аренду, капитал поместил в ценные бумаги, руководство клиникой поручил способному и вызывающему полное доверие доктору Добранецкому, самому близкому коллеге погибшего.

Клиника работала в прежнем, установленном еще профессором Вильчуром, ритме. За несколько месяцев закончили строительство нового корпуса, а наплыв пациентов, который вначале значительно сократился, снова вернулся к норме. Доктор Добранецкий провел незначительные изменения: ликвидировал несколько бесплатных мест для бедняков и сократил пару человек из персонала клиники. После неприятного разговора с шефом, вызванного сокращением бесплатных мест для бедных детей, подал заявление об уходе ассистент доктор Скужень. Затем уволили бухгалтера Михалака и секретаршу панну Яновичувну, которая хозяйничала в клинике, как у себя дома, вмешивалась в распоряжения доктора Добранецкого и смеялась над его манерами, лишенными достоинства.

Ее поведение было вызывающим еще и потому, что новый шеф усилил дисциплину в клинике, где прежде царил дух патриархальной вольницы. Одновременно вырос и его авторитет. Новые выборы в Объединении хирургов принесли ему титул председателя, а годом позже он получил кафедру погибшего и звание профессора. Будучи очень способным доктором и обладая деловой хваткой, Добраниецкий постепенно приумножал свое состояние. Росла и его слава как врача. С течением времени название «Клиника проф. докт. Вильчура» становилось все более необоснованным анахронизмом. Поэтому никого не удивило, когда в конце концов с согласия попечителя название это было изменено на «Клиника им. проф. докт. Вильчура». В связи с этим была опубликована довольно обширная биография прежнего хозяина клиники, написанная профессором, доктором К. Добраниецким, под названием «Профессор Рафал Вильчур — гениальный хирург».

Работа заканчивалась словами:

«Преклоняясь перед незабвенной памятью замечательного Человека, мудрого Учителя и большого Ученого, польская медицина скорбит о его трагическом исчезновении, которое, наверное, навсегда останется тайной».

### Глава III

Сержант полиции в Хотынове, Виктор Каня, сидел за канцелярским столом, покрытым чистым зеленым сукном, и время от времени позевывал, глядя в окно. Участок размещался в домике на краю деревни, и из окон открывался изумительный вид на поля, покрытые густой зеленью, на берег озера, где как раз развешивали сети, на темную полосу леса, откуда виднелась труба лесопилки Хасфельда, и на ведущую к ней дорогу, по которой шел заместитель Кани, участковый Собчак с каким-то высоким худым бородачом.

Собчак, широко расставляя ноги, раскачивался при каждом шаге, точно утка. Он нес под мышкой большой лист фанеры для выпиливания. Бородач, должно быть, работал на лесопилке, но недавно, потому что сержант Каня видел его в первый раз, а в Хотынове и округе в радиусе десяти километров он знал всех. Настораживал тот факт, что Собчак сам нес фанеру. Видимо, он не считал возможным воспользоваться услугами этого человека. Значит, с ним было что-то не так и сопровождал он Собчака не по своей воле.

В участок Хотынова приводили разных людей. За драки в селах, за мелкие кражи в лесу и в поле, за браконьерство. Иногда удавалось поймать какую-нибудь более крупную дичь: бандита или контрабандиста, обходящего большие тракты и старающегося проселочными дорогами добраться до немецкой границы.

Однако высокий бородач, шагавший в сопровождении Собчака, не вызвал у участкового никаких опасений. Наверное, стащил какую-то мелочь.

Спустя несколько минут, они вошли в участок. Бородач снял шапку и остановился в дверях.

Собчак отдал честь и доложил:

— Этот человек пришел на лесопилку Хасфельда и попросил работу. Его взяли, но оказалось, что у него нет никаких документов и он не знает ни своей фамилии, ни откуда родом.

— Сейчас узнаем, — буркнул сержант Каня и поманил рукой бородача.

— Есть какие-нибудь документы?

— Нет.

— Собчак, обыщи его.

Участковый расстегнул толстую поношенную куртку, обыскал карманы и положил на стол перед сержантом все, что нашел: маленький дешевый ножик, несколько грошей, кусок веревки, две пуговицы и медную ложку. Проверил за голенищами, но и там ничего не было.

— Как вы тут оказались? — спросил сержант.

— Я пришел из Чумки, что в Сурском уезде.

— Из Чумки?.. А зачем пришли?

— Искать работу. Там я работал на лесопилке. Ее закрыли. Люди говорили, что здесь в Хотынове найду занятие и заработок.

— А как звали хозяина лесопилки в Чумке?

— Фибих.

— Долго там работали?  
— Полгода.  
— А родились тоже с Сурским уезде?  
Бородач пожал плечами.  
— Не знаю. Не помню.  
Сержант грозно посмотрел на него.  
— Но, но! Кому-нибудь другому будете морочить голову, но только не мне. Грамотный?  
— Да.  
— Значит, где учились?  
— Не знаю.  
— Ваше имя и фамилия?! — крикнул выведенный их себя Каня.  
Бородач молчал.  
— Вы что, оглохли?  
— Нет, пан сержант, и не сердитесь на меня. Я ничего плохого не сделал.  
— Ну, так говорите правду!  
— Я говорю правду. Я не знаю, как меня зовут. Может, у меня вообще нет имени. Все меня об этом спрашивают, а я не знаю.  
— Так что? У вас никогда не было документов?  
— Никогда.  
— Так как же вас брали на работу? Без бумаг?  
— В городах везде спрашивали документы, а так не хотели принимать. А в селах не каждый обращает на это внимание. Вот, назовут как-нибудь, как кому удобно, и все. Здесь на лесопилке сказал, как меня в Чумке называли: Юзеф Брода. Но пану участковому я сам сказал, что это прозвище. Я ничего плохого не сделал и совесть моя чиста.  
— Это выяснится.  
— Пан сержант может написать людям, у которых я работал. Я ни у кого ничего не украл.  
Сержант задумался. Уже не раз в своей практике он встречался с разными типами, скрывающими свою фамилию, они всегда называли хотя бы какую-нибудь вымышленную. А этот упорно твердил, что у него нет фамилии.  
— А где ваша семья?  
— Не знаю. У меня никого нет, — безропотно отвечал бородач.  
— Были судимы?  
— Да.  
Сержант широко открыл глаза.  
— Где?  
— В прошлом году в Радоме, а три года назад в Быдгоще. Раз на месяц, а следующий раз на две недели.  
— За что?  
— За бродяжничество. Но несправедливо. Если человек ищет работу, то значит он бродяга?.. Правду сказать, так за то, что у меня не было документов. Я просил и в суде, и в полиции, и в тюрьме, чтобы мне выдали хоть какой-нибудь документ. Но никто не хотел. Говорили, что такого права у них нет. Так что мне делать? — Вздохнул и развел руками: — Отпустите меня, пан сержант. Я ничего плохого никому не сделаю.  
— Отпустить?.. Закон не позволяет. Отправлю я вас в отделение, а там они пусть решают, что с вами делать. Можете сесть и не мешайте. Я должен составить протокол.  
Сержант выгашил из стола лист бумаги и начал писать. Он долго думал, потому что отсутствие фамилии и места рождения задержанного портило ему всю схему протокола. Наконец он закончил и посмотрел на бородача. Борода и волосы с проседью указывали на то, что ему было около пятидесяти лет. Он сидел неподвижно, уставившись в стену, а его ужасная худоба и впавшие щеки создавали впечатление скелета. Только его большие натруженные руки двигались какими-то странными нервными движениями...  
— Переночуете здесь, — сказал Каня, — а утром я отошлю вас в уезд, ничего вам там не сделают. Самое большее отсидите за бродяжничество и отпустят.  
— Если иначе нельзя, то ничего не поделаешь, — потупившись, ответил бородач.  
— А сейчас пойдёмте со мной.

Сержант открыл дверь в маленькую комнату с зарешеченным окошком. На полу лежал матрац, туго набитый соломой. Дверь была сбита из толстых досок.

Когда дверь закрылась, бородач лег на матрац и начал рассуждать. Как сержант, так и полицейский не были плохими людьми, однако закон велел им быть злыми. За что же снова его посадили, за что снова смотрят на него как на преступника?.. Или это действительно так необходимо иметь документы и как-нибудь называться?.. Или от этого человек станет другим?.. Столько раз ему объясняли, что невозможно жить без фамилии. И наконец он должен согласиться с этим, но он боялся об этом думать. Как только он начинал думать, его охватывало странное чувство, будто он забыл о чем-то неизмеримо важном. И тогда мысли, словно встревоженные птицы, разлетались во все стороны, сбивались в бесформенные стайки, отчаянно металась, охваченная паникой и страхом; они кружились без смысла, без цели, все быстрее и быстрее, сливались в сплошной водоворот и вдруг распались на отдельные причудливые фрагменты, точно бесформенные, бессмысленно живущие уродцы, затем снова срастались в большой ком, заполняющий собой весь череп.

В такие минуты им овладевало омерзительное чувство страха. Ему казалось, что он сходит с ума, стоя перед жуткой бездонной пропастью, беспомощный, бессильный и потерянный. Самым страшным было то, что в этом чудовищном хаосе мыслей он ни на мгновение не терял сознания.

Напрасны были его попытки вырваться из засасывающего болота небытия, перестать думать, сконцентрировать внимание на обыденном, материальном предмете, спасти от распада свое внутреннее «я». Только физическая боль приносила некоторое облегчение.

Он до крови кусал руки, бился головой о стену до полного изнеможения, до потери сознания. И тогда подолгу лежал безвольный, измученный, едва живой.

Он смертельно боялся своей памяти. Боялся кошмарного, непреодолимого мрака, который властно притягивал его, манил к себе, на дно чудовищной бездны, имя которой — безумие.

По этой причине допрос в отделении стал для него тяжелой пыткой. Уже сидя в камере, он с облегчением понял, что угроза приступа миновала, и даже обрадовался, что его посадили.

Однако возможность нового ареста, страх перед еще одним мучительным допросом и угроза повторного приступа подталкивали его к мысли о необходимости защищаться. Оградить себя от внимания полиции можно было только одним способом — раздобыть документы. А раз официально сделать это не представлялось возможным, значит, их следовало украсть.

Он еще не знал, как сделает это, но решение было принято.

Ранним утром следующего дня его отвезли в отделение за несколько десятков километров, в маленький уютный городок. Отделение размещалось в большом кирпичном здании.

Участковый оставил бородача внизу под охраной полицейского, который присматривал еще за несколькими арестованными. После длительного ожидания их по одному начали вызывать на первый этаж, где располагался зал суда.

Упитанный молодой чиновник сидел за столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами. Судебная процедура совершалась быстро без волокиты. Когда подошла очередь бородача, судья решил сделать перерыв, и ему велели подождать. Полицейский вывел его в соседнюю комнату. Там за столом сидел старичок и что-то рьяно строчил пером, уткнувшись носом в бумагу. Усевшись на лавку под окном, бородач от скуки стал присматриваться к работе старичка. На столе у него лежали горы бумаг. Были там заявления, облепленные проштампованными марками, цветные повестки и — бородач вздрогнул — ближе всего к нему располагалась стопка бумаг, соединенных скрепкой, а на самом верху лежал документ. Это была метрика на имя Антония Косибы, пятидесяти двух лет, родившегося в Калише. Снизу метрику украшали большие синие печати...

Бородач оглянулся на полицейского: тот стоял, повернувшись спиной, и читал какое-то объявление, наклеенное на дверях. Сейчас надо было только положить на стол шапку, прикрыть ею бумаги.

— Я попрошу забрать отсюда шапку! — возмутился старик. — Ишь ты, нашел себе место!

— Извините, — проворчал бородач и снял со стола шапку вместе с бумагами, после чего свернул их в рулон и спрятал в карман.

Разумеется, в тот раз он не мог воспользоваться добытыми документами и был осужден на три недели за бродяжничество.

Спустя двадцать суток из ворот уездной тюрьмы вышел Антоний Косиба, уроженец Калиша, и отправился на поиски работы.

#### Глава IV

В самом имении в Одринах не было ничего примечательного. Большой дворец, сожженный во время войны, обросший крапивой, лопухом и конским щавелем, год от года покрывался мхом и плесенью, превращался в развалины. Его хозяйка, княжна Дубанцева, вдова петербургского сановника, постоянно жила во Франции и в Одрину никогда не приезжала. Управляющий, старый чудака пан Полешкевич, занимал две комнатки в деревянном флигеле усадьбы, где тоже были видны следы запустения.

Но вокруг простиралась необозримая и красивая Одринецкая пуца, тысячи гектаров, густо поросших соснами и елями, дубами и березами, ореховыми и можжевельниковыми перелесками, изрезанная крутыми узкими дорожками, на которых чаще встречались следы кабана или оленя, чем лошади или человека. Маленькие и большие озера, соединенные спрятавшимися в лозах и ольховых зарослях ручейками, позволяли скорее объехать пуцу на лодке, чем обойти пешком. Лодками чаще пользовались и немногочисленные лесники.

Только к усадьбе нужно было идти пешком. Дом стоял на холме, на небольшой поляне, окруженной со всех сторон высокой стеной векового леса. В доме жил лесничий Ян Окша, сын старого Филиппа Окши, который более сорока лет управлял Одринецкой пуцей, а после смерти и должность, и все, что у него было, оставил сыну. Молодой Ян Окша в детстве был отправлен учиться в Вильно, а позднее в далекую Варшаву. Спустя годы, получив диплом лесничего, он возвратился с женой и дочуркой и поселился в усадьбе. И вот уже пятый год пользовался неограниченной властью в пуце. Неограниченной потому, что его начальник, пан Полешкевич, во всем ему доверял, ни во что не вмешивался, а в дом лесничего если заглядывал, то не для того, чтобы документы проверять, а чтобы поговорить с пани Беатой, сыграть с Яном партию в шахматы или для того, чтобы Марысю посадить в седло впереди себя и повозить по поляне. Это был, пожалуй, единственный гость, который заглядывал в дом лесничего.

Пан Окша, видимо по отцу, был нелюдимым человеком. К соседям, которых, правда, пришлось бы далеко искать, не тянулся, но и они к нему не шли. Несмотря на молодость, он был еще и домоседом, что, впрочем, не вызывало удивления: куда идти от такой красивой и — как говорил лесничий Барчук — очень доброжелательной жены, дочурки-ангелочка и счастья в доме. Поэтому и выезжал он из дому неохотно. Когда нужно было ему ехать в Браслав или, не дай Бог, в Вильно, со дня надень откладывал, возможно, еще по причине слабого здоровья, так как дорога страшно мучила его. Бывало, как только простынет, кашляет с кровью и должен лечь в постель. А какой хороший человек, добрый и справедливый. Все подчиненные жалели его очень, видя, как он тает на глазах. Два раза даже доктора нужно было привозить к нему, а это нелегко и дорого, восемь миль не шутка. Говорили люди, что молодой лесничий с болезнью уже не справится. И действительно, на то было похоже.

Лето в пуце необыкновенно красивое. Пахнет живицей, воздух теплый, как в печи, различных насекомых столько, что от них аж в ушах звенит. Колышутся верхушки стройных сосен, шумит ветер в кронах старых дубов, мох, как пушистый ковер, ягод и грибов — море; жить тут и не умирать. А когда осень наступит, тишина в бору такая, как в костеле во время Вознесения. Стоят деревья, задумавшись, и даже не слышат, как опадают и опадают с них золотистыми и красными лепестками листья. А зимой все покрывает глубокий снег, толстыми подушками нарастает на ветвях, и когда человек вздохнет, когда морозный воздух проникнет в легкие, радость охватывает.

Но после зимы приходит весна. С оттаявшей земли, с озер и болот поднимается влажный пар, и тогда плохо тем, кого мучает чахотка.

Так было и с лесничим Окшей. Зимой он перенес хорошо, но когда в марте начал таять снег, он слег. Как слег, так четвертую неделю лежал в постели и в спальне принимал доклады лесников. Он так похудел, что его трудно было узнать. Его бил такой кашель, что он почти не мог говорить, задыхался, и тогда пот крупными каплями покрывал его лоб.

В субботу Беата совсем не пустила к нему лесников. Она вышла к ним в кухню бледная, растерянная и тихо сказала:

— Муж так плохо себя чувствует, что... его нельзя тревожить.

И расплакалась.

— А если бы доктора привезти, панечка, — отозвался один из них. — Все легче было бы умирать.

— Он не хочет доктора, — покачала головой Беата. — Я сама его умоляла, но он не соглашается.

— Я бы съездил за доктором, — предложил другой. — А пану лесничему можно сказать, что доктор проездом, значит, по дороге заехал.

На том порешили, и пани Окша вытерла слезы и возвратилась к мужу. После многих бессонных ночей она сама едва передвигала ноги. Однако, когда приблизилась к постели больного, усилием воли заставила себя улыбнуться. Она боялась, чтобы Янек не прочел истинные страшные и мучительные мысли, переполнявшие ее бедную душу. Когда он погружался в сон, она становилась на колени и отчаянно молилась.

— Боже, прости, не карай меня, не посылай мне мести! Не отнимай его у меня. Согрешила, совершила много зла, но прости! Прости! Не могла иначе!

И слезы текли по ее прозрачному лицу, а губы дрожали в шепоте непонятных слов.

Янек просыпался быстро. Начинаясь новый приступ кашля, и на полотенце появлялось новое кровавое пятно. Нужно было подавать лед и лекарства.

Неожиданно вечером наступило улучшение. Температура спала. Он попросил приподнять его и сел. Согласился выпить сметану и сказал:

— Мне кажется, что буду жить!

— Конечно, Янек, конечно! Кризис миновал! Тебе уже лучше. Вот увидишь, через месяц будешь совсем здоров.

— Я надеюсь. А Мариола еще не спит?

Он никогда не называл девочку этим именем, не любил его и с самого начала звал ее просто Марыся, к чему постепенно привыкла и Беата.

— Нет, еще не спит, учит уроки.

— Значит, у тебя еще есть время помочь ей?..

Он замолчал, а потом добавил:

— Боже, сколько несчастья я принес вам.

— Янек, как ты можешь говорить такие страшные вещи! — возмутилась Беата.

— Это правда.

— Ведь ты же сам в это не веришь. Ты принес нам столько счастья, самого удивительного счастья!..

Он закрыл глаза и прошептал:

— Я люблю тебя, Беата, с каждым днем все больше и больше. И эта любовь не позволит мне умереть.

— Нет, ты не умрешь, не имеешь права умереть. Без тебя жизнь для меня была бы хуже смерти.

Но давай не будем говорить об этом. Слава Богу, все позади. Знаешь что? Я позову Марысю.

Она так давно не видела тебя. Разрешите!

— Не следовало бы. Здесь воздух заражен. Мне страшно оттого, что и ты им дышишь все время, а для ее детских легких это очень опасно.

— Пусть постоит на пороге комнаты. Скажи ей хотя бы несколько слов. Ты даже не представляешь, как она об этом мечтает.

— Хорошо, — согласился он.

Беата приоткрыла дверь и позвала:

— Марыся! Папа разрешает тебе зайти.

— Папочка! — из глубины дома раздался радостный крик и топот быстрых шагов.

Девочка вбежала и замерла. Изменения, происшедшие за две недели, пока она не видела его, поразили ее.

— Папе сегодня лучше, — быстро проговорила Беата, — но тебе можно стоять только у двери.

Скоро он встанет и будете опять вместе ходить в лес.

— Как там у тебя дела, дорогая моя девочка? — спросил Окша.

— Спасибо, папочка. А ты знаешь, папа, что подмыло ту кривую березу у Седого ручья?

— Подмыло?

— Да. Николай говорит, что она упадет. А еще говорил, что его сын Гришка видел вчера четыре лося у Гуминского брода. Они шли один за другим.

— Это, видимо, те, из Красного леса.

— Да. Николай тоже так думает.

— А ты не забыла еще совсем ботанику и физику? — спросил Окша с улыбкой.

— Нет, нет, папочка, — завершила девочка и в подтверждение начала рассказывать, чему она самостоятельно научилась. Спустя несколько минут Окша попрощался с девочкой, посылая ей воздушный поцелуй.

Рука его была худой и неестественно белой.

Когда Марыся вышла, он сказал:

— Как быстро девочка растет. Ей еще только двенадцать лет, а она уже почти такая, как ты. На следующий год мы должны отправить ее в школу. Я надеюсь, что, наконец, княжна получит разрешение на вырубку и тогда мы встанем на ноги.

— Даст Бог. Только бы ты поскорее выздоровел.

— Да, да, — поддержал он, — я должен выздороветь и заняться делами. Если вырубки не будет, я решил искать другую работу. Тяжело расставаться с Одринецкой пушей, но ведь Марыся растет, а это главное.

Он задумался, а спустя минуту спросил:

— Много опять заплатила за лекарства?

— Не беспокойся об этом.

— Ты знаешь, я подумал, если бы я сейчас умер, не много бы тебе осталось после оплаты похорон. И это меня беспокоит больше всего. За проданную мебель хватило бы на какой-нибудь год.

— Янек! О чем ты говоришь! — умоляюще прошептала она.

— Ничего, я только произношу вслух свои мысли. Еще я думал, если что случится, ты имеешь право обратиться за пенсией для Марыси. Я не думаю, что Вильчур нашелся. Об этом бы сообщили газеты. Кто-то же, однако, занимается его домом, а Марыся имеет на него право. Беата чувствовала, как лицо ее покрывается румянцем.

— И это говоришь ты, Янек? — сказала она, не скрывая возмущения.

До этой минуты на протяжении пяти лет они никогда не обмолвились ни словом о профессоре. Пять лет назад Янек попросил ее даже белье и одежду Мариолы отослать в какой-нибудь приют для бедных детей.

Окша опустил глаза:

— Я не имею права обречь ее на нужду.

— А я не имею права протягивать руку за его деньгами. Лучше сто раз, тысячу раз умереть!

Никогда, слышишь, Янек, никогда!

— Хорошо, не будем больше говорить об этом. Но, видишь ли, если бы меня не стало... Когда я думал, что умру, мною овладел такой страх при мысли о том, что будет с вами...

— Я умею шить, вышивать, могу давать уроки. Все буду делать, только не... Подумай, с каким лицом я могла бы прийти к его наследникам, я, которую они... имеют право считать виновницей его смерти. А вообще. Янек, зачем мы об этом говорим? Ты чувствуешь себя лучше, слава Богу, все наладится.

— Обязательно, любимая, обязательно, — он ласково прижался лицом к ее руке.

— Вот видишь! — вспыхнула она. — А сейчас тебе нужно постараться уснуть. Уже поздно.

— Хорошо. Мне действительно хочется спать.

— Спокойной ночи, мой единственный, спокойной ночи. Сон прибавит тебе сил.

— Спокойной ночи, счастье мое.

Она заслонила свет лампы, закуталась в плед и легла на софе. Спустя четверть часа, вспомнила, что перед сном нужно дать ему еще капли.

Беата встала, отсчитала двадцать капель с запахом креозота, долила воды и наклонилась над мужем.

— Янек, — позвала она вполголоса, — нужно выпить лекарство.

Но он не проснулся. Беата осторожно коснулась его плеча. Наклонившись, она увидела его открытые глаза.

Он был мертв.

## Глава V

На пути между Радолишками и Нескупой с незапамятных времен стояла водяная мельница, когда-то собственность отцов базилианов из Вицкунахского монастыря, построенного еще во времена короля Батория. В настоящее время эта мельница принадлежала Прокопу Шапелю, которого по-белорусски называли Прокопом Мельником.

Земля в округе была не очень богатой и не очень плодородной. Принадлежала она мелкой шляхте и крестьянам, которые выращивали на ней рожь и картофель. Для мельницы Прокопа ржи хватало, потому что конкурентов поблизости не было.

В Радолишках, как во всех маленьких городках, жили евреи, которые скупали зерно по дальним деревням и для нужд городка, и на вывоз в Вильно. Они тоже давали работу Прокопу Мельнику, так что у него не было причин для нареканий. Только бы не засуха, только бы не ушла вода из прудов. Но пруды, хотя и выкопанные несколько сот лет тому, были глубокими и надежными, да и очищались каждые десять лет.

Прудов было три: два верхних и один нижний. Вокруг них густо росли вербы. К нижнему пруду вел большой спуск в две сажени, а кроме лотка, направленного на колесо, было еще два больших стока на случай паводка. В прудах было много рыбы: плотва, налимы, окуни, но больше всего пескарей. Раки здесь тоже водились. Под корнями, в глубоких ямах, вымытых водой, они гнездились сотнями. Оба работника Прокопа, а особенно молодой Казик, мастерски научились их ловить. В воде по колено стоит, наклонится, рука до локтя или глубже в норе и вытягивает рака.

На мельнице, правда, их никто не стал бы есть, считая насекомыми, но вот в Радолишках их всегда можно было продать: и ксендз, и поп, и особенно доктор были любителями раков. За консультацию последний предпочитал три десятка раков двум десяткам яиц или трем золотым. За городом, верстах в двенадцати, на фабрике тоже было немало любителей раков, но туда нужно было чем-нибудь добираться. Пешком далеко, а старый Прокоп для таких дел лошадь не давал, хотя она уже совсем застоялась и разжирела, как свинья. В кормах недостатка не было. Она только стояла, переминаясь с ноги на ногу и фыркая на весь хлев. Хлев был большой, крепкий, сложенный из толстых кругляков. Кроме лошади там стояли две коровы, а за перегородкой хрюкали свиньи. Под крышей хватало места еще и для телеги с санями. Дом соединялся с мельницей и состоял из трех изб, в которых жил Прокоп с семьей и работниками, и совсем новой пристройки, которую он поставил для старшего сына Альбина, когда тот собирался жениться. Со дня смерти Альбина пристройка пустовала, потому что и второго сына, когда он перебрался туда, на следующий день постигло несчастье. Люди говорили, что кто-то проклял дом или сглазил фундамент. Правда это или нет, во всяком случае никто не захотел там селиться. Однако кое-кто уверял, что не пристройка заколдована, а сам Бог покарал таким образом Прокопа Мельника за то, что он судился со своим братом и пустил его по миру.

Такие разговоры раздражали и злили Прокопа. Он не мог стерпеть этого, и не один уже получал от него за сплетни. И все-таки, здесь была какая-то зловещая тайна. Выросли у мельника три сына. Средний на войне погиб, старший перед самой женитьбой, выпив, провалился под лед и утонул. А младший, забивая клин в шкворень на самом верху, свалился и сломал обе ноги. Напрасно привозили доктора, напрасно доктор укладывал ноги в дощечки. На всю жизнь парень должен был остаться калекой: не мог ходить. Вот уже пятый месяц он то сидел, то лежал, ни для какой работы не годился. И так в свои восемнадцать лет стал бременем отцу. И с дочерью мельнику не повезло. Она вышла замуж за рабочего кирпичного завода, он погиб на пожаре, а она, пережив все это, вскоре родила больного ребенка.

Вот поэтому старый Прокоп ходил чернее ночи и на всех смотрел волком, хотя люди завидовали его богатству, хотя мельница не останавливалась и сам он не жаловался на здоровье. В тот год осенью случилась еще одна неприятность: младшего работника Казика забирали в войско. На его место лишь бы кого Прокоп брать не хотел. На мельнице работа ответственная, требует расторопности и силы. Долго размышлял старый мельник, пока выбор его не упал на Никиту Романюка из Побережья. У отца Никиты было два женатых сына, а Никита, самый

младший, даже по городам ходил в поисках работы. Хлопец он был здоровый, с головой и даже школу закончил.

Приняв окончательное решение, в четверг — торговый день в Радолишках Прокоп отправился в дорогу. С мельницы до лесопилки было недалеко, около версты. А по тракту мужики шли на рынок, одна за другой проезжали брички и возы. Каждый раскланивался с мельником, его знали все. То один, то другой, не останавливая лошади, заговаривал с ним, пытаясь понять, как старик принял Божью кару, выпавшую на его последнего сына, Василька. Но на лице Прокопа ничего нельзя было прочесть: то же жесткое выражение, плотно сдвинутые брови и подвижная седая борода.

Вскоре подъехал и Романюк. Он направлялся в город на рынок. Сзади сидела его жена.

Прокоп махнул ему рукой и пошел рядом с телегой. Они пожали друг другу руки.

— Ну, как живешь? — спросил Романюк.

— С Божьей помощью. Правда, заботы одолевают.

— Слышал.

— Не о том речь. Казика в войско забирают.

— Забирают?

— Да, забирают.

— Вот оно что...

— Да. А ты знаешь, заработок у меня хороший. Работник у меня голодать не будет и еще отложит.

— Известно, — согласился Романюк.

Так я подумал, что твой Никита подошел бы мне.

— Почему нет?

— Ну, так как?

— Что как?

— Ну, с Никитой?

— А, чтобы к тебе на работу?

— Ага.

Романюк почесал затылок. В его маленьких серых глазах блеснула радость. Однако ответил безразличным тоном:

— Хлопец здоровый...

— Вот и слава Богу, — поспешил согласиться Прокоп, опасаясь, чтобы Романюку не пришлось в голову поинтересоваться здоровьем Василя. — Только чтобы он пришел в следующую пятницу, потому что Казика в пятницу забирают.

— Хорошо, что ты сказал мне, потому что его сейчас нет дома. Он поехал в Ошмяны.

— Искать работу?

— Да.

— Но вернется?

— Чего ж ему не вернуться. Сейчас из Радолишек вышло ему письмо.

— Вот и хорошо. Чтобы в пятницу...

— Так я ж понял.

— Работы сейчас много. Не справлюсь без двух работников, — добавил Прокоп.

— Будет вовремя.

— Ну, так с Богом!

— С Богом.

Романюк дернул поводья, но малая пузатая сивка не обратила на это обстоятельство никакого внимания. Хозяин погрузился в свои мысли: удивительно все-таки, что мельник из многих выбрал его сына.

Он обернулся и посмотрел на жену. Из толстых платков, которые плотно окутывали ее голову, выглядывали только глаза и нос.

— Мельник берет нашего Никиту, — сказал он.

Женщина вздохнула.

— Боже, Боже мой!..

И непонятно было, радуется она или огорчается, хотя Романюк никогда и не интересовался этим, потому что у нее всегда был такой плаксивый голос.

Доволен был и Прокоп. Он очень не любил перемен и беспокойств. Сейчас вопрос был решен, по крайней мере, ему так казалось, пока не наступил вечер назначенного дня.

В тот день поздним вечером Прокоп, как обычно, пошел закрывать мельницу. Он все еще ждал работника. Домашние даже не догадывались, почему он такой злой: мельник никому ничего не рассказывал. Внутри все у него кипело: понятно же объяснил, что нужно прийти в пятницу!

Казика уже не было. А завтра навалится столько работы, что хоть об стенку головой!

— Ну, подожди, паршивый щенок, — тихо ворчал он, покручивая бороду.

И клялся себе, что не возьмет его, даже если тот придет с самого утра: суббота — не пятница.

Лучше первого встречного с дороги, хоть вора, только не Никиту.

Но и в субботу Никита не появился. Пришлось взять на помощь одного из мужиков, который привез зерно на мельницу.

На следующий день, в воскресенье, мельница не работала. Прокоп, помолвившись, хотя злость жабой душила его изнутри, вышел из дому и сел на лавочку. За его долгую жизнь еще не случилось, чтобы кто-нибудь с ним так поступал. Он же хотел парню добро сделать, а тот не появился. Конечно, нашел работу в Ошмянах и поэтому не приехал, но и это его не оправдывает.

— Они еще пожалеют эти Романюки, — ворчал мельник, потягивая трубку.

Ярко светило солнце. День был теплый и тихий. Над прудами носились птицы, охотясь за насекомыми. Вдруг с дороги раздался непривычный шум. Старый мельник заслонил глаза рукой от солнца. На дороге показался мотоцикл.

— И в святой день туда же, — сплюнул мельник. — Бога не боятся.

Он знал, о ком говорил. Вся округа уже с весны знала, что это сын хозяина фабрики из Людвиков, молодой Чинский. Учился за границей на инженера, а сейчас отдыхать к родителям приехал. Говорили, что он после отца примет фабрику, но у него в голове был только мотоцикл, эта дьявольская машина, чтобы людям по ночам не давать спать и лошадей на дорогах пугать.

С неприязнью смотрел старый мельник на облако пыли, стелющееся над дорогой. Глядя в ту сторону, он увидел человека, который направлялся к мельнице. Человек шел свободно, ровным шагом. За плечами на палке висел узелок. Сначала Прокопу показалось, что это Никитка, и кровь прилила к лицу. Но когда идущий приблизился, оказалось, что это уже немолодой человек с черной седеющей бородой.

Он подошел, поклонился и, поздоровавшись, спросил:

— Позволишь присесть и воды напиться? Жаркий день, хочется пить.

Мельник окинул его внимательным взглядом, подвинулся, освобождая возле себя место на лавке, и утвердительно кивнул головой:

— Присесть каждому можно. И воды, слава Богу, у нас хватает. Вон там, в сенях стоит, — показал мельник за спину.

Странник показался ему симпатичным. У него было грустное лицо, но Прокоп сам слишком много пережил, чтобы любить веселые лица. А у этого и глаза были добрые. От каждого странника что-нибудь интересное можно узнать, и этот, видимо, идет издалека: речь у него другая.

— Откуда Бог послал? — спросил Прокоп, когда незнакомец возвратился и сел, вытирая тыльной стороной ладони капли воды, осевшие на бороде и усах.

— Издалека. А сейчас из-под Гродно иду работу искать.

— И от Гродна работы не нашел?

— Ну, да. Месяц работал у кузнеца в Мицкунах, работа закончилась и я пошел дальше.

— В Мицкунах?

— Да.

— Я знаю того кузнеца. Не Воловик он?

— Воловик, Юзеф. С одним глазом.

— Правильно. Искра ему выжгла. Так, значит, ты сам кузнец?

Незнакомец усмехнулся:

— И кузнец, и не кузнец. Всякую работу знаю...

— Как это так?

— А вот так. Уже двенадцать лет по свету хожу и научился многому.

Старый мельник глянул на него из-под кустистых бровей.

— И мельничным делом тоже занимался?

— Нет, не приходилось. Но я скажу правду пану. Ночевал я в Побережье у каких-то Романюков. Хорошие люди. И там я услышал, что их сына попросили у тебя работать, но он в Ошмянах работу в артели нашел и возвращаться не хочет.

Прокоп нахмурился.

— Так это Романюки тебя прислали?

— Что ты, нет. Когда я услышал, то подумал: воспользуюсь. Зайти и спросить не грех.

Захочешь — возьмешь меня, не захочешь — не возьмешь.

Прокоп пожал плечами.

— Как же я могу взять тебя, пустить в дом чужого человека?

— Я и не напрашиваюсь.

— И правильно делаешь. Ни я, никто тебя тут не знает, сам понимаешь. Может, ты и хороший человек, без злых задумок, а, может, и плохой. Даже твоей фамилии не знаю и откуда ты родом.

— Фамилия моя Антоний Косиба, а родом я из Калиша.

— Кто знает, где этот Калиш.

— Далеко, конечно.

— Свет большой, — вздохнул Прокоп, — и люди разные.

Воцарилось молчание, а спустя какое-то время, мельник спросил:

— А что же ты ходишь и места себе нигде не согреешь? И дома у тебя нет?

— Нет.

— И бабы своей?

— Нет.

— А почему?

— Не знаю. От баб ничего хорошего не дождешься.

— Что правда, то правда, — согласился Прокоп, — от них только соблазн и заботы. Но жениться нужно всегда. Это закон Божий.

И подумал старый Прокоп, что для него этот закон оказался жестоким. Правда, родила ему жена трех сыновей и дочку, но не на радость, а только на горе.

Его мысли прервал незнакомец.

— Правда твоя, ты не знаешь меня, но я у людей работал. У меня и свидетельства есть, можешь прочитать.

— И читать не буду. От этого никакого толку.

— Документы у меня тоже в порядке. Если бы вором был, то не работу искал бы, а что бы украсть, да и в тюрьме давно бы сидел, а я уже двенадцать лет хожу. Был бы вором, негде мне было бы и спрятаться, потому что нет у меня никого близкого на всем белом свете.

— А почему нет?

— А у тебя есть? — спросил странник.

Мельника это рассердило.

— Как это? У меня семья.

— Но если бы, не дай Бог, они вымерли, то нашел бы близких? Нашел бы доброжелательных, сердечных, которые помогли бы тебе в беде?..

Незнакомец говорил как бы с горечью и смотрел прямо в глаза Прокопу.

— Ни у кого нет близких, — заключил он, а мельник ничего не ответил.

Первый раз в жизни ему подали такую мысль, и она показалась ему правдивой. Еще дружелюбнее рассматривал он этого человека.

— Что там люди обо мне говорят или думают, — сказал мельник, — мне все равно. Наверное, и тебе баек наговорили. Но я сам знаю, как надо жить. Ни зла, ни беды никому не желаю. Кто придет ко мне, голодным не останется! Клянусь Богом! Так и тебе скажу, хлеба у меня хватит и для тебя. Определенно и то, что и в канаве ночевать я тебе не позволю. Угол найдется, но работы у меня для тебя нет. Я тебе скажу так ты показался неглупым человеком, а, может, и порядочным. Но мне нужен здоровый, сильный и молодой работник, а у тебя уж годы не те...

После этих слов незнакомец молча встал. В нескольких шагах от дома лежал в траве мельничный камень, треснувший наполовину. Наклонившись над ним, подложил ладони под одну половину, расставил ноги, уперся и поднял его. Подержал так с минуту, молча глядя на мельника, после чего бросил, аж земля загудела.

Прокоп медленно набивал свою трубку. Незнакомец сел рядом, и вынул из кармана папиросу и закурил.

— Вот и полдень наступил.

— Да, — подтвердил незнакомец, взглянув на солнце.

— Пора обедать. Что же эти бабы в святой день порядка не придерживаются?

Бабы, однако, придерживались, потому что как раз в этот момент раздался тоненький голосок девочки.

— Дедушка! Обед!

— Пойдем, поешь с нами, что Бог дал, — пригласил Прокоп, вставая.

— Да вознаградит тебя Бог, — ответил незнакомец и пошел за ним.

Из сеней входили направо через высокий порог в комнаты, а налево еще через более высокий — в большую кухню, которая служила одновременно столовой и в которой жизнь продолжалась целый день. Почти четвертую часть ее занимала большая печь, выбеленная известью. Она дышала жаром. Внутри, булькая и наполняя воздух запахом вкусной еды, чернели потрескавшиеся чугуны. На печи и на пристроенных лежанках, где зимой спали старики и дети, сейчас лежало какое-то старье.

Обшитые досками стены украшали сотни цветных иллюстраций. В углу висела золотистая икона, убранная разноцветными бумажками, а перед ней горела маленькая масляная лампада, висящая на медных цепях.

В том же углу стоял большой стол, накрытый в воскресенье скатертью из толстого чистого полотна. На скатерти лежал большой плоский каравай хлеба, деревянные и алюминиевые ложки, вилки, ножи и соль в зеленой солонке, на крышке которой были изображены овцы с ягнятами. Вдоль стен тянулась широкая лавка, а над ней полки, прикрытые газетами, вырезанными зубчиками. На полках стояли миски, кувшины, кружки, тарелки, эмалированные горшки и чугуны, а на почетном месте шесть медных кастрюль, сверкающих красным отливом. В избе было шесть человек: старая сгорбленная бабуля, две еще молодые женщины, бледная девочка с красивыми черными глазами, лет тринадцати, и двое мужчин: крепкий рыжий мужик с могучими плечами, скромно сидящий у дверей, и молодой задумавшийся брюнет, в котором нетрудно было узнать сына хозяина Василя. Василь сидел на лавке, опершись локтями на стол, и смотрел в окно. Приход отца и незнакомого человека не прервал его грустных мыслей.

Зато женщины завертели, подавая на стол. Через минуту уже дымились на столе две миски: одна с жирным борщом, густо забеленным сметаной, вторая с отварным картофелем.

Для Прокопа и для Василя поставили две глубокие фаянсовые тарелки. Остальные должны были есть из общих мисок. Старый мельник сел на почетное место под образами, широко перекрестился, и остальные последовали его примеру. Затем над столом раздалось аппетитное похлебывание. Присутствие незнакомца здесь никого не удивило: к ним заходили часто, и на гостя никто не обратил особого внимания. Домочадцы изредка перебрасывались между собой короткими фразами то по-польски, то по-белорусски, как и все в тех краях. Скоро миски опустели, и мать хозяйки, которую называли мать Агата, обратилась к одной из женщин:

— Эй, Зоня! Что задремала? Ну-ка шевелись!

Зоня, высокая, широкобедрая баба, вскочила, схватила пустые миски и побежала к печи. Взяв стоящий в углу ухват на длинной палке, быстро всунула его в раскаленное чрево и достала чугуны. Ее румяные толстые щеки еще больше покраснели от жара, а когда она возвращалась с полной миской, то вынуждена была держать ее на вытянутых руках из-за пышной груди. После борща подали мясо, отварную свинину, порезанную кусками величиной с кулак, жирную, но с проростью.

— Ольга! — нетерпеливо крикнула мать Агата, обращаясь к другой женщине. — Отрежь, наконец, брату хлеба. Не видишь! Худенькая Ольга виновато потянулась за буханкой, подняла ее и, прижав к груди, отрезала длинную, тонкую краюшку.

— И мне хлеба, мама, — обратилась к ней девочка, которую называли Наталкой.

— И человеку не забудь, — буркнул Прокоп.

Ольга глянула на гостя и положила перед ним такую же ровную краюшку.

— Спасибо, — сказал он, а она засмеялась и кивнула головой.

— Не за что.

— Издалека?

— Издалека, из Калиша.

— Значит и в Вильно был?

— Конечно, был!..

— И Остру Брамму видел?..  
— Видел. Там икона Божьей матери, очень красивая икона.  
Прокоп исподлобья посмотрел на сына и опять опустил глаза.  
— Каждый знает это, — буркнул он.  
— А ты чудеса сам видел? — спросил Василь.  
— Видеть не видел, но люди рассказывали о разных чудесах.  
— Расскажи, сделай милость.  
— Да я не умею, — замялся гость, — но, что слышал, повторю, если получится.  
— Повтори, повтори, — подвинулась к нему маленькая Наталка.  
Он неохотно начал рассказывать о матери, у которой родились мертвые близнецы, о купце, у которого воры товар украли, о богохульнике, у которого язык усыхал, о солдате, потерявшем на войне обе руки, и о том, что всем им помогла Остробрамская Божья мать.  
Обед уже был закончен, и женщины собирались убирать со стола, но стояли неподвижно, заслушавшись рассказом гостя. Он по натуре, видимо, был молчаливым человеком и говорил тихо и кратко.  
— Много и других чудес наслушался я. Всего не упомнишь.  
— Но это же католическая икона? — спросила Зоня.  
— Католическая.  
— Интересно мне, — снова заговорил Василь, — помогает ли она людям другой веры, например православным?  
— Этого не знаю, — пожал плечами гость, — но, я думаю, лишь бы человек хороший был, так каждому поможет.  
— Известно, лишь бы христианин, — гневно поправила его мать Агата.  
— Не скажешь, что помогла бы жиду!  
— Жиду? — отозвался басом молчавший до сих пор рыжий работник. — На жиду она бы еще и холеру послала.  
Он громко рассмеялся, хлопая себя по коленям.  
Старый Прокоп встал и перекрестился. Это было сигналом для остальных. Женщины взялись за мытье посуды. Мужчины, кроме Василя, вышли из дому. Василь остался возле стола. Мельник выкурил трубку, после чего принес себе козюлок, расстелил его под кленом и лег, чтобы подремать после сытного обеда.  
— Я тут в работниках, — начал разговор рыжий мужик, обращаясь к сидящему рядом с ним гостю. — Уже шестой год служу. Хорошая мельница. А ты что умеешь делать?  
— Я без ремесла. Разные работы знаю...  
— Если здесь на ночь останешься, а утром настроение будет, то почини мне револьвер, коли слесарные работы понимаешь. Курок не поднимается. Дьявол какой-то влез в него.  
— Я спрашивал о ночлеге. Разрешили, так и переночую. А утром охотно посмотрю. Немного понимаю в слесарном деле.  
— Я заплачу тебе.  
— А, не нужно. Я и так за ласку хотел бы отблагодарить. Это хорошие люди.  
Работник подтвердил его слова. Чистосердечные люди, ни в чем их обвинить нельзя. Старик суровый, требовательный, но справедливый. Последнего гроша не отнимет и последнего пота не выжмет. Хотя рассказывали, что родного брата разорил и тот проклинал его детей. Но неизвестно, как там было, потому что это давняя история, случилась больше сорока лет тому. Что же касается проклятия, так, может, что и было, потому что тут Прокопу не повезло. Старший сын утонул, средний на войне погиб. Осталась после него вдова — Зоня. Она из бедных, вот и осталась у них после смерти мужа. Молодая еще и здоровая баба. Не одну девку обойдет. Старая Агата ее не любит, цепляется к ней. Были на то разные причины, но сейчас... Даже с Ольгой, дочерью Прокопа, помирилась. И Ольга тоже хорошая баба. Зла никому не желает... Вчера несу сено в хлев, а она коров доит. И говорит мне: «Слушай. Виталис, тебе уже давно пора жениться». А меня смех берет. Где мне жениться! Я ей отвечаю: «Разве что на тебе. Ольга». А она, я знаю, об учителе в Бернатах думает. Рассмеялась и говорит. «Тебе, Виталис, не я нужна. Тебе бы Зоня — вдова — больше подошла».  
Работник засмеялся, сплюнул и добавил:

— Вот такие у нее шутки. А, бабские дела... Тем временем и женщины вышли на воздух. Ольга с Зоней выфрантились, как на праздник. Оказывается, они собрались в Бернаты на вечеринку. Маленькая Наталка покрутилась и остановилась возле гостя.

— А ты нашего Ваньку видел?

— Нет, а кто это Ванька?

— Это наш конь. Он жирный, как кабан. А как тебя зовут?

— Антоний.

— А я Наталка, а фамилия Шуминьска. Мой отец работал мастером на фабрике в Людвикове. Ты знаешь фабрику в Людвикове?

— Нет, не знаю.

— Там очень красиво. Огромный дворец. А молодой хозяин на мотоцикле ездит. И печи большие в зале, одна возле другой. В них выжигался кирпич. А другие для фаянса и фарфора. Очень интересно. А наши пруды видел?

— Нет, не видел.

— Так пойдем, я покажу тебе, где можно купаться. Это около леса, потому что здесь внизу опасно: большие ямы, омуты. Дедушка Прокоп никому не позволяет тут лезть в воду с того времени, как мой дядя провалился под лед и утонул. Давай, пойдем.

— Ну, пошли, — согласился гость.

Наталка своим тоненьким голоском засыпала его рассказами. Они шли берегом по узкой, хорошо утоптанной тропинке. Обойдя пруды, подошли к лесу. Внимание девочки привлекли грибы:

— Боже мой, — позвала она, — посмотри, сколько здесь рыжиков. С пятницы выросли, потому что в пятницу мы с теткой Зоней собрали все. Хочешь, соберем!.. Правда, сегодня воскресенье, но если ради отдыха делать это, то не грех. Так сама бабушка говорила...

Они собирали грибы среди вереска, густо разросшегося в роще, почти до вечера. Немного отдохнули, а в сумерки вернулись домой, и как раз вовремя: их звали уже на ужин. Мамы и тети еще не было с вечеринки, и Наталке нужно было помогать бабушке Агате. Она принесла целый подол рыжиков, и, чтобы они не испортились, их нужно было перебрать и залить водой.

После ужина Прокоп, а за ним и хозяйка пошли спать в комнаты на вторую половину дома.

Работник Виталис взял на руки их сына, калеку Василя, и тоже занес его в комнаты.

Возвратившись, он вытянул из-за печи два матраца, набитых соломой, положил их на лавках у стены и сказал:

— Ложись. Переночуешь тут как-нибудь. Мух уже, слава Богу, немного.

Он закрыл двери, погасил лампу и лег. Гость последовал его примеру. В большой избе воцарилась тишина. Вначале еще слышно было жужжание мух, потом и они умолкли, лишь со двора доносился спокойный монотонный шум воды на мельнице. Здесь было тихо, тепло, хорошо. Спалось легко.

И было еще темно, когда их разбудил скрип колес, топот конских копыт и крики: люди привезли зерно на мельницу. В сенях раздалось кряхтенье старого Прокопа. Виталис вскочил, и гость тоже. Они быстро засунули матрацы за печь.

Мельник вошел и пробормотал:

— Слава отцу и сыну...

— Во веки... — ответили они.

— Чего стоишь? Двигайся, черт возьми, — обратился хозяин к Виталису. — Запор открой!

Он хмуро посмотрел на гостя и добавил:

— А ты что? Берись за работу! Не слышишь? Люди зерно привезли!..

— Значит, берешь на работу? — обрадовавшись, спросил гость.

— Ладно. Возьму.

## Глава VI

С того дня поселился Антоний Косиба на мельнице Прокопа Мельника. И хотя он не смеялся никогда, а улыбался очень редко, было ему там хорошо, как нигде раньше. Работы он не боялся, рук не жалел, в разговоры вдаваться не любил, поэтому старый Прокоп никаких претензий к

нему не имел. Вообще он был доволен своим новым работником. Но не показывал этого, потому как не имел такой привычки. Антоний Косиба выполнял все работы, которые ему поручались. Работал он при задвижках, и на ссыпе, и с весами и при жерновах. Если что-нибудь ломалось, сразу же начинал ремонтировать. Мог заменить и кузнеца, и колесника.

— Способный ты, Антоний, — говорил Виталис. — Видно, что по свету ходил.

А потом еще добавлял:

— Ты еще не такой старый. Будешь разумно Прокопу служить, смотри, еще и жену себе выслужишь, Ольгу-вдову возьмешь...

— Говоришь, сам не знаешь что, — пожал плечами Косиба, — ни им, ни мне это не в голове. Да и к чему?

Гудело мельничное колесо, шумел бурный поток воды, скрипели жернова. Белая мучная пыль подымалась в воздух, наполняя его запахом хлеба. От светла до темна не прекращалась работа, а времени все равно не хватало. Зато в воскресенье можно было отдохнуть и распрямиться. Но и тогда Антоний не старался сблизиться ни с веселой Зоней, ни с Наталкиной матерью Ольгой, хотя обе его любили и относились к нему доброжелательно. Чаще всего свободное время он проводил с Наталкой.

Дни проходили, похожие один на другой, и ему уже казалось, что так будет всегда, когда произошел случай, который все изменил, а для семьи Прокопа Мельника стал большим событием.

А случилось вот что. В субботу, уже перед закрытием, лопнула дубовая ступица колеса. Как можно скорее ее нужно было стянуть железным обручем. Прокоп побежал за инструментами, и Косиба вкалывал почти три часа, пока не закончил ремонт. Так как больше всего старый мельник ценил инструменты и хранил их в комнате возле своей кровати, то велел сразу же отнести их на место. Антоний взял ящик на плечо и понес. В комнаты раньше он никогда не заглядывал: не интересовался, да и незачем было.

Здесь все светилось чистотой. На окнах белели накрахмаленные занавески, стояли горшки с пеларгонией. На высоких кроватях почти до потолка возвышались пирамиды пухлых подушек, пол был выкрашен.

Антоний старательно вытер ноги, и только потом вошел в комнаты. В соседней спальне он увидел Василька. Парень лежал на кровати и плакал. Увидев Антония, он постепенно начал успокаиваться, но вдруг позвал его:

— Слушай, Антоний, я больше не выдержу. Лучше смерть, чем такая жизнь. Я покончу с собой. Так уж мне на роду написано.

— Не говори лишь бы что, — спокойно ответил Косиба. — Сколько несчастий люди встречают на своем пути, а живут...

— Живут? А зачем?.. Что же я, как бревно, должен гнить?

— Зачем гнить...

— Какой из меня толк? Ни себе, ни людям. Так и будет. Лежу здесь и все время думаю.

И додумался. Нет иного выхода.

— Оставь свои глупости, — проворчал Антоний, скрывая волнение. — Ты еще молодой.

— Что из того, что молодой. Какая же это молодость, если на собственных ногах удержаться не могу. Если бы старый был, то пусть... А то кара Божья за грехи отца! Почему я должен за него отвечать? Разве ж я у дядьки отнял его часть?.. Не я! Не я! Отец. За что мне это увечье?..

Антоний опустил глаза. Он просто не мог смотреть на этого симпатичного парня, почти ребенка, горящего над собой.

— Ты думай о чем-нибудь другом, — неубедительно сказал Антоний.

— О чем же я могу думать, о чем? Как гляну на свои ноги, так свет не мил становится! Вот, смотри!

Василек рванул на себя одеяло и открыл ноги.

Исхудавшие, неестественно тонкие, они были покрыты на голенях розовыми шрамами, которые еще не успели побелеть, и утолщениями.

Василь что-то говорил, но Антоний Косиба не слышал его, не различал слов. Он смотрел как замороженный, чувствовал, что с ним происходит что-то странное. Ему казалось, что он когда-то уже видел такую картину, что так и должно быть. Непреодолимая сила заставила его наклониться над лежащим Васильком. Он вытянул руки и стал ощупывать колени и голени. Его

толстые пальцы, покрывшиеся затвердевшей кожей, с безошибочной точностью находили, надавливая на дряблые мышцы калеки, кривизну неправильно сложенных костей. Антоний тяжело дышал, точно при большом напряжении. Он боролся с потоком мыслей, захлестнувших его. Ну конечно, так, все правильно. Он с удивительной ясностью понимал, что здесь произошло: кости срослись неправильно. Так не должно быть. И здесь то же самое. Как же так!

Он выпрямился и вытер рукавом пот со лба. Глаза его светились, но он так побледнел, что Василек спросил:

— Что с тобой?

— Подожди, Василь, — отозвался Антоний охрипшим вдруг голосом, — ты давно упал и поломал ноги?

— Пятый месяц... Но...

— Пятый? Но тебе их сложили?

— Сложили. Доктор из Радолишек.

— И что?

— И сказал, что буду здоровым. Он прибинтовал к ногам дощечки. Два месяца я лежал, а как снял...

— Что случилось?

— Тогда он сказал, что никто уже не поможет. Такой перелом, что нет способа помочь.

— Нет?

— Нет! Отец хотел меня в Вильно везти, в больницу. Но доктор сказал, сам Бог уже не поможет.

Антоний засмеялся.

— Неправда.

— Как это неправда? — дрожащим голосом спросил Василь.

— А так, что неправда. Ну-ка пошевели пальцами!.. Вот, видишь... Неправда! Если бы не мог пошевелить, тогда конец. А стопами?

— Не могу, — скривился Василь, — больно.

— Болит?.. И должно болеть. Значит, все правильно.

Он нахмурил брови и, казалось, о чем-то сосредоточенно думал, а потом, наконец, сказал с уверенностью:

— Нужно ноги тебе сломать снова и правильно составить кости, как должны быть.

И выздоровеешь. Если бы пальцами не мог пошевелить, то пиши пропало, а так... можно.

Изумленный Василь всматривался в него.

— А ты, Антоний, откуда знаешь?

— Откуда?.. — заколебался Антоний. — Не знаю, откуда. Но это не трудно. Вот, смотри. Здесь срослось криво и здесь, а на этой ноге еще хуже. Здесь трещина, видимо, почти до колена.

Он надавил и спросил:

— Болит?

— Очень.

— Ну, видишь. И здесь, наверное, то же самое!

Василь вздрогнул при прикосновении пальца.

Антоний улыбнулся.

— Видишь!.. Здесь нужно разрезать кожу и мышцы. А потом молоточком... или пилкой.

Правильно составить.

Обычно спокойный, скорее даже флегматичный, Косиба сейчас изменился до неузнаваемости.

Он оживленно объяснял Василю, что нельзя терять времени и нужно делать это быстро.

— Доктор Павлицкий не согласится, — покачал головой Василь. — Он если один раз скажет, то потом и слушать не хочет. Разве что в Вильно ехать?

Василек весь дрожал под влиянием охватившей его надежды, которую вселил в него Косиба, и с беспокойством всматривался в него.

— Не нужно в Вильно! — раздраженно ответил Антоний. — Не нужно никого. Я сам! Я сам это сделаю!..

— Ты? — уже с откровенным недоверием спросил Василь.

— Да, я. И увидишь, ты будешь ходить, как прежде.

— А откуда ты можешь это знать? Это же операция. Нужно учиться, чтобы делать такие вещи. Ты делал это когда-нибудь?

Антоний помрачнел. Он не мог преодолеть того удивительного желания, что-то заставляло его выполнить свое намерение. Одновременно он понимал, что ему не дадут, не позволят, не поверят. Конечно, он никогда не занимался лечением, а тем более составлением поломанных ног. Среди многих ремесел, которыми Антоний занимался на протяжении долгих лет странствий, он никогда никого не лечил. И сейчас он сам удивлялся, откуда у него такая уверенность и убежденность, что Василию можно помочь, что его можно поставить на ноги. Но это нисколько не изменило его решения.

Антоний Косиба не любил вранья. Однако на этот раз решил солгать, чтобы приблизиться к поставленной цели.

— Делал ли операции? — пожал плечами Антоний. — Много раз. И тебе сделаю, тогда ты выздоровеешь! Ты же неглупый и согласишься.

Дверь открылась, и маленькая Наталка позвала:

— Антоний, пойдем ужинать! А тебе, Василек, в постель принести?

— Я не буду есть, — нетерпеливо буркнул Василь, разозлившись, что прервали такой важный разговор. — Выйди отсюда, Наталка!

И снова начал выпытывать у Антония все об операции и отпустил его только после того, как в сенях заскрипел поторапливающий голос матери.

Спустя два дня старый Прокоп позвал Антония. Он сидел на скамейке и попыхивал трубкой.

— Что ты наговорил моему Васильку, Антоний? — обратился он к работнику. — О каком-то там лечении?

— Правду сказал.

— Какую правду?

— А что я могу его вылечить.

— Как это ты можешь?

— Нужно разрезать, кости наново сломать и опять сложить. Они неправильно составлены.

Старик сплюнул, погладил свою седую бороду и махнул рукой:

— Перестань. Сам доктор сказал, что тут уже ничто не поможет, а ты, темный, необразованный, сомневаешься?.. Правда, ты разбираешься во многом. Не отрицаю, и грех был бы... но с человеческим телом не так просто. Нужно знать, где какая косточка, где какая жилка, какая к какой подходит, какое имеет значение. Сам не раз разбирал кабана или теленка. Столько там разных таких жилок, что и не разберешься. А по существу что? Скотина. А у человека все деликатное. Нужно разбираться в этом. Это тебе не соломорезка, которую развинтишь, все винтики и другие части на земле разложишь, а потом опять сложишь, смотришь, и режет лучше, чем прежде... Уметь тут надо, школу закончить, науку пройти.

— Как хочешь, — пожал плечами Антоний. — Я что? Набиваюсь, что ли? Говорю, что смогу, потому как не раз вытаскивал людей из такой беды, значит, смогу. Слышал ты когда-нибудь, чтобы я слова на ветер бросал?

Старик молчал.

— Случалось ли, что я брался за какое-нибудь дело, а потом не справлялся, портил?

Мельник покачал головой.

— Твоя правда! Грех жаловаться! Умелый ты, и я не жалею, что оставил тебя. Но тут дело касается моего сына. Сам понимаешь, я думаю, последнего, который у меня остался.

— Так ты хочешь, чтобы он навсегда калекой остался? А со временем не лучше ему будет становиться, а все хуже. У него отломаны куски костей. Ты сам их рукой нащупаешь.

Говоришь, что наука нужна. Так была же у тебя наука. Тот доктор из городка ученый. А что сделал?

— Если ученый не сумел, то неученому и братья нечего. Разве, заколебался он, — разве в Вильно везти, в больницу. Но то ж такие огромные затраты, а еще неизвестно, помогут ли там...

— И тратиться не надо. Мне гроша не заплатишь. Я не настаиваю, Прокоп, слышишь, не настаиваю. От всего сердца, из благодарности вам всем хочу помочь. Если боишься, что Василь после операции может умереть или еще какая-нибудь болезнь с ним приключится, то помни две вещи. Во-первых, ты имеешь право убить меня. Я защищаться не буду. А захочешь, то до смерти останусь работать у тебя бесплатно. Что же делать! Жалко мне парня, а я знаю, что помогу ему. А во-вторых, Прокоп, ты знаешь, какие мысли приходят ему в голову?

— Какие ж это мысли?

— А чтобы лишиться себя жизни.

— Тьфу, не произноси таких слов в злую минуту. — вздрогнул мельник.

— Я не произношу. Но он, Василек, все время над этим думает. Мне говорил и другим тоже. Спроси у Зони или Агаты.

— Во имя отца и сына!..

— А ты, Прокоп, не обращай к Богу, — раздраженно добавил Антоний, — потому что все говорят, что твои несчастья с детьми — Божья кара за то, что ты обидел своего брата...

— Кто так говорил?! — вскипел старик.

— Кто?.. Кто?.. А все. Вся округа. Если хочешь знать, то и сын твой говорит то же самое. За что, говорит, я должен мучиться, за что калекой до конца жизни быть? За грех отца?..

Воцарилось молчание. Прокоп опустил голову и сидел, как окаменевший, только ветер разведал пряди его длинных седых волос и бороды.

— Смилуйся, Боже, смилуйся, Боже, — тихо шептал он.

Антонию вдруг стало нехорошо на душе. Зачем он бросил в лицо несчастному старику страшное обвинение? Ему захотелось смягчить ситуацию, и он заговорил снова:

— То, о чем говорят, вероятно, выдумка... Приговоров Божьих никто знать не может. А Василь еще молодой и глупый. Лично я в это не верю.

Старик не шелохнулся.

— Не верю, — продолжал Антоний, — и в доказательство тому вылечу твоего сына. Решайся, Прокоп, потому что я только добра тебе хочу, равно как и ты мне зла не желаешь, я знаю.

Представь, что будет, если наперекор всем разговорам Василь поправится, начнет ходить, как все люди, возьмется за работу? Будет у тебя, кому мельницу оставить. На старости лет опору и опеку в родном сыне найдешь. Подумай, не закроет ли это рот сплетникам, когда они увидят здорового Василя?

Мельник тяжело поднялся с бревна и посмотрел на Антония. Глаза его беспокойно горели.

— Послушай, Антоний, а ты поклянешься, что хлопец не умрет?

— Поклянусь, — прозвучал уверенный ответ.

— Тогда пошли.

Не сказав больше ни слова, он пошел вперед. Заглянул в комнаты. Там никого не было. В углу перед иконой мерцал слабый огонек лампадки.

Прокоп снял икону с гвоздя, торжественно поднял ее над головой и сказал:

— Святой пречистой...

— Святой пречистой, — повторил Антоний.

— Христу избавителю...

— Христу избавителю...

— Клянусь.

— Клянусь, — повторил Антоний, и для подтверждения клятвы поцеловал икону, которую поднес ему Прокоп.

Все должно было произойти в абсолютной тайне. Прокоп Мельник не хотел разглашать эту затею, чтобы снова не ожили в округе разговоры о его брате и о Божьей каре, которая пала на его потомство. Несмотря на клятву Антония Косибы, несмотря на доверие к нему, Прокоп не исключал все-таки возможности смерти сына.

Поэтому даже своим близким не открыл всего до конца.

Весь следующий день, в соответствии с планом Антония, женщины убрали в пристройке. Там натопили печь, занесли ушат с водой, две самые большие кастрюли и постели Василя и Косибы. Женщинам и второму работнику Прокоп сказал только следующее:

— Антоний знает способ лечения и будет там лечить Василька.

Тем временем Антоний выбрал себе из инструментов молоток, маленькую пилочку, вычистил ее дробленным кирпичом и доделал ручку, нашел долото и два ножа. Все это долго точил, но никто не видел, чем он занимался. Не видел никто и того, как он выстругал вогнутые дощечки. Старый Прокоп с самого утра отправился в городок и, возвратившись, занес Антонию в пристройку какие-то пакеты. В них была вата и йод. Бинты Антоний приготовил сам из двух простынь.

Вечером Василя перенесли, и они провели ту ночь в пристройке уже вместе. В пристройке была большая комната с тремя окнами и темным альковом. Василию поставили кровать в комнате, а альков занял Антоний. Так же как и в доме, вдоль стен стояли лавки, а в углу большой стол. Василь в ту ночь уснуть не мог: все расспрашивал Антония об операции.

— Спал бы уже, — одернул его, наконец, Антоний. — Что ты, как женщина, боишься боли?

— Я не боюсь боли. Что ты! Вот сам увидишь, я даже не застону. Я только прошу тебя, ты не обращай внимания, что мне больно. Я выдержу, только бы хорошо было.

— Будет хорошо.

На рассвете мельница заработала, как обычно, с той лишь разницей, что две молодые женщины помогали вместо Косибы.

— Что это ты, Прокоп, — посмеивались мужики, — с каких это пор мельницу у тебя бабы крутят?

Но Прокоп на шутки не отвечал, в голове у него роились другие мысли. Он выполнял свою работу, а в душе все время молился.

Тем временем солнце уже пробилось сквозь облака, висящие над горизонтом, и все залило своим теплым светом. В пристройке стало совсем светло.

Антоний хлопотал в пристройке с самого утра, ворча что-то себе под нос. Василь молча следил за каждым его движением. Этот бородатый великан казался ему странным, таинственным и опасным. В его поведении, поспешности и неожиданной задумчивости, в странной улыбке было что-то такое, что вызывало суеверный страх. Василь знал, что никто сейчас сюда не придет, и он теперь во власти Косибы. Знал он также и то, что никакие просьбы не помогут, что Антоний не отступит от своего плана. Ему оставалось, как обреченному, следить за непонятными движениями Антония, за тем, как обернул он себя простыней, как разложил на табурете свитки бинтов, как достал веревки...

Васильку подумалось, что так должен выглядеть палач, который готовится к казни, поэтому несказанно удивился, неожиданно услышав над собой теплый и сердечный голос, так отличающийся от обычного тона Антония.

Антоний, наклонившись над ним, говорил спокойно и ласково:

— Ну, приятель, смелее, по-мужски! Нужно немного потерпеть, если хочешь опять быть здоровым, крепким парнем. Все будет хорошо! Ну, обопрись на меня.

Он взял его на руки и уложил на столе.

— Я же говорил, что ты смелый, что сожмешь зубы и даже не пискнешь. Но нечаянно можешь вздрогнуть, и поэтому я должен тебя привязать, чтобы ты не испортил всю работу. Хорошо?

— Привязывай, — едва слышно прошептал Василь.

— И не смотри сюда. Можешь смотреть на потолок или в окно на облака.

Этот спокойный голос как бы убаюкивал Василя. Он чувствовал, как сильно опоясывают его веревки. Сейчас он был придавлен к столу так, что не мог пошевелиться. Глядя в сторону, заметил еще, что Антоний, высоко закатав рукава, долго мыл руки в горячей воде.

Потом зазвенели инструменты, еще секунда, и Василь почувствовал как бы мгновенное прикосновение раскаленной проволоки к правой ноге. Еще, и еще!.. Боль становилась все мучительнее. Василь сжимал зубы все сильнее, глаза застилали слезы. Ему казалось, что проходят часы, а боль все нарастает... В конце концов, через сжатые зубы вылетел продолжительный стон:

— Ааааа...

Внезапно на больную ногу обрушился сильный дар. Боль была такой нестерпимой, что огнем пронзила мозг и свела мышцы смертельной судорогой. В глазах парня сверкнули серебристые искры.

— Умираю, — подумал Василек и потерял сознание.

Когда он пришел в себя, первым его ощущением был привкус водки на губах. Чувствовал себя Василь совершенно ослабевшим. Он не мог открыть глаза, не мог понять, где он находится, и что с ним произошло. Затем почуял запах табачного дыма и стал различать шепот. Двое в комнате разговаривали. Василь узнал голос отца и Антония.

Он с трудом открыл глаза. Постепенно они привыкли к полумраку, царившему в комнате.

Напротив, на лавке сидел, всматриваясь в него, отец. Рядом стоял Антоний.

— Он открыл глаза, — взволнованно сказал отец. — Сынок, Василек! Бог милосерден к нам грешным! Пусть его имя будет свято во веки веков! Сынок, ты живой? Живой же?..

— А чего ему не быть живым? — приблизился к кровати Антоний. — Живой и должен выздороветь.  
— Это ты мне ноги составлял? — шепотом спросил Василь.  
— А кто же? И все хорошо вышло. Страшно они у тебя были поломаны, а тот доктор еще хуже тебе сделал. Сейчас нужно лежать спокойно. Все должно срастись.  
— И буду... буду ходить?..  
— Будешь.  
— Как все?  
— Как все.  
Глаза Василя закрылись.  
— Заснул. — объяснил Антоний. — Пусть спит. Сон вернет ему силы.

## Глава VII

Неделю спустя у Василя спала температура и появился аппетит. Вместе с надеждой вернулось настроение. На перевязках кривился от боли, но шутил. Ухаживал за ним Антоний сам, а когда на мельнице было больше работы, больного опекали женщины.

Сохранить от них тайну было невозможно, поэтому весть об операции мигом разлетелась по округе. То один, то другой приятель Василя забегали по дороге, чтобы переброситься с ним несколькими словами. Заявлялись и любопытные бабы, чтобы выведать подробности, а потом посплетничать. Но Антония они избегали и, увидев, что он в комнате, быстренько исчезали. Так миновал октябрь, за ним ноябрь. Накануне Рождества Василь стал просить Антония, чтобы тот позволил ему попробовать свои силы.

Однако Антоний только прикрикнул на него.

— Лежи и даже не думай об этом! Сам скажу, когда можно вставать!

Только под конец января он объявил, что можно снимать бинты. Вся семья хотела присутствовать при этом, но Антоний никого не пустил. Он сам очень волновался, и руки у него дрожали, когда он снимал бинты.

Ноги Василька еще больше похудели, мышцы еще больше одрябли. Но раны зажили хорошо и, что самое главное, исчезли шишки и искривления.

Антоний осторожно, сантиметр за сантиметром ощупывал через тонкую кожу кости, закрыв при этом глаза, будто они ему мешали.

Наконец перевел дыхание и попросил:

— Пошевели пальцами... А сейчас осторожно стопами... Больно?

— Нет, не больно, — срывающимся от волнения голосом ответил Василь.

— А сейчас попробуй согнуть колени...

— Боюсь.

— Смелее, ну!

Василь согнул колени и глазами полными слез посмотрел на Антония.

— Могу согнуть! Могу!

Подожди, не все сразу. Сейчас подними немного эту ногу... вот так, а сейчас ту...

Напрягаясь и от волнения дрожа всем телом, Василь выполнял требуемые движения.

— А сейчас накройся и лежи. Неделю полежишь, а потом начнешь вставать.

— Антоний!

— Что?

— Это значит... это значит, что я... смогу ходить?

— Так же, как и я. Не сразу, конечно. Нужно поучиться будет. Сразу, как малый ребенок, на ногах не устоишь.

Так оно и было. Только через две недели после того, как были сняты повязки, Василь смог самостоятельно обойти комнату. Вот тогда Антоний созвал в пристройку всю семью. Пришел Прокоп с Агатой, обе молодые женщины и маленькая Наталка.

Василь сидел на кровати уже одетый и ждал. Когда собрались все, он встал и обошел комнату медленным, слабым, но ровным шагом, а затем остановился и рассмеялся.

И тогда женщины разразились таким плачем и причитаниями, точно на них свалилось самое большое несчастье. Сотрясаемая рыданиями мать Агата обняла сына. Только старый Прокоп стоял неподвижно, но и у него по усам и бороде катились слезы.

Пока женщины, не переставая, то плакали, то смеялись, Прокоп кивнул головой Антонию:  
— Пойдем со мной.

Выйдя из пристройки, они обошли дом и вошли в сени.

— Давай свою шапку. — распорядился Прокоп.

Взяв ее, он исчез за дверью. Через несколько минут дверь отворилась и на пороге появился мельник. В обеих руках старик держал шапку. Он протянул ее Антонию.

— Вот, бери! Самые настоящие царские империялы. Этого тебе хватит до конца жизни. Того, что ты для меня сделал, деньгами не оплатишь, но, что имею, то даю. Бери!

Антоний посмотрел на него, потом на шапку: она до краев была заполнена золотыми монетами.

— Что ты, Прокоп?! — Антоний отступил на шаг. — Что ты? С ума сошел?

— Бери, — повторил мельник.

— А зачем мне это?! Мне не нужно. Перестань, Прокоп. Разве я ради денег?.. Я от всего сердца, за твою доброту! И парня жалко было.

— Возьми.

— Не возьму, — решительно ответил Антоний.

— Почему?..

— Не нужно мне это богатство. Не возьму!

— Я же от чистого сердца, видит Бог, от сердца. Я не жалею.

— А я от чистого сердца благодарен тебе. Спасибо, Прокоп, но не надо мне денег. Хлеб у меня есть, на табак и одежду заработаю, а это зачем мне?!

Мельник задумался на минуту.

— Даю, — сказал, наконец, — ты не берешь. Твое дело. Силой, понятно, не заставлю. Но и ты так не можешь! Что ж ты, Антоний, не хочешь принять от меня благодарность? Неужто хочешь, чтобы мне люди глаза кололи, будто я тебе за такое святое дело ничем не отплатил?.. Нельзя так, не по-христиански это, не по-людски. Не берешь золота, то прими что-нибудь другое. Будь гостем у меня. Живи, как родной. Иногда захочешь помочь на мельнице или по хозяйству — помогай, не захочешь — не надо. Так живи, как у своего отца.

Антоний кивнул головой.

— Хорошо мне у тебя. Прокоп, и я останусь. Но дармового хлеба есть не буду. Пока здоровья и сил хватит, от работы не откажусь, да и что за жизнь без работы? А за доброту спасибо тебе.

Больше они об этом не говорили. И все осталось по-старому. Только за столом мать Агата всегда ставила Антонию отдельную тарелку и выбирала для него куски пожирнее.

В ближайшую пятницу, когда на мельнице толпилось много народу, Василь вышел во двор в коротком новом кожухе, в каракулевой высокой шапке и в длинных сапогах с лакированными голенищами. Он ходил так, как будто ничего с ним и не случилось. Мужики широко открывали рты и один другого толкали локтями в бок, потому что никто не верил бабским рассказам, будто бы работник Прокопа Мельника, какой-то пришлый Антоний Косиба, чудом вылечил Василя от увечья.

Весть о выздоровлении Василя наделала столько же шума, сколько и известие о его прежнем несчастье. Об этом говорили в Бернатах и в Радолишках, в Вицкунах и в Нескупой, в Побережье и в Гумнисках. А оттуда вести шли дальше: до усадеб Ромейкув и Кунцевичей, в большие деревни над Ручейницей. Там, правда, люди этим интересовались меньше, но тут, под боком, о необыкновенном выздоровлении на мельнице говорили все.

Однажды, когда в конце февраля на вырубке в Чумском лесу падающая береза придавила хозяина из Нескупой Федорчука, соседи посоветовали взять его на мельницу к Антонию Косибе. Привезли его умирающим, горлом шла кровь, он уже и стонать перестал.

Розвальни, которые тянула маленькая пятнистая лошадка, остановились возле мельницы.

Антоний как раз нес мешок с отрубями в амбар.

— Спасай, брат, — обратился к нему один из староверов. — Соседа нашего деревом придавило.

Четверо малых детей сиротами останутся, потому что мать в прошлом году похоронили.

Вышел и Прокоп, а они к нему, чтобы слово замолвил.

— Твоего сына вылечил, так пусть и Федорчука спасает.

— Не мое это дело, добрые люди, — ответил Прокоп серьезно, — ни запретить, ни приказать я не могу. Это он сам решает.

Тем временем Антоний отряхнул руки от муки и стал на колени возле саней.

— Везите его осторожно, — сказал он минуту спустя. — и несите за мной.

После выздоровления Василя Антоний остался жить в пристройке. Там было ему удобней, да и все равно она стояла пустой. Туда и занесли Федорчука.

До вечера Антоний занимался им, а когда стемнело, вошел в избу, где его ждали мужики из Нескупой.

— Слава Богу, — сказал он, — ваш сосед крепкий мужчина, позвоночник остался целым.

У него сломано только шесть ребер и ключица. Отвезите его домой, и пусть лежит, пока кровью плевать не перестанет. Как только кашлять захочет, пусть глотает лед. Ничего горячего ему не давайте.левой рукой пусть не двигает. Заживет. Через дней десять пусть кто-нибудь за мной приедет, тогда я посмотрю его сам.

— А не помрет?

— Я не пророк, — пожал плечами Антоний, — но, думаю, если все сделаете так, как я сказал, то выживет.

Мужики забрали Федорчука и уехали. Не прошло, однако, и десяти дней, как из той же Нескупой привезли нового пациента. Работник одного из хозяев при рубке льда на реке поскользнулся, замахнувшись, и раздробил себе топором стопу почти до кости. Или топор был ржавым, или из лаптя грязь попала в рану, но нога на глазах чернела. Сам пострадавший понимал, что началась гангрена.

Антоний только покачал головой и сказал:

— Я тут уже не помогу. Нога пропала.

— Спасай хоть жизнь! — умолял несчастный.

— Нужно отрезать ногу здесь, в этом месте, — показал Антоний выше колена. — Останешься калекой на всю жизнь и меня еще будешь проклинать. Да еще скажешь, что можно было спасти ногу.

— Умоляю тебя, спаси жизнь. Я сам вижу черные пятна. Гангрена это.

— Как хочешь, — согласился, подумав, Антоний.

Операция была очень болезненной и ослабила мужика так, что не могло быть речи о том, чтобы забрать его домой даже через несколько дней. Однако жизни его уже ничто не угрожало.

После этих случаев слава Антония Косибы выросла еще больше. Почти каждый день приходили больные с разными недугами. У того глаза загноились, с Рождества не видел, у другого кости ломило, третий жалуется на колики, иных мучил кашель. Бывали и такие, что сами не знали, что с ними происходит: просто день ото дня слабели все больше и больше.

Антоний не всем помогал. Некоторых он сразу отправлял, объясняя, что от их болезни нет лекарства. Другим говорил по-разному: то мешок с горячим песком к животу прикладывать, то соль не сыпать в еду и мяса не есть, то отвары из разных трав пить. И так уж получалось — кто от него с советом выходил, всегда выздоравливал, в крайнем случае получал облегчение.

В округе было несколько знахарей. В Печках у графа Зангофта старый овчар умел заговаривать рожу и зубную боль, да и в других болезнях разбирался. Одна баба, Белякова с хутора, знала метод лечения лишая, заговаривала, чтобы благополучные роды были. Церковный сторож в Радолишках глисты выгонял и при кровотечениях помогал. Но все они советовали говорить какие-то молитвы или таинственные заклинания, делали над больными странные знаки или давали им амулеты.

Зато новый знахарь, Антоний с мельницы, ничего такого не делал. Поспрашивает, посмотрит, пощупает, а потом, как безумный, ходит по избе, лихорадочно лоб трет, глазами вращает и сразу говорит, как лечиться.

В округе много спорили о том, у какого знахаря лучший способ лечения. И все же с одной стороны Антоний Косиба был выше всех: он не брал денег. Когда больные приносили брусочек масла, цыпленка, мешочек бобов, свиток домашнего полотна или шерсти, он принимал это, благодарил коротким поклоном, а если ничего не приносили, все равно лечил их. Время от времени он раздавал бедным то одно, то другое, остальное шло в кладовую мельника. Для своих нужд Антонию требовалось немного: хватило бы на табак, пару юфтовых сапог, да какую-нибудь одежку. Все это обеспечивал ему заработок с мельницы, потому что он

продолжал там работать, хотя Прокоп из благодарности за сына и за то, что Антоний им отдавал, сам уговаривал его оставить работу.

А — тем временем наплыв пациентов увеличивался. Случалось так, что Антонию некогда было работать на мельнице. У его дверей стояло по десять и больше телег с тяжелобольными. Те, у кого еще были силы, приходили пешком, издалека приезжали с оказией, и таких пациентов было много.

В чулане, в сенях и в самой избе по углам вырастали настоящие горы подарков, потому что мать Агата соглашалась брать только съестное, а полотно, шерсть, лен, бараньи и телячьи шкуры, перо, а прежде всего травы, которые нужны были только Антонию, лежали в куче.

— Мусора у тебя тут, как в хлеву, — говорила, подбоченившись, широкобедрая Зоня, — а всякого добра, как у жида за печкой. Сказал бы, я уберу... Пол тоже вычистить нужно...

— Да ладно, — махнул он рукой. — Мне и так хорошо...

— Окна тоже стоит помыть, — продолжала Зоня.

— Обойдется.

— Мужчина без присмотра, как огород без забора.

Антоний молчал, надеясь, что если он не будет отвечать, то Зоня, как обычно, постоит, постоит, а потом соберется и уйдет. Он даже любил ее, ценил ее доброе сердце, но предпочитал оставаться один.

Однако на этот раз Зоня не уступала.

— Мужик ты, Антоний, расторопный. Только своей выгоды не видишь. Хо-хо, какое богатство мог бы собрать, если бы захотел. Столько народу к тебе приходит. Помогать больным, конечно, христианское дело. Если бедный, то и даром можно, но у меня внутри все перевернулось, когда ты у такого богача, как Дулейко из Бервятув, взял только короткий кожанок. Он бы тебе и корову отдал, если бы ты захотел. Большие деньги мог бы собрать.

— Мне не нужны деньги, — пожал он плечами. — Я и так не голодаю, а собирать мне не для кого.

— А ты сам виноват.

— В чем?

— Что у тебя никого нет. Тебе нужна своя баба и дети.

— Старый я уже, — ответил уклончиво Антоний.

Зоня громко рассмеялась.

— Ты такой старый, что не одна пошла бы за тебя.

— Обойдется.

— Я и сама бы пошла. Правду говорю. Пошла бы.

Антоний резко отвернулся от нее и проворчал:

— Оставь эти глупости.

— А почему глупости?.. Не бойся. Месяца не проходит, чтобы кто-нибудь не сватался ко мне. Я еще не самая плохая, хоть и вдова. На прошлой неделе сам видел, как из Вицкунов приезжали старый Баран и садовник Сивек. Сватали меня за младшего Мищонка. А я нет, хотя он моложе меня и целую влуку земли в наследство получит. А я нет. Не такого я хочу мужа. А за тебя пойду, только слово скажи. И, если хочешь знать, сам Прокоп рад бы...

— Зачем мне жениться, Зоня...

— Не нравлюсь я тебе?

— Не в этом дело. Никто мне не нравится, потому что не приспособлен я для семейной жизни.

— А для чего?

— А просто так.

— Баба тебе нужна. Скажешь нет?

— Да нет.

— Ну так чтоб тебя холера взяла! — неожиданно взорвалась Зоня. — Чтобы на горе стоял и солнца не видел! Чтоб тебя трасца взяла! Чтобы в воде сидел и напиться не мог! Ишь ты его! Какой бесчувственный?.. Такой упрямый!.. Хорошо, хорошо! Я тебе это припомню! Тьфу! И, красная от гнева, она выскакивала из пристройки, хлопнув дверью. Но на следующий день от ее ярости не оставалось и следа. Она снова заботливо подливала ему супа, наливала более крепкий, чем другим, чай и скалила ровные белые зубы.

Кроме Зони, никто из семьи мельника в пристройку к Антонию не заглядывал, исключая, конечно, малую Наталку. Наталка день и ночь сидела бы у него, если бы только можно было. Она очень привязалась к Антонию.

Однажды она сказала ему:

— Тетка Зоня все больше наряжается. Вчера на ярмарке красную блузку купила и мыло пахучее, а еще туфли на таких высоких каблуках...

— Вот и хорошо.

— А я знаю, зачем она наряжается.

— Потому что она женщина, а женщины любят делать это.

— Нет, — покачала головой Наталка. — Это потому, что она хочет пожениться с тобой.

— Не говори лишь бы что, — одернул он ее.

— Это не я, а Виталис говорил. И бабушка тоже.

— Глупости говорили.

Девочка захлопала в ладоши:

— Правда?.. Правда?..

— Ну, конечно, глупости, а ты чего радуешься?

— Потому что я знаю, почему ты не хочешь тетки Зони. Ты оженишься со мной, когда я подрасту. Оженишься?

— Только подрастай.

С ней одной он любил разговаривать и только ей иногда улыбался, сердечно полюбив Наталку. И, когда случались с ней припадочки падучей болезни, горько переживал и клялся, что сразу же по весне пойдет в лес на поиски тех трав, которые могли бы ее вылечить. Во всей округе, где на продажу или для себя люди собирали ромашку, валериану, мяту, липовый цвет, пижму, белянку, спорынью, березовые листья, головки дикого мака, дудник, полынь, подорожник, волчьи ягоды, чабрец, черную розу и другие травы, он не мог найти лишь одной, потому что названия ее не помнил. И, хотя он описывал, как эта травка с маленькими острыми листочками выглядит, никто не мог сказать ни ее названия, ни того, растет ли она в здешних лесах.

Однажды он даже в аптеку Радолишек поехал в надежде найти там нужную травку. Однако аптекарь, выведенный из себя долгими объяснениями и тем, что сам такой травы не знает, выпроводил Антония за дверь. Выпроваживал его с удовольствием еще и потому, что в округе уже хватало знахарей, из-за которых сокращался оборот аптеки. Уважение, которым пользовался знахарь близлежащей мельницы, как местному лекарю, доктору Павлицкому, так и местному аптекарю, было крайне неприятно. Слава о нем разошлась очень далеко и лишала их пациентов даже из самого городка.

Когда во время мартовского половодья люди стали больше болеть, а у доктора Павлицкого пациентов не прибыло, он, посоветовавшись с аптекарем, начал действовать. Прежде всего, он написал пространное донесение старосте и районному доктору, жалуясь на возрастающее засилье знахарей, и просил принять административные меры.

Служебные распоряжения, однако, шли своим ходом, ответ не приходил. Тем временем произошел случай, который привел доктора Павлицкого в бешенство. В один из дней за ним прислали бричку из Ключева. Хозяин Ключева, пан Киякович, мучился от почечной колики: у него были камни в почках, и он часто вызывал доктора. Бричка из Ключева появлялась, как правило, ранним утром. Это объяснялось просто. Вечером у пана Кияковича собирались соседи на бридж, и он не мог удержаться, чтобы не опрокинуть пару рюмок. Ночью наверняка начинался приступ, и кучер Игнатий с раннего утра на паре самых быстрых лошадей выезжал за паном доктором.

Но в этот раз он появился только пополудни. И доктор Павлицкий, усевшись в бричку, начал расспрашивать, что случилось. Добродушный Игнатий, не отдавая себе отчета в том, что он говорит и кому, а может, и умышленно желая досадить доктору, который всегда забывал дать пару грошей на пиво, все откровенно рассказал. Оказалось, что его послали, как всегда, ранним утром, но не за доктором, а за знахарем, Антонием Косибой, который у мельника в пригороде живет.

— Как это? — аж задохнулся доктор. — Вас послали за знахарем?

— Да, за знахарем.

— Видно, пану Кияковичу скорее хочется отправиться на тот свет.

— Скорее-то ему не скорее. А вот рассказывают, что если этот знахарь кого лечит, то болезнь как рукой снимает.

Доктор взорвался.

— Что за темнота! Что за темнота! Неужели же вы не понимаете, что это обычный болван, который не только о медицине, но даже и об анатомии не имеет никакого понятия, что обращаться к нему опасно для жизни?

— Я понимаю, — проворчал кучер.

— Я сейчас вам объясню. Допустим, что у вас лучший конь заболел. Так к кому вы пойдете? К ветеринару или к первому попавшемуся дураку, который не отличит, где у коня хвост, а где голова?

Игнатий рассмеялся.

— Кто бы не отличил... А зачем я буду допускать, чтобы у меня конь заболел?.. Если человек заботится о коне, а конь хороший, то зачем мне допускать, чтоб он заболел? Тьфу, тьфу! Чтоб не сглазить.

Доктор Павлицкий махнул рукой, но спустя минуту заговорил снова:

— Ну, видите, хватило у вас ума, чтобы не ездить к тому знахарю, а поехать ко мне.

— А что мне оставалось делать? Если бы с пустой бричкой приехал, то хозяин дал бы мне по морде. Поэтому я и подумал: тот не хочет, то поеду к пану доктору.

— Кто не хочет?

— А тот... знахарь мельника.

— Как это не хочет?

— Потому что он не захотел. У меня, говорит, нет времени к вашим хозяевам ездить. Ты что, не видишь, говорит, сколько больных меня ждет? Так сказал, а я смотрю, правда, народу ничуть не меньше, чем на рынке в четверг. Так я ему говорю, мол, хозяин тебе больше заплатит, чем все они, вместе взятые, только, известно, если поможешь. А он отвечает: «Если твой хозяин больной, то пусть приедет, как все остальные. А деньги мне не нужны...» Что мне оставалось делать?.. Завернул лошадей и конец. Я сам знаю, что он денег не берет.

— Но продукты берет же, — отозвался Павлицкий.

— Нет, продукты тоже не берет! Разве что масло, яйца или колбасу. Он бесхитростный.

Доктор сжал челюсти. Заехав в имение, он даже не выговорил пану Княковичу за случившееся, но на обратном пути приказал Игнатию свернуть к мельнице.

Возле мельницы, на внутреннем дворе у пристройки, стояло более десятка повозок.

Распряженные кони неторопливо жевали сено. На повозках лежали больные. Семь или восемь мужиков сидели на бревнах под сараем, потягивая сигарки.

— Где этот... знахарь? — обратился к ним доктор Павлицкий.

Один из мужиков встал и показал рукой на дверь.

— В избе, паночку!..

Доктор выпрыгнул из брички и толкнул дверь. Уже в сенях в нос ударил отвратительный запах юфтовой кожи, дегтя и квашеной капусты. В избе дышать было нечем. Повсюду горы тряпья и грязь, покрывающая пол, окна и все вокруг... Доктор не обманывался в своих предположениях. Возле стены сидела баба с явными признаками желтухи. Огромный широкоплечий бородач с поседевшими волосами стоял, наклонившись над столом, и размешивал какую-то сухую траву на грязном платке.

— Так это вы знахарь? — резким тоном спросил доктор Павлицкий.

— Я работник с мельницы, — кратко ответил Антоний, неохотно бросив взгляд на гостя.

— Но вы осмеливаетесь лечить! Травите людей! Знаете ли вы, что это пахнет тюрьмой?!

— Что вам нужно и кто вы такой? — спокойно спросил знахарь.

— Я лечу людей и являюсь доктором медицины. И не воображайте себе, что я буду смотреть сквозь пальцы, как вы травите народ.

Знахарь закончил приготовление трав, завязал их в платке и, подавая узелок женщине, сказал:

— Две щепотки на кружку воды, так, как я говорил. И пить нужно горячим. Половину натошак, а вторую — вечером. Поняла?

— Поняла.

— Ну и с Богом.

Старушка поблагодарила и, охая, вышла. Знахарь сел на лавку и обратился к доктору:

— Кого ж это я отравил?

— Всех травите!

— Неправда. Ни один не умер.

— Не умер? Так умрет! Вы постепенно отравляете их организмы. Это преступление!

Понимаете? Преступление! Но я этого не допущу! Я просто не имею права допускать. В такой грязи, в такой вони! На ваших руках больше заразы, чем в инфекционной больнице!

Он осмотрелся вокруг с отвращением.

— Запомните: если не прекратите вашей преступной практики, то сядете в тюрьму! Знахарь слегка пожал плечами.

— Ничего не поделаешь! Но я ничего плохого не делаю. А тюрьма? Что ж, тюрьма тоже для людей, не для собак. Но вы, пан доктор, на меня не сердитесь.

— Я вас только предупреждаю! И советую прекратить. Советую!

Он погрозил ему пальцем и вышел. На улице глубоко вдохнул свежий воздух. Игнатий с облучка бросил на доктора иронический взгляд. Доктор Павлицкий уже уселся в бричку, когда на углу мельницы увидел Василя, своего давнего пациента. Василь подождал его, поклонился и подошел к бричке.

— День добрый, пан доктор.

Он шел ровным и уверенным шагом, а потом остановился и посмотрел прямо в глаза доктору.

— Видите, пан доктор, я поправился, — сказал хвастливо Василек. Благодаря Богу поправился. Антоний вылечил. А пан доктор говорил, что у меня нет надежды. Пан доктор хотел меня на всю жизнь калекой оставить.

— А каким методом вас лечили? — с нескрываемой злобой спросил доктор.

— Так он же сразу понял, что кости были плохо составлены. Сломал и заново составил. Сейчас я и танцевать могу.

— Ну-ну... так поздравляю, — буркнул доктор и приказал кучеру ехать.

Всю дорогу его грызли неприятные мысли. Домой приехал он уже после обеда. Семья, однако, вернулась к столу, чтобы составить ему компанию. Быстро проглатывая высушенную печень, он старался не показать, что это невкусно. Старая Марцься, которая тридцать лет назад учила его ходить, сконфуженно хлопотала. Отец тоскливо смотрел на газету, которую ему начала читать Камиля. Уже три недели назад он разбил свои очки, а на новые не было денег. На Камильке было выгоревшее платье, которое ее старило и в котором она вызывала жалость. Мать старалась милой улыбкой скрыть выражение страдания, которое уже давно не сходило у нее с лица. За месяц грязевые ванны восстановили бы ее здоровье.

— Боже, Боже, — размышлял доктор Павлицкий, доедая компот из разварившихся яблок. — Я же люблю их и готов ради них на все, но видеть каждый день, каждый час их бедность — выше моих сил.

Ему казалось, что в каждом их жесте, в каждом слове заключался упрек, что каждый угол этого дома смотрел на него с укором. Сколько надежды связывали они с его будущим, с его практикой, с доходами. А он сидит уже почти год в этой забытой Богом дыре и зарабатывает лишь на скромное содержание.

Если бы можно было отсюда вырваться! Он не боялся трудностей, поехал бы даже в Африку или Гренландию. Но они же здесь все поумирали бы с голоду. Он чувствовал, знал, что ждет его на белом свете успех, карьера, деньги, но знал также, что никогда не сумеет сделать решительный шаг. Он был невольником своих чувств, искренних и глубоких. Эти чувства приковали его к ним: к родителям, к сестре и даже к старой Марцьсе, приковали, точно цепями, к маленькому деревянному домику в небольшом заброшенном городке.

И чем глубже погружался он в трясины жалкого существования, тем заботливей, старательней прятал свое отчаяние от близких. Как он был благодарен им за то, что они, в свою очередь, ничем не обнаруживали постигшее их разочарование. Однако он с болью воспринимал их мысли и чувства. Они витали всюду в этом доме, наполняя воздух безнадежной печалью, развеять которую не смогла бы даже самая искусная улыбка или громко демонстрируемая радость.

— Я был у этого знахаря, — начал Павлицкий. — Сказал ему несколько слов правды и посоветовал, чтобы, пока не поздно, оставил свою практику.

— А это правда, что у него много пациентов? — спросила Камилька.

— Много? — рассмеялся доктор. — Если бы у него была десятая часть того, если бы была... Не закончив фразу, он закусил нижнюю губу.

Мать начала быстро, очень быстро говорить о кошке Басе, что она где-то запропастилась, о том, что в среду именины у Козлицких, о корове ксендза, которая дает очень много молока. Но Павлицкий ничего не слышал. Все в нем бурлило, кровь пульсировала в висках. Он резко отодвинул недопитый стакан компота и вскочил.

— А знаете почему у него больше пациентов? — спросил он, обращаясь ко всем. — Знаете?..

Он увидел их испуганные взгляды, но не смог справиться с собой.

— Потому что он умеет лечить, а я нет!

— Юрек! — вздохнула мать.

— Да! Да! Не умею!

— Что ты говоришь!

— Помните того сына мельника, который сломал ноги? Помните?.. Это я ему плохо составил кости. Да, неправильно. Я не справился с этим, а тот знахарь справился!

Отец положил ему руку на плечо.

— Успокойся, Юрек. Это несколько не умаляет твоего достоинства. Ты не хирург, а как терапевт не обязан разбираться... не в своей специальности.

Доктор Павлицкий рассмеялся.

— Разумеется! Разумеется! Я не хирург. Но тот знахарь, черт возьми, тоже не хирург. Он простой мужик! Обычный батрак у мельника! Но с меня хватит! Мне все равно! Я не позволю уморить меня голодом! Вот увидите! Увидите, что и я могу бороться! Он вышел, хлопнув дверью.

## Глава VIII

В местечке Радолишки, там, где узкая улочка, носящая имя Наполеона, встречается с площадью Независимости, стоит одноэтажный домик из красного кирпича, на первом этаже которого разместились четыре лавочки. Самой большой и привлекательной была угловая, принадлежащая пани Михалине Шкопковой. В лавочке можно было приобрести канцелярские товары, гербовые и почтовые марки, нитки, ленты, пуговицы, табак и папиросы.

Когда бы ни приходил Антоний Косиба в Радолишки, всегда покупал в лавочке пани Шкопковой табак, гильзы и спички, а также шелковые нитки.

Сама пани Шкопкова редко бывала в магазине, чаще всего по четвергам в торговые дни. У нее было четверо детей и большое хозяйство, требующее много времени. В магазине ее выручала молодая девушка, сирота, которая за жилье, стол и десять злотых в месяц преданно и добросовестно исполняла обязанности продавца.

Пани Шкопкова смогла оценить и другие достоинства девушки, а прежде всего то, что Марысю любили покупатели. Она всегда была вежлива, для каждого покупателя у нее находилось доброе слово и приветливая улыбка, а кроме того, Марыся была очень обаятельной девушкой.

Не один из солидных клиентов заходил в магазин пани Шкопковой специально для того, чтобы поговорить с Марысей, пошутить и пококетничать с ней. Провизор аптеки, гминный секретарь, племянник приходского ксендза, помещики из околицы, инженеры фабрики — ни один не упустил случая забежать за пачкой папирос или открыткой.

— А ты, Марыся, смотри, — говаривала пани Шкопкова. — Лишь бы на кого да на женатых не обращай внимания. Но, если надежный кавалер попадется, которому ты понравишься, проводи с ним мудрую политику. Так и до свадьбы может дойти.

Марыся смеялась.

— У меня еще есть время.

Времени в таких делах нам, женщинам, всегда мало. А тебе уже скоро, наверное, двадцать лет исполнится. Время уже! У меня в твои годы трехлетний сын был. Только лишь бы кем головы себе не забивай и высоко не зарывайся, потому что обожжешься. Это я тебе говорю!..

Например, тот панич на мотоцикле! Ездить-то он ездит, но жениться на тебе он, по-моему, не собирается. Знаю я таких! Знаю! Глаза закатывает, за ручку хватает, вздыхает, а потом... грешно! Не накличь на себя несчастья.

— Также скажете! — смеялась Марыся. — Мне даже в голову не пришло такое.

— Ну, ну! Его отец — хозяин имения и фабрики. Своего сына он женит на какой-нибудь графине. Запомни это.

— Конечно, я же понимаю. Почему вы говорите мне о нем? Уж если на кого из клиентов, — добавила шутя, — я и обращаю особое внимание, так это на старого знахаря с мельницы. И это было правдой. Марыся, действительно, любила Антония Косибу. Прежде всего ее интересовала его работа. В местечке о нем рассказывали чудеса: если рукой к кому прикоснется, даже к умирающему, тот выздоравливает. Одни говорили, что он дьяволу душу свою заложил, другие что от Богоматери Остробрамской такую силу получил. Еще рассказывали, что лечит знахарь бесплатно и даже знает такие травы, настоей которых достаточно выпить, чтобы полюбить того, кто подал питье.

Был он грустным, молчаливым и всегда смотрел на Марысю добрыми, ласковыми глазами. И держался он иначе, чем другие простые люди: не плевал на пол, не ругался, не перебирал товар. Он, как правило, приходил, снимал шапку, говорил, что ему нужно, платил и уходил, поблагодарив.

Так повторялось до одного из мартовских дней, когда внезапно полил дождь. Как раз в это время знахарь был в лавке, а дождь все усиливался.

Взглянув в окно, он спросил:

— Вы не позволите мне переждать здесь дождь?..

— Прошу вас, конечно. Садитесь, пожалуйста.

Она выбежала из-за прилавка и подвинула ему стул.

— Кто же вас на такой дождь отправит, — добавила она. — Вам же далеко. Сухой нитки не останется, пока дойдете до мельницы.

Он улыбнулся.

— Так вы знаете, что я с мельницы?

— Знаю. Вы знахарь. Здесь вас все знают. Но вы, наверное, не из этих мест: у вас другой акцент.

— Я издалека, из Королевства.

— Моя мама тоже из Королевства была.

— Пани Шкопкова?

— Нет, моя мама.

— Так вы не дочь хозяйки магазина?

— Нет. Я работаю здесь.

— А где мама?

— Умерла. Четыре года назад... от туберкулеза.

В глазах ее появились слезы, а потом она добавила:

— Если бы пан был тогда в наших краях, может, вылечил бы ее. Бедная мамочка. Не о такой судьбе для меня она мечтала. Но вы не подумайте, что я жалуюсь. Нет-нет! Пани Шкопкова очень хорошо ко мне относится. Но мне ничего и не нужно. Мне всего хватает... Разве что книг и... пианино.

— А ваш отец?

— Мой отец был лесничим в Одринецкой пуще у княгини Дубанцевой. Как там было красиво! Папа там умер. Я тогда была маленькой девочкой... Мы остались с мамой вдвоем. Бедная мама должна была тяжело работать. Зарабатывала на жизнь шитьем, давала уроки музыки. Вначале мы жили в Браславе, потом в Свентинах и наконец здесь, в Радолишках. Здесь мама умерла, и я осталась одна на всем белом свете. Меня взял к себе ксендз, а когда уезжал в другую парафию, заботиться обо мне попросил пани Шкопкову. Свет не без добрых людей. Но как все-таки тяжело, когда нет никого близкого.

Знахарь покачал головой.

— И я это знаю.

— У вас тоже нет никого из близких родственников?

— Да.

— Никого?

— Никого.

— Но вас, по крайней мере, любят люди, которых вы спасаете. Помогать близким и облегчать их страдания — какое это, должно быть, счастье. Тогда человек чувствует себя нужным, полезным. Вы только не смейтесь надо мной, но я с детства мечтала стать врачом. Если бы

мама была жива... Меня уже подготовили к экзамену в шестой класс, и я должна была ехать в Виленскую гимназию.

Она грустно улыбнулась, махнув рукой:

— А, что там говорить!

— Так вы образованны?..

— Хотелось бы, но сейчас уже поздно. Спасибо и за то, что Господь дал мне хотя бы хлеб.

На прилавке была разложена какая-то работа — салфетка с яркими цветами. Девушка взяла ее и начала вышивать.

— На платья и на разные безделушки я могу заработать вышиванием. Это для пани Германович из Пяскув.

— Вы красиво вышиваете.

— Это мама меня научила.

Они разговаривали еще около часа. Когда дождь прекратился, знахарь попрощался и ушел. Однако с того дня он все чаще стал заходить в лавочку пани Шкопковой и задерживался там, разговаривая с девушкой, все дольше. Он полюбил pannу Марысю. Ему доставляло большую радость просто смотреть на нее, на ее живое личико, на маленькие delicate руки, на светлые, гладко зачесанные волосы. У нее был чистый и звонкий голос. Ее большие голубые глаза искрились добротой и сердечностью. И он чувствовал, что она его тоже любит.

Работы на мельнице, как обычно, весной было мало. Началась весенняя страда. У людей не было времени болеть и лечиться. Наплыв пациентов ослабел. Теперь Антоний каждые два-три дня ходил в местечко. Он уже не просил, чтобы ему кто-нибудь сделал покупки, на что, конечно же, обратила внимание семья Прокопа Мельника.

— Что-то тебя тянет в Радолишки, — едко заметила Зоня.

— Что же еще может притягивать? — пошутил Василь. — Он там бабу нашел.

— Иди ты, умник, — нехотя проворчал Антоний.

Но в деревне скрыть ничего невозможно. И скоро все уже знали, что Антоний постоянно просиживает в лавке пани Шкопковой.

— Ну, так что ж, — пожал плечами Прокоп, когда Зоня рассказала ему об этом, — мужское дело. Шкопкова — баба что надо. Еще не старая и деньги у нее есть, купчиха. А ты чего нос суешь, куда тебя не просят?

Однажды на мельницу заглянул кочующий торговец. Он распаковал свои мешки, и все семейство, как зачарованное, рассматривало их содержимое. Чего там только не было! И тончайшее фабричное полотно, и разноцветные ситцы, и кожаные сумочки на городской манер, и браслеты, и разные бусы — целое богатство.

Женщины, задыхаясь от восторга, рассматривали все, примеряли и щупали, а еще яростно торговались. И торговля была тем труднее, что продавец брал не только деньгами, но и льном, шерстью, сушеными грибами или медом.

Антоний посматривал издалека. Однако, когда бабы успокоились, заглянул и он в узлы. Немного покопался в них и выбрал купон шелка на платье и серебряный широкий браслет, инкрустированный зелеными стеклышками. За это он должен был отдать много мотков льна и туго набитый мешок шерсти.

Зоня покрылась красными пятнами, наблюдая за этой сценой. Она не сомневалась, что это для нее. А Ольга была уверена, что Антоний купил все это для маленькой Наталки.

Однако обе они ошибались. Назавтра, около полудня, знахарь отправился в местечко со свертком под мышкой. Обе женщины увидели его в окно, и более вспыльчивая Зоня начала проклинать его.

— Для этой старой жабы, для этой коровы! Чтобы он ноги поломал!

Тем временем Антоний целый и невредимый добрался до местечка. Поскольку в лавочке была какая-то женщина, которую он увидел, заглянув в окно, ему пришлось подождать, пока она выйдет, и только после этого он вошел. Панна Марыся встретила его сердечно, как всегда.

— Замечательная погода, дядя! Тепло, как будто уже лето.

Она называла его дядей непонятно почему. Просто так пришло ей в голову. Другие молодые девушки в округе боялись Антония, но у нее не было никакого страха, скорее наоборот: Марыся верила в его доброту и искренне возмущалась, если кто-нибудь старался объяснить ей, что знахарь с мельницы служит дьяволу.

— Кто со злым духом связан, — говорила она. — тот обижает людей и живет нечестно. А о знахаре никто ничего плохого сказать не может.

Неизвестно, почему одно человеческое существо испытывает к другому внутреннюю симпатию и как она зарождается. Это приходит откуда-то извне. И Марыся не знала, почему она полюбила знахаря. Она радовалась, когда бы он ни пришел, а в тот день особенно, потому что у нее была к нему просьба.

— Как хорошо, что вы пришли, дядя Антоний, — говорила она, улыбаясь. Хочу вас попросить...

— О чем?

— Пообещайте, что вы выполните мою просьбу.

Он погладил бороду и заглянул ей в глаза.

— Все, что я смогу.

— О, как я вам благодарна! Здесь на Костельной улице живет одна старушка. Она очень бедна. В последнее время у нее так отекли ноги, что она совсем не может ходить. Она умоляла меня попросить вас зайти к ней и что-нибудь посоветовать.

— Хорошо, я пойду к ней, — улыбнулся он, — хотя по домам не хожу. Дар за дар.

— Но она очень бедная, — проговорила, смутившись, Марыся.

— Я не о ней говорю, — прервал он Марысю. — Но в награду вы должны доставить мне радость, приняв этот подарок.

Он положил на прилавок пакет.

— Что это? — удивленно спросила Марыся.

— Посмотрите. Это скромно, но, может быть, вам пригодится.

Марыся развернула пакет и покраснела.

— Материал... И браслет...

— Прошу вас, носите на здоровье и для украшения.

Она покачала головой.

— Я не могу принять это. Нет-нет! С какой стати?.. Зачем вы делаете мне такие подарки!

— Вы отказываетесь? — спросил он тихо.

— Но как же я могу взять у вас!.. И за что?

— Окажи милость, возьми. Платье и эта безделушка тебе пригодятся, а для меня будет большая радость, будто кусочек сердца тебе отдаю. Нельзя отказываться.

— Но это же, наверное, очень дорого!

— А, какое там, — махнул он рукой. — Вы же знаете, что мне ничего не надо, то есть... я так раньше думал, а оказалось, что и у меня есть свои капризы, желания... Вот подумал, что нужно иметь кого-нибудь на белом свете, какую-нибудь добрую душу, о которой когда вспомнишь, человеку легче жить становится. Старею я уже, а в старости приходит тоска по теплу.

Я искренне полюбил тебя. Возьми! Это скромный подарок, но от чистого сердца. Возьми! Ты сирота, и я одинокий, но мое одиночество страшнее, потому что я старый. Позволь мне хотя бы изредка делать для тебя что-нибудь хорошее.

Марыся была растрогана до слез. Она протянула к нему руки и крепко пожала его большие, натруженные ладони.

— Спасибо, большое спасибо, дядя Антоний. Я не заслужила этого, но спасибо.

Вечером, вернувшись домой, она показала пани Шкопковой полученные подарки.

— Какой он хороший. Кто я для него? Чужая девушка. Стыдно было взять, но я знала, что мой отказ причинил бы ему боль.

— Смотри-смотри, — покачала головой Шкопкова, — чтобы твое предсказание не сбылось.

— Какое предсказание?

— А что он на тебе женится. Марыся рассмеялась.

— О чем вы говорите! Видно, что вы не знаете его! Он же старый и ему такое и в голову не приходит. Хотя, — добавила она с убежденностью, — он намного лучше многих молодых.

И была она в своем убеждении совершенно искренней. Знала Марыся одного молодого парня, который ей очень нравился. Познакомилась она с ним тоже в лавочке, но уже давно, почти два года тому. Это был молодой Чинский, сын хозяина Людвикова. Целый год его не было дома: учился на инженера; но лето всегда проводил в Людвикове, откуда часто наезжал в Радолишки. Иногда он приезжал с родителями на машине или в шикарном экипаже и тогда только на

минутку забегал в лавку пани Шкопковой. Но когда заезжал в городок один на лошади или на мотоцикле, то уж просиживал в лавке часами.

Парень был энергичным, горячим и таким красавцем, какого Марыся в своей жизни еще не встречала: высокий, стройный, с черными как смоль волосами, загорелый, только глаза у него были голубые, а не то был бы похож на цыгана. Когда он приходил, то лавочка, казалось, наполнялась шумом, весельем, движением. Он шутил, напевал новые модные мелодии, показывал разные фокусы. Однажды даже вскочил на прилавок к ужасу шофера, который за ним зашел.

Но больше всего ей нравились его рассказы. Он был только на семь лет старше ее, но, Боже мой, чего только не видел, где только не посчастливилось ему побывать! объездил, наверно, всю Европу. Побывал в Америке и на разных экзотических островах. Ему было что рассказать, потому что из-за его любознательности с ним случались разные приключения, и истории о них сыпались как из рога изобилия.

Может быть, он и привирал, однако о его приключениях говорили во всей округе, и все знали, сколько хлопот доставлял пану Чинскому его сын. Однажды в Радолишках во время ярмарки он въехал на лошади в трактир, поругался с молодым Жарновским из Велишкова, а потом подрался с ним. В следующий раз он остановил поезд в поле, разложив большой костер на путях. Много разных анекдотов ходило о нем в округе. Однако не было среди них таких, которые бы заставляли думать о нем плохо.

Разве что сплетни о его любовных похождениях. Говорили, что он ни одной юбки не пропустит, с каждой флиртует и что уже не одна девушка из-за него глаза выплакала.

Марыся, однако, не верила этим сплетням по двум причинам: во-первых, не хотела верить, а во-вторых, ее наблюдения говорили об обратном. Пан Лешек не обращал на женщин внимания, и она сама это заметила. Когда он засиживался в магазине, все местные красавицы туда шли одна за другой. Как только какая-нибудь увидит возле магазина его лошадь или мотоцикл, как шальная бежит домой, наряжается в самое красивое платье, подкручивает волосы, надевает свою лучшую шляпку и приходит в магазин будто за открытками или почтовой бумагой.

А Марыся только смеялась, потому что молодой Чинский даже не смотрел на них.

— Пан Лешек заманивает ко мне покупателей, — говорила ему Марыся, когда они снова оставались одни. — Пани Шкопкова должна быть вам благодарна.

— Если придет еще одна, покажу ей язык, — сердился пан Лешек.

И надо же было в следующую минуту появиться аптекарше! Разодета она была как на бал, а от ее духов в магазинчике стало трудно дышать. Чинский не показал ей язык, но сделал нечто худшее: начал демонстративно чихать. И чихал до тех пор, пока надушенная дама не вылетела из магазина, точно камень из рогатки, вне себя от гнева и возмущения.

С того момента она возненавидела Марысю и, когда бы ни встретила пани Шкопкову, заявляла, что не купит в ее магазине товара даже на ломаный грош, пока там будет эта отвратительная девица.

Пани Шкопкова пожалела о потере клиентки, отчитала Марысю, сама не зная за что — просто так, на всякий случай, — но не уволила ее.

Аптекарша молодостью похвастать не могла, но выглядела прекрасно. Однако пан Лешек и на более молодых не обращал внимания. В то время как с Марысей он был простым и веселым, по отношению к другим людям держался жестко и высокомерно. Как с равными, разговаривал только с состоятельными людьми из округи, на остальных же смотрел свысока. Он часто повторял, что его мать из графской фамилии, а отец из магнатов, сенаторов и что во всем воеводстве, кроме Радзивиллов и Тышкевичей, никто не имеет права задирать нос выше Чинских.

Однажды Марыся не выдержала и с иронией сказала ему:

— Очень забавно, когда такой молодой заносчивый пан интересуется бедной девушкой из лавки.

Он смутился и стал объяснять, что у него не было намерения оскорбить ее.

— Панна Марыся, не думайте, что я такой глупый сноб.

— Я так не думаю, — холодно ответила она. — Однако понимаю, какая разница существует между нами...

— Панна Марыся!

— ... И то внимание, какое вы проявляете ко мне, затрачивая свое драгоценное время на разговоры с глупенькой и бедной продавщицей из захолустья...

— Панна Марыся! Вы доведете меня до сумасшествия!

— У меня нет таких намерений. В мои обязанности входит быть вежливой с клиентами, поэтому прошу меня извинить, я должна подмести в магазине, а пыль может повредить вашему драгоценному здоровью, не говоря уж о костюме из Лондона.

— Что вы говорите? — вскочил он, побледнев.

— Да-да, я прошу вас.

— Панна Марыся!

— Еще что-нибудь завернуть для вас? — наклонилась с улыбкой Марыся.

Чинский изо всей силы хлестнул веткой по сапогу:

— Ах, так! Прощайте! Вы не скоро увидите меня!

— Счастливого пути...

— Проклятие! — крикнул он и выскочил из магазина.

Вскочив в седло, он с места пустил лошадь в галоп. Марыся видела в окно, как он, точно сумасшедший, промчался по площади.

Она села на стул и задумалась. Знала, что поступила правильно, что этого гордеца следовало проучить, но в то же время ей было жаль его.

— Не скоро его увижу... Возможно, никогда, — вздохнула она. — Тяжело, а может, так оно и лучше.

На следующий день, когда она пришла открывать магазин, у дверей ее уже ждал лесничий из Людвиково. Он принес письмо. В письме Чинский писал, что она испортила ему все каникулы, что он не ожидал от нее такого превратного истолкования его намерений и что она обидела его и оскорбила. Однако он тут же признавался, что и сам вел себя не очень вежливо и поэтому считает своим долгом извиниться.

«Для того, чтобы залить эти горькие воспоминания, — писал он в конце, — я еду в Вильно и буду так пить, чтобы меня черт побрал, как того пожелала пани».

— Будет ли ответ? — спросил лесничий.

Она заколебалась. Нет, зачем я буду писать ему? И вообще зачем это все?

— Ответа не будет. Только прошу передать пану, что я желаю ему всего самого хорошего.

Прошли три недели. Чинский не показывался. Марыся тосковала и даже гадала: приедет ли, зайдет ли в магазин? В конце третьей недели ей пришла телеграмма. Она глазам своим не верила: это была первая в жизни телеграмма, адресованная ей лично.

«Мир скучен. Жизнь ничего не стоит, как поживает аптекарша? Пани самая красивая девушка в Центральной Европе. Жаль. Лех».

Три дня спустя в Радолишках раздался треск мотоцикла, объявляя всему местечку, что молодой Чинский возвратился в родные места. Марыся едва успела подбежать к зеркалу и поправить волосы, как он уже был в магазине.

В сущности, ее обрадовал этот приезд, но она не подала виду: боялась, чтобы Чинский не подумал, будто ей нужна его дружба. Холодный прием снова разозлил его и испортил радость долгожданной встречи.

Обменявшись с Марысей несколькими ничего не значащими фразами, он сказал:

— Вы осуждаете мой снобизм, но у снобов есть одно достоинство: они умеют быть вежливыми даже тогда, когда им этого не хочется.

Ей захотелось сказать, что ему не нужно быть любезным, что своим возвращением и тем, что помнил о ней там, в Кринице, он доставил ей большую радость... Но вместо этого она процедила сквозь зубы:

— Я знаю, что ваша любезность носит именно такой характер.

Он посмотрел на нее пронзительным взглядом:

— О да! Вы правы!..

— Не сомневаюсь.

— Тем лучше.

— Удивительно только, зачем вы прилагаете столько усилий.

Чинский рассмеялся, как ей показалось, иронически.

— Вовсе нет. Это происходит автоматически. Видите ли, мое воспитание дало мне возможность довести до автоматизма правила приличия в общении с людьми...

Девушка опустила голову:

— Я в восторге.

Он резко отвернулся, и она не могла видеть его лицо, но была уверена, что в эти минуты оно выражало злобу.

Но Марысе хотелось мира и согласия. Она понимала, что должна сказать ему что-нибудь доброе, что судит о нем несправедливо и что он уже никогда не вернется, если сейчас не услышит от нее ласкового слова. Она понимала все это, однако не могла решиться на капитуляцию.

— Прощайте, — сказал он и, не ожидая ответа, быстро вышел.

Она не расплакалась только потому, что как раз в следующую минуту в магазин вошла покупательница.

Все это произошло в прошлом году. До конца каникул Лешек не показывался в Радолишках ни разу. Потом пришла долгая холодная зима, а за нею весна. О молодом Чинском, как всегда, сплетничали. До Марыси время от времени доходили разные слухи: вроде был на практике за границей, вроде собирался жениться на дочери барона из Познанского воеводства и ее родители якобы приезжали с визитом в Людвиково.

Эти новости Марыся воспринимала довольно спокойно. Она понимала, что никаких надежд по отношению к молодому Чинскому питать не может, но, несмотря на это, испытывала к нему какую-то непонятную жалость.

Зимой в Радолишки привезли кино. Показывали его в помещении пожарной, где, несмотря на пронизывающий холод, все три вечера от публики не было отбоя. Демонстрировались американские фильмы. Пани Шкопкова, хотя не раз слышала рассказы о заслуживающем порицания великосветском распутстве, которое показывали в кино, решила, наконец, это распутство увидеть собственными глазами и оценить степень его опасности. А поскольку она боялась, что многое не поймет, взяла с собой Марысю, учитывая ее образованность, а также то, что Марыся раньше уже была в кино.

Марысю еще ребенком, действительно, водили в кино в таких больших городках, как Браслав и Свентяны. Сейчас она пыталась вспомнить содержание фильмов. Один из них ей понравился особенно. В нем рассказывалась история молодой сельской девушки, на которую никто в округе не обращал внимания, считая ее бедной и забитой. Однако, когда она попала в центральный магазин большого города, где ежедневно проходят тысячи покупателей, с ней познакомился и полюбил ее известный богатый художник, который сумел оценить ее красоту, обаяние и другие достоинства.

«Конечно, — с грустью думала Марыся. — Возможно, в большом городе это может случиться, но, если бы она осталась в деревне, ее судьба была бы печальной».

Что же касается ее самой, то Марыся знала, что уже никогда не выберется отсюда. А здесь... кто может стать тем мужчиной, который полюбит ее и возьмет в жены?.. Она была в состоянии здраво рассуждать и даже не надеялась, что родители Лешка Чинского согласятся на их брак. Ему самому подобная мысль не приходила в голову, да и Марыся не стремилась стать женой этого пана, ведь она выносила из магазина покупки в карету его близким и знакомым. Смогут ли они потом принять ее как равную?

Со всем иначе она представляла свое будущее, будь пан Лешек простым чиновником, ремесленником, или даже сельским хозяином. О! Тогда все было бы иначе!

Она видела в нем верх мужской красоты. Ни на фотографиях киноактеров, ни на открытках она не видела более привлекательного парня. Ей нравилось в нем все, даже его высокомерие и самоуверенность, на которые можно было закрыть глаза: ведь будь он скромным рабочим человеком, определенно не задирал бы так высоко нос.

Наступила весна, и Марыся если и вспоминала о молодом Чинском, то не иначе как о прекрасном сказочном принце.

Образ этот, однако, занимал в ее воображении постоянное и незыблемое место, куда другим доступ был закрыт наглухо. В округе хватало молодых людей, которые обращали на Марысю внимание, не скрывая своих восторгов. Но она их просто не замечала.

Подошел жаркий, буйный июнь. Городок, окруженный колышущимся зеленым морем хлебов, сам напоминал букет из вершин могучих тополей, лип и берез, под которыми прилепились, точно скромные цветы, белые и красные домики, едва заметные из-за густо посаженных жасмина и сирени. Казалось, нет на свете более тихого и красивого уголка.

Солнце сверкало на безоблачном небе, с полей доносился нежный запах разнотравья; на сердце было легко и радостно.

В будние дни магазин закрывался после семи часов, и к концу дня в нем стояла нестерпимая жара. Высаженные недавно со стороны площади молодые деревца почти не давали тени. Стены нагревались так, что все табачные изделия на день приходилось выносить в подвал из опасения, как бы они не пересохли. Вечером, закрыв магазин и забежав домой, Марыся уходила к реке. Летом через эту речушку могла перейти вброд курица, не замочив своих перьев. Однако в двух местах — возле шоссе и за костелом — речушка образовывала два широких и довольно глубоких пруда. Возле шоссе купались мужчины, а за костелом — женщины, преимущественно молодые девушки.

После купания у Марыси еще оставалось достаточно времени, чтобы помочь пани Шкопковой по хозяйству потом почитать. Книги приходской библиотеки Марыся давно уже все прочла. Прочитала она также и книги из небольшой библиотеки местной школы. Иногда ей случалось взять повесть или томик стихов у кого-нибудь из немногочисленной интеллигенции, проживающей в местечке. Но книг ей постоянно не хватало. Много из прочитанного она уже знала почти наизусть, а две французские и одну немецкую книги читала чаще других, чтобы не забыть языки.

Французская — старенький потрепанный томик стихов Мюссе — принадлежала бывшему ксендзу. Как раз эти стихи она держала в руках, когда в магазин зашел старый и милый гость — знахарь с мельницы.

— Что ты читаешь? — спросил он.

— Это поэзия, удивительно прекрасная поэзия... Стихи. Но французские.

— Французские?..

— Да, дядя. Их написал Мюссе.

Знахарь повернул книгу к себе, наклонился над ней, и Марысе показалось, что он старается читать, даже губы его шевелились. Но через минуту он выпрямился.

Лицо его стало бледным, а глаза заволокло туманом.

— Что с тобой, дядя Антоний? — спросила удивленная и испуганная Марыся.

— Ничего, ничего... — он покачал головой и сжал виски руками.

— Сядь, дядя, — она выбежала из-за прилавка и подвинула знахарю стул, — сегодня нестерпимая жара: наверное, поэтому тебе стало плохо.

— Нет, не волнуйся, девочка. Все прошло.

— Слава Богу. А то я уж испугалась... А книгу послушай, пожалуйста. Какой красивый язык! Я думаю, что его прелесть особенно хорошо передается в стихах.

Она перевернула несколько страничек и начала читать. Но если бы хоть на мгновение Марыся оторвала глаза от книги, то тотчас же увидела бы, что с Антонием что-то происходит. А она читала для себя, упиваясь плавностью и звучностью строф, легкостью ритма и трогательным содержанием, чувствами поэта, плачущего над отчаянием двух сердец, неумолимо разделенных слепым капризом судьбы и охваченных слабющим светом мечты, которая стала их единственным утешением и смыслом существования.

Закончив читать, она подняла голову и увидела прикованные к ней, но в то же время отсутствующие глаза знахаря.

— Что с вами? — вскочила она.

И в это время Марыся услышала, как он повторил, повторил с абсолютной точностью последнюю строфу. Она не могла ошибиться, хотя он говорил хриплым шепотом, очень тихо. Пан... пан... — начала она, но Антоний с напряжением, словно пытаясь что-то вспомнить, пробормотал:

— Да... слепой каприз судьбы... Как дерево, вырванное с корнем... Что это... что это... Он встал и покачнулся.

— Боже правый! Дядя Антоний! Дядя! — воскликнула она.

— Темнеет в глазах, кружится голова, — ответил знахарь, тяжело дыша. Кажется, я схожу с ума... Что это за лошади там едут?.. Зачем я сюда пришел?.. За табаком... Скажи мне что-нибудь, прошу тебя... Говори со мной...

Марыся интуитивно почувствовала, что ему нужно. Она начала быстро говорить, что лошади идут из деревни, наверное, пани Германович приехала за покупками или оплатить панихиду по

мужу, что она каждый месяц оплачивает панихиду, что... Она говорила все, что приходило в голову и одновременно держала знахаря за его большие натруженные руки.

Он постепенно успокаивался, хотя все еще тяжело дышал. Марыся принесла ему стакан воды, и он его с жадностью осушил. Потом она спустилась в подвал за табаком и упаковала его, а поскольку время уже приближалось к семи, она решила, что не отпустит его одного.

— Посидите, пожалуйста, у меня еще немножко, пока закроется магазин, и я провожу вас, дядя. Хорошо?

— Зачем же, девочка, я сам пойду.

— Ну, а если мне хочется прогуляться?

Хорошо, — согласился он.

— А может быть вы закурите?.. Я сделаю.

— Закурю, — кивнул головой знахарь.

Когда они были уже на шоссе, к нему вернулись силы и душевное равновесие.

— Со мной случается такое. Наверное, что-то в мозгу. Уже давно, очень давно я не испытывал такого.

— Даст Бог, больше не повторится, — улыбнулась она приветливо. — Это, наверное, солнце.

— Нет, дорогая девочка! Это не от солнца.

— А тогда от чего же?

Он долго молчал и, наконец, тяжело вздохнув, ответил:

— Сам не знаю.

А через минуту добавил:

— Ты только не спрашивай меня об этом, потому что, как только начну думать, напрягать память, все может повториться снова.

— Хорошо, дядя Антоний. Мы будем говорить о чем-нибудь другом.

— Нет-нет, не надо, девочка. Возвращайся. Слишком большой кусок дороги для твоих маленьких ножек.

— Да что там, они совсем немаленькие. Но если вы хотите остаться один, то я вернусь.

Остановившись, он улыбнулся, осторожно привлек ее к себе и нежно поцеловал в лоб.

— Пусть Бог вознаградит тебя, девочка, — сказал тихо и пошел.

Марыся повернула в сторону городка. Неожиданный жест и поцелуй этого человека не были для нее чем-то неприятным, он не оскорбил ее, а, напротив, успокоил после недавних переживаний. Еще отчетливее она почувствовала, что в этом старом знахаре нашла существо с золотым и близким ей сердцем. Да она была уверена в том, что никто на свете не проявлял к ней столько доброты и милосердия, как он, и, случись с ней какое-нибудь несчастье, он один не откажет ей в помощи.

Но поняла она еще и то, что этот душевный и добрый человек сам нуждается в помощи, что на него обрушилось какое-то большое несчастье и в его душе происходит непонятная и таинственная борьба.

Приступ болезни, свидетелем которого она стала в магазине, подсказывал тысячи фантастических предположений. Если подходить серьезно, то ни одно из них не выдерживало критики. Но Марысе казалось, что Антоний Косиба, знахарь с мельницы, весьма загадочная и романтическая фигура. Она видела в нем то князя, скрывающего под сермягой свое достоинство, то несчастного, случайно или в порыве гнева совершившего преступление и в искупление своей вины обречшего себя на бедность, скитания и служение людям.

Нет, она не ошибалась, не могла ошибаться, потому что ясно слышала произнесенные им слова французского стихотворения. Простой мужик не смог бы их повторить. А ведь Антоний понимал и смысл стихотворения!.. Как же все это объяснить?..

«Предположим, — думала она, — что в своих скитаниях он добрался до Франции или Бельгии. Это вполне вероятно. Многие эмигрируют, а потом возвращаются».

Но такая постановка вопроса и разгадка тайны казались слишком прозаичными. Хотя если все произошло именно так, то откуда такое потрясение? Не скрывается ли тут трагедия?..

Несомненно, стихи напомнили о чем-то, пробудили в знахаре болезненные воспоминания.

«Это, должно быть, человек необычный», — уверенно отметила про себя Марыся.

И эта убежденность росла в ней тем сильнее, чем больше деталей, подтверждающих ее мысли, всплывало в памяти. А ведь жизнь этого человека на первый взгляд так похожа на жизнь других простых людей...

Она была уверена, что напала на след большой, волнующей тайны, и приняла решение раскрыть ее. Марыся еще не знала, каким образом она это сделает, но понимала, что не успокоится, пока не доберется до сути.

Тем временем, однако, произошли события, которые резко изменили направление ее мыслей и интересов.

## Глава IX

Ранним июньским утром на рыночной площади остановился большой синий автомобиль. В Радолишках каждый знал, что он принадлежит семье из Людвикова. Автомобиль подъехал к бакалейному магазину Мордки Рабиновича. Из окон лавочки пани Михалины Шкопковой хорошо было видно, как первым вышел старый пан Чинский, за ним пани Чинская и наконец их сын, пан Лешек.

Марыся отскочила от окна. Она успела лишь заметить, что молодой инженер еще больше похудел. На нем был светлый, пепельного цвета, костюм, в котором он выглядел еще стройнее, чем прежде.

Она была уверена, что через несколько минут двери откроются и он войдет. Марыся с удивлением отметила, что сердце ее бьется все сильнее, а лицо покрывается румянцем. «А ведь он может подумать, что это вызвано его появлением», — мелькнула у нее мысль.

Уже не однажды она представляла себе, как примет его. Однако сейчас, когда он находился совсем рядом, в голову не приходило ничего путного. Девушка чувствовала лишь одно: безумную радость от того, что Лешек вернулся.

Она села за прилавок и принялась за вышивание, тщетно пытаясь сосредоточиться. Ей очень хотелось, чтобы он застал ее за этим занятием.

— Лучше всего ничего не планировать, — решила она, — а держаться в соответствии с его поведением. А он может войти и попросить только пачку сигарет... Как обычный покупатель. Это было бы некрасиво с его стороны. Сама мысль об этом приводила Марысю в уныние, тем более что она начала понимать, что прошлой осенью вела себя по отношению к нему невежливо и несправедливо.

— Хоть бы ему понадобились сигареты, — подумала она. — Я должна быть приветливой.

Только бы скорее пришел...

Однако он не пришел совсем.

Спустя четверть часа она осторожно подошла к окну и увидела, что Чинские сели в автомобиль, который развернулся и поехал в сторону Людвикова.

— Уехал, — произнесла она вслух, и в первое мгновение ей стало нестерпимо больно и стыдно. Лишь вечером, лежа в постели, она начала все взвешивать и пришла к выводу, что еще не все потеряно. Наверное, он не зашел к ней из-за того, что спешили родители, а он не захотел привлекать их внимание к своему знакомству с ней, ведь это им бы вряд ли понравилось. И с этими мыслями она спокойно уснула.

На следующее утро ее взбудоражил знакомый треск мотоцикла. Но, к удивлению Марыси, мотоцикл пересек площадь, промелькнул в окнах и помчался дальше.

— Может, он еще вернется? — подумала она, хотя знала, что заблуждается.

Стало совершенно ясно, что Лешек забыл ее и не желает больше ее видеть.

— Значит, так... — сказала она себе. — Вот и хорошо...

Но ничего хорошего не было. Вышивать она не могла: дрожали руки. Несколько раз она наколола себе пальцы. В голову лезла всякая дрянь: если поехал по тракту, значит, к Зеновичам. Это очень богатые люди, и у них две дочери-невесты. Одну из них уже давно прочили в жены молодому Чинскому. Но в таком случае сколько же правды было в слухах о дочери барона из Великой Польши?..

— Хотя, — думала она с горечью, — какая мне разница? Пусть женится на ком хочет. Я желаю ему найти самую подходящую и самую красивую жену. Но все же отвратительно с его стороны, что он не зашел хотя бы на несколько минут. Я же его не съем, и мне от него ничего не надо.

Чинский возвращался около семи вечера. Двери магазина были открыты, и Марыся стояла на крыльце.

Он промчался рядом, даже не повернув головы, даже не посмотрев в ее сторону.

— Может, это и лучше, — успокаивала себя Марыся. — Пани Шкопкова права, что я не должна интересоваться им.

В тот же вечер начальник местной почты, пан Собек, был приятно удивлен: он встретил возвращающуюся домой панну Марысю, и, когда предложил ей прогуляться с ним до Трех грушек, она согласилась, не задумываясь. В этом не было бы ничего необычного, если бы речь шла о какой-нибудь девушке из Радолишек. Собек относился к той категории мужчин, которые пользуются успехом у прекрасного пола: молодой, интересный, на государственной работе и с перспективной карьерой. Все знали, что его дядя в окружной администрации был важной фигурой. Кроме того, Собек мастерски играл на мандолине, прекрасной, инкрустированной перламутром, с которой, кроме службы, никогда не расставался.

И мандолина, и достоинства пана Собека, притягивали почти всех молодых девушек. Но было одно неприятное для пана Собека исключение: Марыся по отношению к нему была неизменно вежлива, однако никогда не выражала желания познакомиться с ним поближе, постоянно отказывалась пойти с ним на каток, на прогулку или на вечер.

Если бы пан Собек был человеком с амбицией, то он давно перестал бы разговаривать с Марысей. Но он был добродушным парнем, без капризов, выдержанным, а поскольку отличался постоянством пристрастий, то время от времени повторял свои предложения.

И именно в тот день убедился, что выбрал разумную тактику.

Они шли рядом по хорошо знакомой всем молодым и старым жителям Радолишек дороге к Трем грушкам. Эту дорогу аптекарша язвительно называла Коровьим бульваром, потому что по ней гнали на пастбище коров.

Из окон приходского помещения ксендз видел эту дорогу как на ладони и мог с определенной точностью определить, сколько в следующем году будет оформлено браков и чьих. Достаточно было убедиться, что тот или другой молодой человек все чаще приходит на бульвар с одной и той же панной. В народе это означало, что он с ней ходит, а значит, может состояться свадьба.

Пан Собек думал только о панне Марысе, о том, что она бедна, но более образованна, отличается от других своими манерами и, конечно, красотой и что такой жены не постыдился бы и государственный чиновник самого высокого ранга. Мысли свои он сопровождал тихим брэнчанием на инструменте мелодии модного танго: «Полюбишь ли меня когда-нибудь, Лолита, из всех женщин избранная женщина».

Панна Марыся поняла тонкий намек танго и догадалась о намерениях виртуоза. Она была благодарна ему за выбор, но, к сожалению, не могла разделить настроение своего партнера. Она умышленно пошла на прогулку с паном Собеком, чтобы отвлечься, чтобы убедить себя, что кроме пана Лешека существуют на свете и другие парни. Она уговаривала себя, что Собек добрый человек и она не должна отталкивать его, что он был бы подходящим для нее мужем. Он не пил, не скандалил, не «летал» на мотоцикле, а главное отличался исключительным постоянством, чего не скажешь о других. Что из того, что он не интеллигент, что у него простые манеры. Это еще ни о чем не говорит...

Однако ни эти аргументы, ни прогулка под луной, ни романтическое настроение, скрашенное музыкой и беседой, не дали никаких результатов. Марыся вернулась домой разочарованной, грустной и решила больше никогда ни с паном Собеком, ни с кем другим к Трем грушкам не ходить.

Ночью ей снился страшный сон: она видела себя и молодого Чинского. Они мчались на мотоцикле с огромной скоростью, спасаясь от пожара, который настигал их. Вдруг перед ними открылась пропасть, и они свалились вниз на каменистое дно... И было много крови, а он сказал: «Из-за тебя умираю».

Она почувствовала, что тоже умирает, и стала звать на помощь.

Когда она открыла глаза и окончательно проснулась, то увидела склонившуюся над ней пани Шкопкову.

— Сон — мечта! Бог — вера! — говорила она. — Что тебе снилось? Ты так кричала...

В первую минуту Марыся хотела рассказать, что ей привиделось, но, вспомнив, что пани Шкопкова умеет толковать сны, предпочла промолчать. Возможно, сон означал что-нибудь неблагоприятное для пана Чинского, которого пани Шкопкова и так не любила, даже готова была при случае бросить ему пару колких слов.

— Я кричала?.. Сама не знаю почему, — ответила Марыся. — Может, и снилось что. Сны так легко забываются.

Марыся, однако, не забыла. На следующее утро, когда увидела лошадей из Людвикова и пана Леха на бричке, аж вздрогнула. Она была уверена, что на этот раз он зайдет.

Но она снова ошиблась. За сигаретами он прислал конюха!

Вероятно, он упорно избегал встречи с ней. Дальнейший ход событий подтвердил это со всей определенностью. Не было дня, чтобы пан Лешек не приезжал в местечко или не проезжал через него. Иногда в бричке, иногда верхом, а чаще всего на мотоцикле. В прошлом году он никогда так часто не появлялся здесь. Сейчас, наверное, делал это назло Марысе, а может, по какой другой причине, которую Марыся не могла разгадать. Когда он проезжал мимо без мотоциклетных очков, Марыся увидела, что лицо его похудело, вытянулось и приобрело угрюмое выражение.

— Возможно, с ним произошло что-нибудь неприятное? — забеспокоилась она и тотчас отругала себя за неуместное беспокойство: — По какому праву и зачем я об этом переживаю? В конце концов, ею овладела апатия. Она уже не вскакивала при звуке мотора или цоканья копыт и старалась вообще ничего этого не слышать.

И когда были потеряны остатки надежды, произошло вот что.

Двадцать четвертого июня с утра в магазине было много народу, как всегда в день именин ксендза: все покупали поздравительные письма школьники, дети из приюта и другие. Только около девяти часов покупатели разошлись и у нее появилось время спуститься в подвал за табачными изделиями, чтобы хоть несколько пачек положить в витрину. Она взяла их в подол халатика и по крутой лесенке поднялась наверх. Повернулась — и сердце, казалось, остановилось: в двух шагах от нее стоял Лешек.

Она не помнила, вскрикнула ли, уронила ли на пол пачки сигарет. Марыся почувствовала, как Вселенная обрушилась на нее и вращается с невообразимой скоростью, увлекая ее за собой. Наверное, она упала бы, не держи ее Лешек в своих объятиях.

Сколько раз потом она пыталась минута за минутой, мгновение за мгновением воскресить в памяти то удивительное, поглотившее ее состояние, и не могла. Помнила только пронзительный, как бы гневный взгляд его черных глаз, а потом почти мучительные объятия и беспорядочный поток слов, которые будоражили ее и пьянили, хотя смысла их она в тот момент не улавливала.

Кто-то вошел в магазин, и они отскочили друг от друга, так и не успев справиться со своими чувствами.

Покупатель, наверное, подумал, что она угорела и потеряла всякую ориентацию, потому что Марыся долго не могла понять, что ему нужно. Наконец, клиент вышел с пакетом под мышкой, и тогда она рассмеялась:

— Совсем одурела! Что я давала ему вместо канцелярской бумаги! Боже! Посмотрите!

Она показывала разложенные на прилавке товары и смеялась, смеялась, не в силах сдержать радостный смех. Что-то в ней трепетало, возвращалось к жизни, новое, прекрасное, светлое, окрыленное, как большая белая птица.

Чинский стоял неподвижно, с восторгом всматриваясь в нее. Когда-то в телеграмме он написал, что считает ее самой красивой девушкой... Но сейчас она была такой красивой, какой он ее еще никогда не видел.

— Хороши же вы! — говорила она. — Столько раз приезжать и ни разу не зайти ко мне!

Я думала, что вы обиделись.

— Обиделся? Но вы шутите! Я ненавижу вас!

— За что?

— За то, что не мог забыть вас, панна Марыся. За то, что ни отдыхать, ни работать не мог.

— И поэтому, проезжая возле магазина, отворачивались в другую сторону?

— Да! Именно поэтому. Я знал, что не нравлюсь вам, что вы пренебрегаете мною... Ни одна женщина еще не поступила так. Поэтому я дал себе слово, что никогда больше не встречусь с вами.

— В таком случае вы совершили два нехороших поступка: сначала дав слово, а потом не сдержав.

Чинский покачал головой.

— Панна Марыся, вы бы не осуждали меня, если бы знали, что такое тоска.

— Почему это? — возмутилась она. — Почему я не могу знать, что такое тоска? Возможно, с этим я знакома больше вас.

— Нет! — махнул он рукой. — Это невозможно. У вас нет ни малейшего представления об этом чувстве. Можете ли вы себе представить, что иногда мне казалось, будто я схожу с ума?.. Да! Схожу с ума!.. Вы не верите мне? Тогда взгляните.

Он достал из кармана тонкую розовую книжечку.

— Вы знаете, что это?

— Нет.

— Это билет на корабль в Бразилию. За 15 минут до отплытия я забрал свои вещи с судна и вместо Бразилии приехал в Людвиково. Не смог, просто не смог! А дальше началась пытка! Я старался сдержать данное себе слово, но не смог не приехать в Радолишки. Я не имел права искать встречи с вами, но она могла произойти случайно. Правда?.. Тогда я не нарушил бы слова.

Марыся вдруг стала серьезной.

— Я думаю, что вы поступили плохо, очень плохо, не сдержав данного себе обещания.

— Почему? — возмутился он.

— Потому что... вы были правы, не желая больше видеть меня.

— Я был идиотом! — воскликнул он.

— Нет, вы были благоразумны. Для нас обоих... Ведь это не имеет никакого смысла.

— Ах, вот как? Вы действительно презираете меня настолько, что даже не хотите видеть?

Она посмотрела ему прямо в глаза.

— Нет-нет! Я буду совершенно искренней. Я тоже тосковала, очень тосковала без вас...

— Марышенька! — он протянул к ней руки. Она покачала головой.

— Сейчас... сейчас я скажу все. Подождите, пожалуйста. Я очень тосковала. Мне было очень плохо... Так плохо. Даже... плакала.

— Моя единственная! Сокровище мое!

— Но, — продолжала она, — я поняла, что быстрее забуду вас, если мы не будем видеться.

К чему может привести наше знакомство?.. Вы же достаточно благоразумны, чтобы понимать все лучше меня.

— Нет, — прервал он. — Я, действительно, все понимаю и утверждаю, что у вас нет оснований так думать, панна Марыся. Я люблю вас. Вы, наверное, не можете понять, что такое любовь, но вы любите меня. Было бы безумием и дальше обрекать себя на разлуку. Вы говорите о цели!

А разве это не прекрасная или недостаточно обоснованная и значительная цель — наши встречи, беседы, дружба? Что вам мешает видеться со мной... Прошу вас, послушайте!..

Она внимательно слушала и не могла отрицать справедливости его слов. К тому же она сама хотела, чтобы он ее убедил, а он умел быть красноречивым.

Собственно, она не могла запретить ему бывать в магазине, куда имел право зайти любой человек.

С того дня пан Лех Чинский приезжал ежедневно, и его верховая лошадь или мотоцикл, стоящий возле магазина пани Шкопковой, порождали бурю слухов и разговоров, многочисленные комментарии и зависть, которая естественным путем переродилась в то, что называется общественным осуждением.

Правда, поводов для этого ни у кого не было. Пребывание молодого инженера в магазине, дверь которого всегда и для каждого была открыта, не могло вызывать подозрений,

компрометирующих панну Мырысю. Однако зависть человеческая не считается с действительностью. Почти каждая девушка в Радолишках могла похвастаться наличием у нее обожателя, но ни один из них не мог сравниться с молодым Чинским. И почему этот красивый

брюнет выбрал такую безродную девушку, как Марыся из магазина пани Шкопковой, трудно было понять. Если уж ему так хотелось найти для себя общество среди городских панн, то он мог бы найти девушку и красивее, и богаче. Родители таких более подходящих невест, понятно, разделяли негодование своих дочерей, как и те молодые люди, которые ходили с ними к Трем грушкам. И это мнение разделяли все обыватели городка.

Если Марыся, несмотря на свою врожденную чуткость, не сразу заметила перемену в отношении к ней, то только потому, что была полностью поглощена собственными переживаниями. А переживания эти были такими новыми и пьянящими, что окружающий мир расплывался в тумане, казался чем-то нереальным, случайным и незначительным.

В Марысе проснулась любовь. С каждым днем она понимала это все отчетливее и глубже. Напрасно старалась она бороться с этим чувством. А впрочем, не напрасно, потому что именно благодаря этой борьбе, благодаря необходимости подчиниться силе чувства, усиливалось ощущение того удивительного, волнующего блаженства, того роскошного опьянения, которое окутывало, оглушало и обволакивало со всех сторон невидимой прозрачной пеленой...

— Люблю, люблю, люблю, — повторяла она по тысяче раз в день.

И было в этом и удивление, и радость, и страх, и счастье, и изумление от такого большого открытия в собственной душе, которая до сего времени не ведала, какое бесценное сокровище носит в себе.

Все это изумляло еще и потому, что, в сущности, не происходило ничего нового. Если бы кто-нибудь захотел подслушать разговор двоих молодых людей в магазине пани Шкопковой, то его постигло бы разочарование. Чинский приезжал, целовал Марысе руку, а потом рассказывал ей о своих путешествиях и приключениях. А еще они читали книги, которые он привозил теперь постоянно. Это были, преимущественно, стихи. Иногда Марыся рассказывала о своем детстве, о матери, о неосуществившихся планах. Изменилось лишь то, что теперь она называла его пан Лешек, а он ее просто Марыся; разумеется, когда их никто не слышал.

Могло бы быть, пожалуй, и больше изменений, если бы Марыся согласилась. Пан Лешек не раз пытался ее поцеловать, однако она всегда протестовала с такой категоричностью и страхом, что ему ничего не оставалось, как проявлять терпение.

Потом он уезжал, и весь остаток дня она думала только о проведенных часах и о том, что завтра он приедет снова.

После закрытия магазина она возвращалась домой сосредоточенная и погруженная в созерцание своего счастья, наполненная доброжелательностью к этим маленьким домикам, зеленым деревьям, голубому небу, ко всему миру, к людям, которых приветствовала искренней улыбкой.

Именно поэтому она не видела их недружелюбных взглядов, пренебрежительных мин, враждебности и насмешки. Не все, однако, ограничивались немой демонстрацией неприязни и осуждения. И вот однажды произошел случай, повлекший за собой очень неприятные последствия.

В Радолишках уже много лет проживала известная на всю округу семья шорников Войдылов. Они происходили из мелкопоместной шляхты, и одно это было достаточным основанием, чтобы в городке к ним относились с уважением, а еще они славились в нескольких поколениях, как лучшие шорники. Седла, лейцы или упряжь Войдыл из Радолишек пользовались огромным спросом, хотя порой стоили дороже, чем такой же товар из Вильно. Главой этой зажиточной и уважаемой семьи был Панкратий Войдыло. Его наследниками в мастерской должны были стать сыновья, Юзеф и Каликст, третьего же сына, Зенона, как домочадцы, так и горожане считали неудачником.

Отец готовил его к карьере ксендза. С трудом протолкнул ленивого мальчишку через шесть классов гимназии и определил в духовную семинарию. Однако все труды и расходы были сведены на нет. Напрасно радовалось сердце старика отца, когда сын, к удивлению городка, приехал в сутане как семинарист. Не прошло и года, как Зенона исключили из семинарии. Правда, сам Зенон рассказывал, будто ушел добровольно, не имея призвания, но люди говорили, что причиной его исключения стали водка и женщины. Истинность этих слухов позднее подтвердил своим поведением сам экс-семинарист. Он чаще просиживал в пивной, чем в костеле, а каких женщин навещал на улице Крамной, лучше и не вспоминать.

Зная латынь, он еще мог пригодиться для работы в аптеке. Так, по крайней мере, думал отец, но и здесь он ошибался. Зенон очень быстро бросил работу в аптеке. И об этом ходили разные легенды, проверить которые не удалось, потому что аптекарь из Радолишек, пан Немира, не относился к словоохотливым и к тому же дружил с отцом беспутного шалопаю.

И вот однажды, проходя мимо магазина пани Шкопковой в компании нескольких парней в тот момент, когда Марыся закрывала магазин, Зенон остановился и притворно любезным тоном обратился к ней:

— Добрый вечер, панна Марыся! Что слышно хорошего?

— Добрый вечер, — ответила она с улыбкой. — Спасибо.

— И всегда у вас, панна Марыся, неудобства.

— Какие неудобства? — удивленно спросила она.

— Но как же! Пани Шкопкова вроде сообразительная женщина, а о такой вещи не подумает, — сочувственно говорил он.

— О какой вещи?

— А о диване.

— О диване?

— Конечно, о диване. Так прилавок же в магазине узкий и жесткий. Вдвоем, значит, с паном Чинским тяжело разместиться. Компания взорвалась громким хохотом. Марьяся ничего не понимала, но, почувствовав какую-то подлость, пожала плечами.

— Не знаю, о чем вы говорите...

— О чем я говорю, не знает благонравная Зузанна, — обратился Зенон к приятелям. — Но знает, как это делается.

Ответом был новый взрыв смеха.

Марьяся, вся дрожа, вынула ключ из замка, спустилась по ступенькам и почти бегом бросилась домой. У нее подгибались ноги, в голове звенело, сердце выскакивало из груди.

Еще никто и никогда не оскорблял ее так грубо и низко. Она никому не принесла зла, никому не сказала плохого слова, даже не подумала плохо. И вдруг...

Она чувствовала себя так, будто на нее вылили ведро помоев. Убегая, она слышала грубые окрики, смех и свист.

— Боже, Боже... — шептала она дрожащими губами. — Как это страшно, как гадко...

Она старалась взять себя в руки, сдерживать рыдания, рвущиеся из груди, и не смогла. Добежав до забора приходского сада, Марьяся разрыдалась.

Улочка за огородами почти всегда была пустынной. Однако как раз в это время начальник почты в Радолишках, пан Собек, отправился к садовнику ксендза за клубникой. Увидев плачущую панну Марьясю, он вначале удивился, потом расстроился и решил утешить ее.

Он догадался, что может быть причиной ее слез, ведь видел, как молодой Чинский ежедневно навещал ее в магазине.

«Морочил девушке голову, влюбил в себя, а сейчас бросил», — родилась мысль в голове пана Собека.

Он прикоснулся к локтю Марьясы и заговорил.

— Не стоит плакать, панна Марьяся. От чистого сердца говорю, не стоит. Пройдет время, и рана заживет. Пожалейте свои глазки. Вы достойны в тысячу раз лучшего, чем он. Так пусть он волнуется и переживает. Он оскорбил вас, и Бог его за это покарает. На свете ничто не исчезает, ничто не проходит бесследно. Такой уж закон. Ничто не пропадает. Это как с граблями.

Наступишь на зубья, кажется граблям плохо сделал, а тем временем не успеешь оглянуться, как они тебя в лоб... Такой закон. Ну, не надо плакать, панна Марьяся...

Ее рыдания и беспомощность своих утешений расстроили его самого. Пан Собек готов был расплакаться сам. Он тихонько касался ее локтей, вздрагивающих от волнения.

— Успокойтесь, панна Марьяся, успокойтесь, — говорил он. — Не нужно, не стоит плакать. Обманул вас... обманул. Плохой человек. Совести у него нет.

— Но за что, за что!.. — плакала Марьяся. — Не любила я его действительно... никогда... Но ничего плохого я ему не сделала.

Собек задумался.

— О ком вы говорите?

— О нем, о Войдыле...

— О старом? — удивился он.

— Нет, об этом... бывшем семинаристе.

— Зенон?.. А как же он вас обидел?

— Осыпал меня ужасными оскорблениями... При людях! Какой стыд!.. Какой стыд!.. Как я буду теперь в глаза людям смотреть!

Она всплеснула руками.

Собек почувствовал, как кровь прилила к лицу. Пока он думал, что пан Чинский обидел Марьясю, то невольно принимал это со смирением, как действие высших сил, которым невозможно противостоять. Однако, узнав, что речь идет о Зеноне, он рассвирепел.

— Что же он вам сказал? — спросил пан Собек, пытаясь успокоиться.

Если бы Марьяся не была так расстроена и взволнована, она никогда бы не разоткровенничалась. Будь у нее время подумать, она ни за что не рассказала бы о

происшествия пану Собеку, человеку чужому. Но в эти минуты ей так хотелось, чтобы хоть кто-нибудь посочувствовал ей, что она все рассказала срывающимся от волнения голосом. Слушая ее, Собек успокоился и даже рассмеялся.

— Что же вы на такого дурака обращаете внимание? Что он говорит, что собака лает, — все равно. Незачем волноваться.

— Легко вам так говорить...

— Легко не легко, это — другое дело, а Зенона даже в расчет принимать нельзя. Что он для вас?.. Плоньте и только...

— Если бы так, — она вытерла слезы. — Но ведь люди слышали, сейчас все разнесется по городку. Куда я глаза спрячу?

— Ой, панна Марыся, а зачем же вам глаза прятать? У вас совесть чиста, а это главное.

— Не каждый в это поверит.

— Кто сам чистый, порядочный, тот поверит, а злой и в костеле грязь найдет, но на них не стоит обращать внимание. Вот видите — он показал корзинку — к садовнику иду за клубникой. Не пройдется ли со мной? Хорошая клубника, очень крупная и сладкая.

Она улыбнулась.

— Спасибо, я тороплюсь домой... До свидания.

— До свидания, панна Марыся. Волноваться незачем.

Задержавшись на минуту, она сказала:

— Вы так добры ко мне. Я никогда этого не забуду.

Собек махнул рукой.

— Какая там доброта. Не о чем говорить. До свидания.

Напевая под нос мелодию танго, он пошел в сад. Там он насобирал клубники, поторговался, заплатил и вернулся домой. Он очень любил клубнику. Высыпав ее в две глубокие тарелки, истолок в ступке сахар, густо посыпал им ягоды, перемешал и поставил, чтобы пустили сок. Он любил все делать методично.

Тем временем уже вскипела вода для чая. Собек вынул из шкафа хлеб, масло. Это был его субботний ужин, а в качестве десерта ожидала тарелка сочной, ароматной клубники. Вторую тарелку он оставил на завтрашний обед.

Вымыв посуду, он вытер ее, поставил на место, снял со стены свою любимую мандолину и вышел.

Летом в субботние вечера вся молодежь была на улицах, главным образом, на Коровьем бульваре. Пан Собек все время встречал знакомых. С одними останавливался, разговаривал, шутил, с другими только раскланивался издали. Прошел Виленскую, улицу Наполеона, подошел к Трем грушками и возвратился. Девушки старались завлечь его в свою компанию: всегда приятно послушать музыку. Он, однако, отказывался и гулял один, время от времени касаясь струн своей мандолины.

Проходя по улице Ошмянской, на крыльце у Лейзера, Собек увидел несколько парней, сидящих за столиками.

— Эй, — позвал один из них, — пан Собек, иди сюда, сыграй что-нибудь.

— Как-то нет желания, — отмахнулся тот.

— Что там желание, — отозвался другой. — Садись с нами, тогда и желание появится.

— А с вами я не сяду, — ответил Собек.

— Почему это?

— Потому что среди вас хам, а с хамами я не связываюсь.

Воцарилось молчание. Потом кто-то еще спросил:

— Кого это ты имеешь в виду, скажи-ка?

— Я не имею его в виду, — спокойно ответил Собек. — Я его презираю. А если интересуетесь, пан Войдыло, о ком говорю, то как раз о вас.

— Обо мне?

— Да, о вас, пан экс-семинарист! Я считаю вас хамом и в одной компании с вами быть не хочу.

— За что это ты человека оскорбляешь, пан Собек?

— Не человека, а быдло. Хуже быдла, подонка и хама.

— Ты что, пьян?! — спросил Зенон.

— Пьяный?.. Нет, пан Войдыло, я непьющий. Совершенно трезвый. Я, в отличие от пана, в канавах не ночую, на молодых девушек не нападаю. Только пьяная свинья, извините, может невинную и незащищенную девушку на улице осыпать непристойными словами. Вот так. Он взял несколько тактов вальса из «Осенних вариаций».

— Это он о той Марыське, что у Шкопковой работает, — заметил кто-то.

— Именно о ней, — подтвердил Собек. — О ней, на которую такие подонки, как уважаемый пан Войдыло...

— Заткнись! — крикнул Войдыло. — Хватит с меня.

— Пану хватит, а мне мало...

— Смотри за своим носом!

— И пан мог бы посмотреть за своим, только темно Издали не видно. Но ко мне ты не спустишься, потому что боишься.

Зенон рассмеялся.

— Придурок, чего это я должен бояться?

— Боишься получить по морде!..

— Прекратите, не стоит, — кто-то спокойно посоветовал с крыльца.

— Правда, не стоит руки пачкать, — спокойным тоном согласился Собек.

— Сам получишь по морде! — заорал Зенон.

И не успела компания удержать его, как он уже был внизу. В темноте все перемешалось.

Раздалось несколько глухих ударов, а потом треск: прекрасная мандолина пана Собека разлетелась вдребезги от соприкосновения с головой экс-семинариста. Противники свалились на землю и покатались под забор.

— Отпусти, — слышался сдавленный голос Зенона.

— Получай, негодяй, получай, чтобы помнил! — слова Собека сопровождались глухими ударами.

— Нарвался на меня, так знай!.. Будешь трогать девушек?! Что?

— Не буду!

— Получай еще, чтобы запомнил!

— Клянусь, не буду!

— А еще получай, чтобы клятву помнил тоже! И еще! И еще!

— Братцы, спасайте! — заскулил Зенон.

Вокруг собралось несколько человек, увлеченных дракой. Однако никто не бросился на помощь. Собек пользовался всеобщим уважением, и даже те, кто не знал, из-за чего началась драка, допускали, что справедливость на его стороне, тем более что противником был всем известный дебошир. Дружки Зенона тоже не торопились выручать приятеля. В глубине души они с самого начала были на стороне Собека, ведь драку начал Зенон.

— Мужики! — крикнул кто-то из толпы. — Хватит! Прекратите!

— Перестаньте! — добавил другой.

Собек встал с земли. Из дому выбежал Лейзер с керосиновой лампой в руке. При свете можно было рассмотреть внешний вид Зенона: порванный костюм, под глазами синяки, кровоточащий нос. Пошевелив во рту языком, он выплюнул несколько зубов.

Собек отряхнул костюм, поднял с земли гриф со струнами, на которых жалобно подрагивали остатки мандолины, крикнул и, ничего не сказав, ушел.

Другие тоже стали в молчании расходиться. На следующий день Радолишки напоминали встревоженный улей. На площади перед костелом ни о чем другом не говорили. Все уже знали причины драки и ее результат. Общественное мнение высказывалось в пользу Собека, и народ радовался, что хоть кто-то, наконец, усмирил Зенона. Но в то же время осуждали Марысю. Во-первых, потому что драка произошла из-за нее, а во-вторых, частые посещения магазина молодым паном Чинским так или иначе свидетельствовали о безнравственности молодой девушки.

Кроме того, просто не подобало, чтобы из-за какой-то приبلуды, девицы из магазина, дрались в общественном месте представители городского общества — чиновник и сын из богатой и уважаемой семьи.

Все интересовались, как отреагирует на инцидент семья Войдыло. Об этом заводили разговор даже с братьями Зенона, но те только плечами пожимали:

— Это не наше дело. Отец вернется, сам во всем разберется.

Старика, действительно, не было в Радолишках. Он уехал закупать товары к виленским кожевникам.

О драке Марыся узнала ранним утром. Прибежали две соседки и обо всем подробно рассказали. Насколько была удовлетворена посрамлением Зенона пани Шкопкова, считавшая это Божьей карой за то, что тот бросил учебу в семинарии, настолько Марыся была раздосадована. Она корила себя за излишнюю откровенность. Зачем она пожаловалась этому благородному пану Собеку! Втравила его в такие неприятности! Бог знает, к чему это приведет. Старый Войдыло не простит, что побили его сына, наверное, подаст в суд, напишет жалобу в администрацию почты. За свое благородство пан Собек рискует заплатить потерей места...

Несомненно, она была благодарна ему, но в то же время жалела его. Он защитил ее, подверг себя опасности, добровольно стал жертвой омерзительных сплетен, в которых теперь долго будут трепать его доброе имя. Из-за этого он стал ее, Марыси, кредитором. Пусть даже он никогда не напомнит ей о случившемся, но каждый его взгляд будет говорить: — Я защитил твою честь, достоинство и доброе имя, не причитается ли мне за это какое-нибудь вознаграждение?

Был в этом деле и еще один минус. Марыся хорошо понимала, что становится предметом обсуждения злых языков и они непременно отравят ей жизнь.

Она не лгала, ссылаясь на головную боль и отказываясь от посещения поздней обедни, она, действительно, чувствовала себя больной, подавленной и несчастной. За всю неделю она ни разу не вышла из дому: плакала и размышляла, что же теперь будет. Если бы только она могла убежать отсюда, уехать как можно дальше, хотя бы в Вильно! Согласилась бы на любую работу, стала бы служанкой... Но у нее не было средств на дорогу, и она не ободрялась надеждой на то, что пани Шкопкова ссудила бы ее деньгами. Ни пани Шкопкова, ни кто-нибудь другой в городке. Разве... разве...

И тут она вспомнила о знахаре с мельницы. Дядя Антоний наверняка не отказал бы ей. Это единственный человек, который остался у нее на этой земле.

Она начала лихорадочно обдумывать план действий. Вечером, когда станет темно, она пойдет огородами до шоссе, а оттуда до мельницы. Где-нибудь по дороге сядет на телегу и к утру будет уже на станции. Там она напишет письмо пани Шкопковой... и ему, пану Лешеку.

Сердце Марыси сжалось. А что, если он не захочет приехать в Вильно?

И сразу все ее проекты рассыпались как картонный домик.

Нет, уж лучше по сто раз на дню подвергаться оговорам, насмешкам, сплетням, чем отказаться от возможности видеть его глаза и губы, волосы, слышать дорогой голос, касаться его сильных и красивых рук.

— Будь что будет, — решила она.

Был еще один выход: признаться ему во всем. Он ведь гораздо мудрее ее и наверняка найдет лучший выход.

Но на это она, наверное, не решилась бы никогда. Она знала, что никто в городке не осмелится рассказать ему о причине драки пана Собека и сына Войдылы. Однако если он узнает, то заподозрит, что пан Собек имел основания выступить в защиту Марыси, и тогда...

— Нет, ничего я ему не скажу, ничего, — решила она. — Так будет разумнее.

Утром Марыся шла на работу, опустив голову, и так быстро, точно ее кто-то догонял. Она перевела дух лишь тогда, когда оказалась внутри магазина. Взглянув в зеркало, она с грустью отметила, что две бессонные ночи и переживания оставили на ее лице свой след. Она побледнела, под глазами появились синие круги. Это окончательно вывело ее из равновесия.

— Когда он увидит, что со мной стало, — думала девушка, — то не захочет со мной встречаться. Уж лучше бы он не приехал.

Проходил час за часом, и Марыся беспокоилась все больше и больше...

— В злую минуту подумала, чтобы он не приехал, — выговаривала она себе.

В костеле уже звонили к обедне, когда показались лошади из Людвикова. Однако пана Лешек в бричке не оказалось. Кучер, позевывая, сидел на козлах, пока толстая пани Михалевская, экономка из Людвикова, решала свои дела. Марысе очень хотелось подбежать к бричке и спросить о Лешек, но она справилась с собой и поступила разумно, потому что не прошло и часа, как на улице раздался треск мотоцикла.

Она чуть было не расплакалась от счастья. Но пан Лешек не заметил ни ее бледности, ни слез в глазах. Он влетел, как ураган, сделал несколько па мазурки и прокричал:

— Виват гениальному механику! Поздравь меня, Марысенька! Думал уже, что сгорю на этой жаре, но выдержал, не сдался!

И он начал рассказывать, как у него по дороге испортился мотоцикл, и с каким трудом он сам исправил повреждение, хотя мог добраться на бричке с пани Михалевской.

Был так доволен собой, что даже раскраснелся.

— Для милого друга семь верст не околица!

— Пан Лешек, но вы испачкались! Сейчас я дам вам воды.

Она как раз наполняла таз, когда с обедом вошла пани Шкопкова. Окинув их осуждающим взглядом, она, однако, ничего не сказала.

— Пан Чинский вынужден был ремонтировать свой мотоцикл, — объяснила Марыся, — и захотел умыться, потому что испачкался.

— Я не набрызгаю здесь, — добавил он.

— Ничего, — сухо ответила пани Шкопкова и вышла.

Инженер не обратил внимания на сухой ответ хозяйки магазина. Он увлеченно рассказывал Марысе, в чем заключался дефект мотора и как ему удалось отремонтировать его. Постепенно расслабилась и девушка.

— Как красиво ты смеешься! — повторял Чинский.

— Обыкновенно.

— Нет, не обыкновенно! Клянусь тебе, Марысенька, что ты с любой точки зрения девушка необыкновенная. А если говорить об улыбке... то все смеются не так, как ты.

Тут он начал демонстрировать, как люди смеются, и делал это так смешно, так громко, что мертвого поднял бы. Лучше всего он изображал толстую экономку, пани Михалевскую.

Он не знал, что именно в эти минуты пани Михалевской было совсем не до смеха.

И уже когда она влезала на бричку, кучер заметил, что лицо ее покрыто красными пятнами, точно она недавно размешивала горячее варенье. Всю дорогу он слышал, как она что-то бормотала за его спиной, вздыхала и причитала. «Что-то, наверное, случилось», — соображал он.

И, действительно. В городке пани Михалевская узнала о таких страшных событиях, что просто не хотела им верить и не поверила бы, если бы не свидетельство нескольких человек. К тому же она собственными глазами увидела, где пан Лешек поставил мотоцикл и где сидел уже битых два часа.

Пара молодых рыжих в яблоках коней бежала хорошей рысью, но пани Михалевской казалось, что они едва тащатся. Она время от времени поглядывала вперед, чтобы сориентироваться, сколько же еще километров осталось до Людвикава.

Наконец, за лесом открылась широкая панорама. Поля мягко спускались к видимой на горизонте голубой глади озера, над которым симметричными рядами стояли кубики зданий из красного кирпича. На пригорке, окруженный зеленью, белел высокий красивый дворец, считающийся во всей округе восьмым чудом если не света, то, по крайней мере, северо-восточных границ Польши. Одна только пани Михалевская не разделяла этих восторгов. Ей больше нравился старый, деревянный дворец, в котором она родилась, выросла и работала с детства.

Она не могла простить своему хозяину и ровеснику, старому пану Чинскому, что вместо того, чтобы отстроить сгоревший дом, он распорядился выстроить современный, каменный, да еще трехэтажный дворец, будто старым ногам экономки было мало работы.

Вот и сейчас, хотя мысли ее были заняты совсем другим, пани Михалевская не преминула посетовать на бессмысленное новшество, к которому даже по прошествии многих лет так и не смогла привыкнуть.

Миновав въездные ворота, бричка повернула в боковую аллею парка и остановилась у служебного входа. Пани Михалевская была слишком возбуждена, чтобы самой заниматься выгрузкой и размещением в кладовой привезенных запасов. Точно локомотив скорого поезда, она проследовала через кухню, буфетную и столовую, сопя даже больше, чем того требовала усталость и набранная скорость.

Она знала, где в это время искать чету Чинских, и не ошиблась. Они находились на террасе с северной стороны. Пани Элеонора, холодная и затаенная в корсет, сидела на жестком, ничем не покрытом стуле, погруженная в изучение толстых бухгалтерских книг. У нее за спиной стоял бухгалтер, пан Слупек с лицом осужденного, которого сейчас подвергнут пыткам. Его лысая

голова, подобно большому розовому грибу-дождевику, была покрыта крупными каплями пота. На другом конце террасы в большом плетеном кресле, обложившись кипами газет, сидел пан Станислав Чинский.

Пани Михалевская остановилась посреди террасы, дрожа от ужаса и негодования, переполнявшего ее.

Пан Чинский посмотрел на нее поверх очков и спросил:

— Что случилось. Михалесея?

— Несчастье! — простонала она.

— Нет лимонов?

— А, что там лимоны!.. Ком-про-ме-та-ция!

— Что случилось? — спокойно, но уже с большей заинтересованностью спросил пан Чинский, откладывая газету.

— Что случилось?.. Скандал!.. Я думала, что сгорю от стыда. Весь город ни о чем другом не говорит! Только о нем.

— О ком?

— Да о нашем дорогом Лешеке.

— О Лешеке?

Пани Чинская подняла голову и сказала:

— Запомните, пожалуйста, пан Слупек. Останавливаемся на этой позиции...

— Слушаюсь, пани, — перевел дыхание бухгалтер. — Двадцать четыре гроша. Мне уйти?

— Нет, оставайтесь. Так что там Михалесея говорит?

— О пане Лешеке! Позор всей семье! Я такое услышала!..

— Я прошу вас повторить. Наверное, какие-то сплетни, — с каменным спокойствием произнесла пани Чинская.

— В Радолишках дерутся, убивают друг друга из-за нашего пана Лешека. Начальник почты гитару на нем поломал и гонялся за ним по всему рынку. Нос ему разбил! Зубы выбил!..

— Кому? — вскочил пан Чинский. — Лешеку?

— Нет, сыну Войдылы, шорника.

— Так какое нам дело до этого?

— Так это же из-за той девушки, с которой пан Лешек роман завел.

Пани Чинская нахмурила брови.

— Ничего не понимаю. Прошу тебя, Михалесея, расскажи все по-порядку.

— Так я же говорю! Из-за девушки, из-за той Мары-си, что у Шкопковой в магазине работает.

Я давно знала, что тут дело нечисто. Глаза у меня старые, но видят хорошо. Еще на прошлой неделе я говорила, что пан Лешек слишком уж зачистил в Радолишки. Не говорила?.. Ну скажите, не говорила я?..

— Это не важно. И что там за девушка?

— Девушка как девушка. Что красивая, то красивая, но особого в ней я ничего не вижу. Чтобы драться из-за нее?.. Пан Лешек каждый день ездит в городок. То-то я себе думаю, что это он там забыл, а оно оказывается вот что!

— И что же оказывается?

— Что он к ней, к той Марысе ездит! Мотоцикл по целым дням где стоит? Под магазином пани Шкопковой. Все видят и только головами покачивают. А пан Лешек где находится?.. Конечно, в магазине. Один на один! Да! Один на один с нею, потому что Шкопкова в магазине не сидит.

Пани аптекарша удивляется, что ксендз до сих пор с амвона не осудил такого поведения.

И если, говорит, он этого не сделал, то только из уважения к родителям такого предприимчивого кавалера.

Пан Чинский нахмурился.

— Что дальше?

— Значит, так, тот сын шорника, бывший семинарист, в субботу... Нет, нет, в пятницу... Нет, правильно говорю, в субботу при всем народе спрашивает эту самую Марысю, зачем она в магазин диван поставила... Ну а Марыся на то ничего не ответила. Так он начал над нашим Лешekom и над ней так насмехаться, что все за животы держались от смеха.

— Кто это все? — спокойно спросила пани Элеонора.

— Ну, народ. На улице было много людей, и все слышали. Ну, наверное, девушку стыд взял, и она, не сказав ни слова, бросилась наутек, но пожаловалась начальнику почты, Собеку.

А может, он сам от кого-то узнал. Во всяком случае, как только он встретил бывшего семинариста, тут же бросился на него и так избил, что тот едва с жизнью не расстался. А сегодня собственными глазами я видела мотоцикл пана Лешека под тем же магазином. Еще несчастье накличет на свою голову. Этот Собек способен на что угодно, потому что... — Ну хорошо, — прервала ее пани Чинская. — Спасибо. Михалесь, за информацию. Я займусь этим.

Она говорила безразличным тоном, но экономка хорошо знала, чем это пахнет. И сейчас она сообразила, что поступила очень поспешно и неразумно. Она, действительно, была возмущена оскорбительными визитами Лешека, но любила его больше собственных детей и сейчас пожалела о своем поступке.

— Я, — начала она, — ничего о нашем Лешек не говорю, он должен понимать...

Но Чинские уже разговаривали по-французски, а это означало, что ей следует уйти. Помедлив, она вышла, раздумывая над тем, не выбежать ли на дорогу и не предупредить ли Лешека о каше, которую она заварила. Однако постепенно она пришла к выводу, что молодому хозяину порядочная трепка пойдет на пользу, и отказалась от своего намерения.

Он заслуживал осуждения в любом случае. Если соблазнял порядочную девушку, то поступал некрасиво. Если же Марыся не относилась к порядочным, то компрометировал себя и семью. Так понимала ситуацию Михалесь, такого мнения придерживались и родители Лешека. Когда Лешек приехал, то с удивлением и беспокойством заметил холодные взгляды, которыми его встретили родители. Вначале его возмутила догадка, что это негодяй Бауэр, директор гостиницы в Вильно, прислал счет.

«Вот свинство, — думал он, сидя в молчании за ужином. — Не мог подождать пару недель». Счет, если память ему не изменяла, содержал такие позиции, которые Лешеку ни за что на свете не хотелось бы показывать родителям: например, разбитые зеркала и чересчур много шампанского...

— Ты не мог бы уделить нам полчаса своего времени? — обратилась к нему, вставая из-за стола, пани Чинская. — Нам бы хотелось с тобой поговорить.

— Целых полчаса? — подозрительно спросил Лешек.

— Считаешь, что для родителей это чересчур много?

— Да нет же, мама. Я в вашем распоряжении.

— Тогда пройдем в кабинет.

«О-го! — рассудил про себя Лешек. — Наверное, случилось что-то серьезное».

В кабинете, как правило, происходили самые неприятные и официальные беседы с родителями. Пан Чинский занял председательское место за столом и, крякнув, начал:

— Дорогой Лешек! Нам стало известно, что твое легкомыслие выходит не только за рамки приличий, но и топчет чувство собственного достоинства, которое мы с мамой старались воспитать в тебе.

— Я не понимаю, отец, о чем идет речь, — занимая оборону, холодным тоном ответил Лешек.

— Речь идет об отвратительных скандалах среди городских кавалеров... о драках, спровоцированных тобой.

Лешек с облегчением подумал:

«Значит, не счет! Слава Богу!» — и уже с облегчением улыбнулся.

— Мои дорогие родители! Я вижу, что вас ввели в заблуждение, проще говоря, обманули какими-то нелепыми сказками. Ни о каких скандалах я не знаю, а тем более не мог их спровоцировать.

— И ни о какой Марысе ты тоже не знаешь? — спокойно спросила мать. — О продавщице из магазина Шкопковой?

Лешек слегка покраснел.

— Какое это имеет отношение к нашей беседе?

— Самое прямое, мой дорогой.

— Да, знаю эту Марысю. Милая девушка.

Откашлялся и добавил:

— Я захожу в этот магазин довольно часто за папиросами.

— Ежедневно, — подчеркнула мать.

— Возможно. — он нахмурил брови. — Так что из того?

— Ты бываешь там ежедневно и просиживаешь в магазине часами.

— А, если даже... Тебе не кажется, мама, что я уже вышел из того возраста, когда меня надо контролировать?..

— Вероятно, если речь идет о нашем контроле. Но достаточно взрослый и самостоятельный человек всегда подвержен другому контролю. Я говорю об общественном мнении.

Лешек ужаснулся.

— Извини, мама, но я не совершил никакого преступления!

— Никто тебя не обвиняет в преступлении.

— Так в чем же дело?

— В такте и достоинстве, — четко произнесла пани Чинская.

— Не считаю, что проявил бестактность и унизил ваше достоинство.

Пан Чинский нетерпеливо заерзал в кресле.

— Дорогой Лешек, — начал он. — Ты сам должен понять, что твои постоянные визиты и демонстративное пребывание в лавчонке не могли не вызвать разговоров...

— Никому нет дела до этого. Магазин... магазин — это общественное место. Каждый имеет право войти в магазин.

— Извини, — прервала мать, — но подобные уловки не соответствуют твоему уровню. Прежде всего, ты просиживаешь там целыми днями, привлекая всеобщее внимание и вызывая ненужные разговоры. Ты, надеюсь, не допускаешь мысли, что все так наивны, что считают, будто ты проводишь время, изучая в магазине торговое дело. Ты просиживаешь там из-за этой продавщицы.

— Возможно. Что из этого?

— Из этого следует, что ее общество тебе интересно.

— Разумеется, мама.

— И соответствует тебе?.. Не так ли?..

— Это вопрос личного мнения, отношения...

— Но позволь тебе сказать, что, по нашему мнению, здесь нет никакого вопроса. А лучшее доказательство тому — сплетни на тему твоих визитов в городок.

— Меня не интересуют сплетни!

— Речь идет не только о сплетнях. Эту девушку публично оскорбил один из менее счастливых... твоих соперников, в результате чего другой... обожатель этой... популярной девушки посчитал своим долгом в уличной драке отстоять ее честь, в силу чего твои... ухаживания и твоя личность приобрели в округе скандальную известность.

Лешек широко открыл глаза.

— Но я ни о чем не знаю! Это вообще невозможно!

Он вскочил и возмущенно закричал:

— Это мерзкие сплетни, в которых нет ни слова правды!

— К сожалению, сын, — откликнулся пан Чинский, — у нас совершенно точные сведения.

— Не верю! — взорвался Лешек. — Она бы сказала мне об этом! А маме не следует говорить о порядочной девушке, которую она не знает, пользуясь такими... такими двусмысленными намеками! Это отвратительно!

Супруги Чинские обменялись взглядами. Их озадачил такой эмоциональный всплеск в поведении сына, который раньше сам довольно свободно выражал свое мнение о женщинах.

— Я вижу, что эта девушка тебя очень интересует.

— Безусловно, интересует, если из-за меня она подвергается подобным... подобным...

Он закусил губу и не закончил фразу. Пани Чинская спокойно рассказала все, о чем узнала от экономки. Лешек справился с собой настолько, что выслушал ее до конца, ни разу не прервав.

Когда она закончила, он сухо спросил:

— И какие же выводы вы собираетесь сделать?

— Как это выводы? — удивился пан Чинский. — Мы просто хотим попросить тебя, чтобы ты задумался над своим поведением. Это все.

Лешек покачал головой:

— Нет, не все. Согласны вы со мной или нет, но своим поведением я не причинил зла ни вам, ни себе, ни третьему лицу. Мне не в чем упрекнуть себя. Абсолютно не в чем! И в то же время ни я, ни, как мне кажется, мои родители не могут простить какому-то хаму, что тот оскорбляет действительно бедную, но достойную уважения девушку, прикрываясь моей фамилией.

Пани Элеонора бросила на сына иронический взгляд.

— Ты слишком уверен, мой дорогой, в своем уважении, которое, возможно, заслуживает та девушка, но я не осуждаю тебя за наивность! Мне интересно, какой будет твоя реакция. Или, следуя примеру того почтового чиновника, ты собираешься драться с сыном шорника?

— Нет, но подам в суд!

— Я вижу, что здравый смысл изменяет тебе. Судебный процесс не поправит репутацию девушки.

— Тогда прикажу кучеру отстегать его кнутом! — воскликнул выведенный из себя Лешек. — Во всяком случае... С сегодняшнего дня ни на фабрику, ни в имение мы не будем заказывать изделия его отца!

— Его отец здесь ни при чем, — заметил пан Чинский.

— Разумеется, — добавила пани Элеонора. — А кроме того, позволь заметить, я удивлена твоим столь категоричным тоном, точно фабрика и имение составляют твою собственность и вопрос размещения заказов зависит исключительно от тебя.

Однако нервы Лешек были уже на пределе. Отступив шаг назад, он спросил:

— Ах, так?.. Значит, мама собирается и в дальнейшем пользоваться услугами этого шорника?

— Не вижу причин отказываться от них.

— Но я вижу! — крикнул он.

— Это, к счастью, нас еще ни к чему не обязывает.

— Ах, так? Тогда слушайте! Я требую этого. Делайте выбор. Или выполните мое желание, или не увидите меня больше никогда.

Круто развернувшись, он вышел из кабинета, возмущенный до такой степени, что, не колеблясь, мог осуществить свою угрозу и уехать прямо сейчас.

Он не хотел сейчас задумываться над правильностью своих поступков. Сама мысль, что какой-то провинциальный хлыщ осмелился публично посмеяться над Марысей, приводила его в бешенство, туманила рассудок и требовала безотлагательных действий. Именно это было самым важным в данную минуту: наказать, отомстить. Даже родители стали преградой! Он жаждал отмщения и показал бы им, что не остановится ни перед чем.

Выбежав в парк, Лешек яростно срубал листья с ветвей каштанов тростью отца, которую он забрал из передней.

Конечно, разрыв с домом обрекал на нужду. Правда, у него было специальное образование керамиста: он мог получить место в Цмелеве или на какой-нибудь другой фабрике. Однако тогда его бюджет будет ограничен всего несколькими сотнями злотых в месяц.

«Трудно придется, — думал он и тут же убеждал себя — Выдержу!»

И тотчас же возник вопрос:

— Что, собственно, явилось причиной конфликта, который мог бы перевернуть всю мою жизнь?

Ответ не замедлил явиться:

— Марыся...

Да, именно о ней шла речь, о Марысе, о той милой девушке, ради которой он был готов на все. И сразу же родились сомнения. Не будет ли разрыв с родителями, отказ от положения в обществе и состояния слишком высокой ценой за связь с нею?

Лешек с негодованием отбросил эти мысли. Ситуация была совершенно ясна: кто-то осмелился оскорбить Марысю и его самого, поэтому должен быть наказан.

А Марыся?.. С Марысей совсем другое дело. Вопрос не стоит, заслуживает она того или нет.

Если трезво подходить, то тут что-то неладно. Сын шорника, вероятно, допустил какую-то фамильярность по отношению к ней, а может, в нем говорила ревность. А почтарь, некий Собек?.. Почему он стал на защиту Марыси?.. Просто так, без причины?..

Было бы глупо думать, что это так. Конечно, их что-то связывает.

Эта мысль привела Лешек в бешенство. Догадка, высказанная матерью, что эти люди являются его... соперниками, показалась ему оскорблением, самым тяжким оскорблением.

«Вот результат, — думал он с горечью, — сближения с людьми такой среды».

Мать, конечно, женщина опытная и умеет разумно смотреть на жизнь. Если ее подозрения хотя бы частично соответствуют истине...

— Тогда в каком свете меня выставили! Высмеяли, как сопляка! Со мной она выдает себя за полевую лилию, а кто знает, что она позволяет себе с таким, как Собек...

Обвинение, действительно, было ужасным, но кто может поручиться, что жизнь и правда не окажутся еще страшнее?

Лешekom овладела апатия и разочарование. Он сел на каменную скамейку, мокрую от росы, и мир показался ему мерзким, скучным, не стоящим каких-либо усилий, борьбы или жертв...

Если бы Марыся была честной, искренней девушкой, то не скрыла бы от него случившееся, а, наоборот, рассказала бы обо всем, попросила защиты у него, а не у какого-то Собека.

Из-за деревьев выплыл неполный диск луны. Лешек не любил смотреть на нее, однако сейчас он отчетливо увидел, что пятна на ее молочно-белой поверхности сложились в ироническую улыбку.

«Я просто глуп. — подумал он, — невероятно глуп».

И он задумался над тем, как отнесутся ко всей этой истории и к его поведению родители.

Если бы он слышал их разговор, то убедился бы, что их мнения относительно его здравомыслия совпадают.

После его ухода Чинские довольно долго молчали. Наконец, пани Элеонора, вздохнув, произнесла:

— Меня очень беспокоит Лешек.

— И меня не утешает, — отпарировал пан Станислав, вставая. — Поздно уже. Пора спать.

Как обычно, он поцеловал жене руку и отправился к себе в спальню. Спустя 15 минут он уже лежал в постели и как раз собирался почитать «Потоп» — замечательное средство для успокоения нервов перед сном, позволявшее отвлечься от дневных забот и благотворное влиявшее на воображение, — когда раздался стук в дверь.

— Это ты? — удивился пан Станислав.

За много лет он уже отвык от появления жены в халате и в это время.

— Да, Стась. Я бы хотела услышать твое мнение... Сама не знаю, как поступить. Считаешь ли ты, что угрозу Лешека следует принимать серьезно?

— Он неуравновешенный парень, — осмотрительно заметил пан Чинский.

— Видишь ли... Весьма непедагогично уступать под давлением угрозы. Однако, с другой стороны, следует принимать во внимание его возраст. Если до сего времени мы не сумели его воспитать, то дальнейшее воспитание уже не даст ничего.

Пан Станислав грустно взглянул на разложенный на одеяле толстый том. Заглоба как раз принял командование и приступал к снабжению лагеря. Отрывок особенно приятный, а тут опять проблемы Лешека.

— Я думаю. Эля, что мы отказали ему очень категорично.

— Но справедливо.

— Разумеется. С другой стороны, амбиция парня все-таки подавлена. Я думаю, что...

Мысли о продолжении романа, о доставке оружия и амуниции из Белостока, о прибытии князя Сапегги настраивали пана Чинского на мирный и спокойный лад.

...В конце концов, этот шорник должен научить своего сыночка дисциплине. Нельзя отказать Лешеку в правоте.

— Значит, предлагаешь, — подхватила пани Элеонора, — принять условие Лешека?

— Я предлагаю? — искренне удивился пан Станислав.

— Но не я же, — нетерпеливо пожала плечами жена. — Я всегда считала, что ты относишься к нему слишком мягко и потакал во всем. Не поплачься бы нам когда-нибудь за твою слабость.

— Извини, пожалуйста, Эля... — начал пан Чинский, но жена прервала его.

— Пожалуйста, я поступлю, как ты хочешь, хотя еще раз подчеркиваю, что делаю это вопреки своему убеждению.

— Но... — пытался объяснить пан Станислав, — но я...

— Ты? Ты, мой дорогой, плохо его воспитал! Спокойной ночи!

И пани Элеонора вышла с чувством стыда перед собой. Перекладывая ответственности за уступку на плечи мужа не обмануло ее совесть. Ее деспотичная натура восставала против ультиматума сына и, если бы пан Станислав хотя бы одним словом спровоцировал ее к сопротивлению, она не изменила бы своего решения. Но дело в том, что она шла в спальню мужа совершенно уверенная, что он не возразит ей не единым словом.

Однако тот, кто думал, что пани Элеонора может согласиться с поражением, просто не знал ее.

Правда, ее бросало в дрожь при мысли, что сын выполнит свою угрозу и уедет на край света, но все же она не могла признать собственной капитуляции.

На следующее утро она пригласила сына и объявила, что по просьбе отца решила отказаться от заказов у шорника Войдылы, но при одном условии, еще сегодня он уедет на некоторое время под Варшаву, к дяде Евстафию.

Она умышленно не определила срок, опасаясь, что Лешек может не согласиться. Но ее опасения были излишни. После бессонной ночи, после долгих скептических раздумий Лешек был совершенно подавлен. Он сам подумывал о том, не лучше ли ему уехать, поэтому предложение матери принял без малейшего сопротивления.

Отъезд автомагически избавит его от искушения поехать в городок; в шумном, веселом доме дяди Евстафия, где всегда было много девушек и молодых женщин, он наверняка приятнее проведет время, чем в этой мерзкой провинции — грязном, вонючем болоте.

Так думал он до тех пор, пока за окнами вагона еще не замелькали убегающие назад станционные здания. Но под монотонный ритмичный стук колес все мысли смешались, закружились и вдруг побежали в ином, совершенно противоположном направлении.

## Глава X

Спокойно протекала жизнь на мельнице старого Прокопа Шапеля. Ясное голубое небо отражалось в гладкой поверхности тихих прудов, липы источали медовый запах, журчащая вода-кормилица сверкающей лентой стекала на мельничное колесо и, точно бесконечное зеркальное полотно, разбивалась на лопастях на зеленоватые прозрачные осколки, постепенно дробящиеся, светлеющие и клубящиеся в самом низу мелкими брызгами и белой пеной. Наверху монотонно бормотали довольные и сытые пережеванным хлебом жернова, а желобами сыпалась пушистая драгоценная мука, только подставляй мешки под этот нескончаемый хлебный поток.

Поздней весной на мельнице работы было немного. Около трех часов по-полудни работник Виталис перекрыл воду, и колесо, освобожденное от тяжести потока, перевернулось раз-другой с разгона, заскрипели дубовые оси, заскрежетали железные шестерни, заворчали жернова, и воцарилась тишина... Только мучная пыль бесшумно опускалась из-под крыши и потолка на землю, стоявшие мешки, весы, покрывая их точно ковром, достигавшим иногда толщины в полпальца.

Иные, нечестные мельники и эту муку продавали людям. Старый Прокоп, однако, велел сметать ее на заправку для скота, поэтому-то его коровы, лошади и прочая живность ходили откормленными и гладкими.

С трех часов на мельнице уже не было никакой работы, и в это время знахарь Антоний Косиба обычно собирался в городок. Отряхивал с себя муку, надевал чистую рубашку, умывался над озером, возле пня, где был самый удобный спуск к воде, и шел в Радолишки.

Больных летом было немного, да и то главным образом приходили вечером, после захода солнца, когда, как известно, люди свободнее.

В последнее время все домашние, а особенно женщины, заметили большие перемены в поведении знахаря. Он начал уделять больше внимания собственной персоне: сапоги начищал ваксой до блеска, купил две цветные блузы, подстригал бороду и волосы, которые раньше лежали у него на плечах, как у попа.

У Зони по поводу франтовства знахаря не было никаких сомнений. Надежный в таких делах женский инстинкт давно подсказывал ей, что безразличный раньше к женским прелестям Антоний Косиба высмотрел в городке какую-то бабу. Первоначальные подозрения, направленные на особу Шкопковой, хозяйки магазина, очень скоро рассеялись. Антоний, действительно, навещал ее магазин, но встречался там только с молоденькой девушкой, которая работала у Шкопковой.

Не один раз встречала ее Зоня. Ее разбирали смех и злость, когда она думала об этих ухаживаниях.

— Эй ты, старый! — говорила она, присматриваясь к собирающемуся в дорогу знахарю. — Чего это тебе вздумалось? Разве она для тебя?.. Опомнись! Для чего она тебе? Ходишь к ней и ходишь, а что выходишь? Тебе нужна здоровая баба, крепкая, не такая белоручка, как она.

— Как раз такая, как ты, — посмеивалась Ольга.

— А хоть бы и такая! А хоть бы! — воинственно наступала Зоня. Хитрить не буду. Чем я хуже ее?.. Не такая молодая?.. Ну и что? Ты, Антоний, подумай сам, зачем тебе такая молодая?.. Да еще городская! С фанаберией, со шляпами. Грех возьмешь на душу!

— Замолчи, глупая! — отзывался, наконец, не выдерживая, знахарь, а потом отходил, ворча под нос.

— И что только может прийти в голову такой глупой!..

В действительности же он считал разговоры Зони переливанием из пустого в порожнее. Он и не собирался жениться. По отношению к женщинам он испытывал неприязнь, над источником которой не задумывался, боялся их и даже пренебрегал ими. Что же касается Марыси из Радолишек, здесь было совершенно другое дело. Марыся была настолько исключительной девушкой, что он считал немыслимым вообще сравнивать ее с женщинами. Мысль Зони о его женитьбе на Марысе была такой нелепой, что даже думать об этом не стоило, а если и задумывался, то лишь для того, чтобы понять, откуда в ее голове могло родиться нечто подобное.

Бывал он в магазине?.. Ну бывал, что же тут такого? Иногда отнесет Марысе какой-нибудь подарок?.. А разве он не имеет права?.. Что любит с ней разговаривать?.. Конечно, предпочитал разговаривать с ней, чем с кем-нибудь другим обсуждать всякие глупости... Бедная девушка, почти ребенок и одинокая, сирота. Как же не полюбить ее, не отнестись к ней сердечно, искренне, бескорыстно! Антоний чувствовал, что и она привязалась к нему, полюбила его от всего сердца, иначе не встречала бы его с такой радостью, не задерживала бы в магазине как можно дольше, не делилась бы с ним своими горестями и переживаниями.

А в последнее время их у Марыси было достаточно. Уже с понедельника она ходила поникшая и, когда он пришел в четверг, сразу заметил, что она плакала.

— Что случилось, девочка моя? — спросил он. — Опять злые люди жить не дают?

Она покачала головой.

— Нет, дядя Антоний! Не то! Из-за этой драки несчастье пришло.

— Кому? — забеспокоился он.

— А Войдыле, шорнику.

— Какое же это несчастье?

— Наверное, молодой пан Чинский узнал от кого-то о том, что бывший семинарист оскорбил меня, и о драке. И когда вчера шорник послал фурманку в Людвиково с готовой работой, то заказа на новую ему уже не сделали. Старого Войдылы несколько дней не было в городке. Он выезжал в Вильно и вернулся только вчера. Когда фурманка появилась пустой, он спросил, где же работа. А кучер ему отвечает:

— Пани из Людвиково просила передать, что работы для нас больше не будет.

— Почему не будет? Фабрику закрывают?

— Фабрику не закрывают, но сын пана их сына оскорбил, поэтому они не хотят давать пану работу.

Знахарь кашлянул.

Это несправедливо. Как же отец за сына может отвечать? Сын бездельник, но отец — порядочный человек и ни в чем не виноват.

— Конечно, — согласилась Марыся. — Я ему то же самое сказала.

— Кому?

— Старому Войдыле. Как только он узнал об этой истории, то прежде всего пошел к пану Собеку, подал ему руку и поздравил, что с сыном его пан Собек правильно поступил, а потом пришел ко мне.

— И чего он хотел?

— Сразу строго на меня посмотрел и сказал: «Я пришел извиниться за поведение моего Зенона. Он глупый и злой парень. Его, бездельника, следовало наказать, а что получил от пана Собека, то это еще мало. Понимаю, что он не имел права пани оскорблять. Это не его дело, чем пани занимается. Это интересы пани Шкопковой, ее право, а не того дармоеда. Если бы пани пришла ко мне, то он получил бы свое. Но пани пожаловалась молодому наследнику Людвиково, и теперь на меня, совершенно безвинного, несчастье свалилось, потому что меня лишили заказов, а это большая половина моего заработка».

Знахарь удивился.

— Но ты же не жаловалась молодому наследнику?!

— Нет-нет! Я сказала пану Войдыле об этом, но он, мне кажется, не поверил.

— Ну, я еще не вижу несчастья.

— Несчастье в другом: старый Войдыло сегодня утром выгнал сына из дому!

— Выгнал?.. Как это выгнал? — переспросил знахарь.

— Он такой суровый. Весь городок говорит об этом. И все твердят, что из-за меня... Что же я плохого сделала?

Голос Марыси задрожал, и в глазах показались слезы.

— Я сама хотела бежать к пану Войдыле, чтобы простил Зенона, но побоялась... Хотя он не обратил бы никакого внимания на мои просьбы. Ксендз вступался за Зенона, говорил, что парень испорченный, но, выброшенный из дому, еще больше скатится на дно. Не помогло. Старик ответил, пусть даже в тюрьме сгниет, его это не тронет, потому что он не только бездельник и дармоед, но еще у отца и братьев хлеб отнимает.

Знахарь покивал головой.

— Грустная история, но вины твоей, девочка, в том нет.

— Что ж из того, что нет? Когда все тыкают пальцами, как будто я преступница, волком на меня смотрят... И даже пани Шкопкова против меня настроена. Сама слышала, как один столляр говорил ей:

— На беду людям и на оскорбление Божье держите вы у себя эту приبلуду.

Марыся закрыла лицо руками и расплакалась.

— Я знаю, знаю, — всхлипывала она, — чем все это кончится... Загрызут меня... лишат работы... А ведь я хотела как лучше... Если бы пан Лешек приехал, на коленях выпросила бы у него прощение для Зенона... Но он... он не приезжает... Не подает признаков жизни. Этого несчастья еще для меня не хватало... О Боже, милый Боже!

Антон Косиба сидел, безвольно опустив между колен большие руки. Лицо его от волнения побледнело. Он бы душу отдал, чтобы освободить от страданий эту девушку, которую полюбил всем сердцем. Его охватывал то гнев и желание немедленно действовать, то чувство собственного бессилия.

Он не находил слов, которыми мог бы успокоить ее. Тогда он встал, обнял ее и стал нежно, ласково гладить по волосам своей жесткой, натруженной ладонью, повторяя:

— Успокойся, голубка, успокойся!.. Она прижалась к нему, дрожа от сдерживаемых рыданий.

И такая безграничная жалость к ней охватила его, что слезы покатались по его лицу, седеющей бороде, по пальцам, нежнодвигающимся по светлой головке девушки.

— Успокойся, голубка моя, не плачь, не плачь, — говорил он едва слышно, точно убаюкивая ее.

— Только ты один у меня, дядя Антоний... единственный на свете... приبلуда...

— Оба мы среди людей чужие, оба приبلуды, голубка. И не переживай, не выплакивай глаза.

Никому не позволю тебя обидеть. Хоть и старый я, но сил у меня хватит. Пока у меня будет

хлеб, у тебя, голубка моя, будет все. Тише, тише, девочка ты моя, бедняжка моя милая, тише.

— Какой же ты добрый, дядя Антоний, какой добрый! — успокаивалась Марыся. — Наверное, даже родной отец не может быть лучше... Чем я это заслужила?..

— Чем? — задумался знахарь. — Кто может это знать? А чем же я заслужил, что ты так ласкова со мной, голубка моя, что мое старое сердце, которое билось только по привычке, а не по необходимости, разожгла, как солнце... Один Бог знает, а я хоть не знаю, все равно благодарю его за это и не перестану благодарить до смерти.

Возле магазина остановилась брочка, и спустя минуту вошел покупатель. Он покупал цветную бумагу для фонариков, наверное на приближающиеся дожинки. Он долго выбирал, торговался и жаловался на высокие цены.

И когда, наконец, покупатель вышел, знахарь сказал:

— Если позволишь, голубка моя, я тебе честно скажу, что думаю.

— Конечно. — улыбнулась она не без опасения, что после такого вступления ничего приятного не услышит.

И она не ошиблась: Знахарь стал говорить о Лешке.

— Из-за него все неприятности и переживания. Что тебе до него, голубка моя? Я не говорю, что он плохой или вредный, глаза у него добротой светятся, но он совсем молодой еще, нет у него своего мнения, ветрогон. Не один раз я смотрел на него, видел, как он сюда приходил и просиживал здесь... Да и люди говорили... Молодой он и легкомысленный, поэтому неудивительно, что подозревают в нем несерьезные намерения. Я сам, Бог мне свидетель, ему

не верю! Знаю, все, о чем говорят — это собачий лай. Но, моя милая, зачем, чтобы люди лишнее говорили?.. Языки им не завяжешь, глаза не закроешь. Смотрят и говорят. А тебе, девочка, что от этих заигрываний? Только одни неприятности. Ты молодая и неопытная, легко веришь каждому обещанию.

— Он никогда мне ничего не обещает, — прервала знахаря сконфуженная и покрасневшая Марыся.

— Не обещает? А чего же он хочет? Помни, что он большой пан, богатый, известный. Что ты для него? Так, игрушка. А сердце привыкнет. Вот и сейчас: его нет, и тебе тяжело.

— Это по другой причине...

— Может, по другой, а может, и по этой. Он ведь не женится на тебе. Тогда зачем?..

Марыся опустила глаза.

— Я об этом вообще не думала. Просто с ним приятно разговаривать. Он много путешествовал, много видел, интересно рассказывает...

— Так пусть рассказывает другим, зачем же он тебя отыскал?

— Потому что... он говорит, что... я ему нравлюсь.

— Еще бы не нравилась. Он же не слепой.

— Не думала я, что и ты, дядя Антоний, увидишь в этом плохое.

Он закрыл руками лицо.

— Упаси Боже! Ничего плохого, но не нужно. И тебе от людей плохо, и сплетни отсюда всякие, а пользы ни для кого никакой. Нет, если бы он был вполне порядочным человеком, то не позволил бы, чтобы тебя обговаривали милая, не морочил бы твою головку, не сидел бы здесь сиднем.

— Но... но я же не могу его выгнать, — пыталась защищаться Марыся.

— И не нужно. Послушай добрый, искренний совет: перестань с ним разговаривать подолгу, и он перестанет приезжать. Больше ничего не могу тебе посоветовать.

Марыся глубоко задумалась. Она хорошо понимала, что совет знахаря и добрый, и разумный. Раньше или позже ее знакомству с паном Лешekom придет конец, у него появится новый интерес или он женится. Продолжение их дружбы ни к чему не приведет. Чем дольше, тем тяжелее будет ей с ним расстаться, тем мучительнее будет тоска. Только несколько дней его не было, а жизнь уже превратилась в пытку... Хотя, с другой стороны, разве не желала бы она ценой многих лет отчаяния заплатить за несколько месяцев счастья видеть его, смотреть в его глаза, слышать его голос?..

Воспоминания о кратковременном счастье останутся в душе навсегда, до самой смерти. Можно ли отвернуться от такого сокровища? Неужели лучше отказаться от него из-за страха перед мучением и жить одной лишь пустотой?..

Знахарь такой добрый и умный, но не ошибается ли он на этот раз?

— Я подумаю над твоим советом, дядя Антоний, грустно ответила она, хотя он, наверное, больше сюда не приедет.

И, действительно, проходили дни, а молодого Чинского никто не видел ни в городке, ни в округе.

Тем временем страсти в Радолишках накалялись. Одни осуждали суровый поступок старого Войдылы, другие хвалили. Однако все как один сходились во мнении, что, во-первых, Зенон Войдыло плохо кончит, а во-вторых, во всем виновата Марыся.

Даже те, кто раньше приветливо с ней здоровался, сейчас старались пройти мимо, делая вид, что не замечают ее. Другие, наоборот, при каждом представившемся случае громко осуждали ее, не стесняясь в выборе выражений. Провинциальная жизнь приучила людей к определенным нормам поведения, и если кто-нибудь жил не по канону, то заслуживал в их глазах сурового порицания. Связавшись с сыном богатого фабриканта, бедная девушка не могла надеяться на брак с ним, тогда на что она рассчитывала?..

Такая логика особенно устраивала тех, кто страстно хвалил шорника за то, что тот выставил своего сыночка, пустозвона и авантюриста, из родительского дома. Они придерживались такого мнения: если дожил до зрелого возраста и человеком не стал, значит, ему уже ничего не поможет. Не слушал отца и мать — пусть теперь его собаки воспитывают, пусть идет на все четыре стороны и не позорит семью.

Зенон, однако, не собирался уходить. Правда, в первый день он исчез куда-то, а назавтра вернулся и сразу же своим поведением подтвердил самые худшие предсказания. Он до

бесчувствия напился в корчме Юдки, пропил все деньги, которые дал ему отец на выезд, а потом до самой ночи скандалил на улице, угрожая, что подожжет отцовский дом, перестреляет всех Чинских и разобьет голову этой вертихвостке Марысе. В конце концов, он бросился на полицейского и оборвал ему карман, после чего был доставлен в участок, где повывбивал окна и поломал мебель. Ему надели наручники и продержали целые сутки под арестом, составив протокол. Суд приговорил его к двум месяцам лишения свободы.

Выйдя на свободу, Зенон снова исчез из городка, но люди говорили, что он крутится где-то в окрестностях.

Все эти события всколыхнули не только городское общество. Узнали о них и в Людвиково. Пани Чинская тотчас же послала нарочного к шорнику, сказав, что считает наказание Зенона правильным, однако, желая спасти его от окончательного падения, решила возобновить прежние заказы и надеется, что пан Войдыло простит сына.

Шорник, однако, был человеком суровым. За заказы поблагодарил, но заявил, что своего решения не отменит и что сына-выродка он видеть не хочет. Переубедить его не удалось.

— Смотри, — говорила позднее пани Чинская мужу. — Смотри, как относится отец к детям, если у него есть принципы и характер.

Пан Станислав сделал вид, что намек не понял, и что-то проворчал себе под нос, углубляясь в чтение. Зато пани Элеонора решила, что этой ситуацией можно воспользоваться в воспитательных целях и собралась писать обстоятельное письмо с подробным отчетом единственному наследнику.

Это письмо, несомненно, благотворно повлияло бы на Лешека, если бы он его получил. Но в то время, когда шедевр эпистолярного жанра лежал в почтовом вагоне поезда, двигавшегося в сторону Варшавы, адресат переворачивался с боку на бок в спальном вагоне поезда, направлявшегося в Людвиково.

Он ворочался в постели и не мог уснуть из-за мучивших его угрызений совести. Он невыносимо скучал у дядюшки, но отнюдь не по объективным причинам. Общество было многочисленным, милым и веселым, постоянно устраивались увеселительные прогулки, приезжали интересные женщины, приятному времяпрепровождению способствовала отменная кухня и прекрасная погода. Но Лешека грызла тоска, ему было очень грустно.

Как все глупо и несерьезно: он, взрослый человек в здравом рассудке, тосковал, будто школьник об институтке, по блондиночке из маленького магазинчика в провинциальном городке, тосковал, несмотря на все доводы, уговоры, несмотря на твердую волю и решение выпутаться из хаоса мелких проблем и бессмысленных сантиментов. Но, как только поезд отошел от перрона, его охватили иные мысли и чувства; они окружили его тесным кольцом, не покидали ни на минуту, мучили и терзали без передышки.

Вместо отчуждения рождалась жалость, нежность и сочувствие. Воображение рисовало фантастические сцены, в которых он видел заплаканную Марысю то в объятиях самозванного рыцаря Собека, то униженную и оскорбляемую толпой простолюдинов, то отъезжающую в неизвестном направлении в оборванном пальтишке, в смешной провинциальной шляпке, с убогим скарбом в потертом маленьком чемоданчике.

Лешек представил себе эту картину так явственно, что даже ужаснулся. Вскочив с постели, он оделся, сложил вещи, приказал разбудить шофера и отвезти его в Варшаву. Дядюшке он оставил письмо, в котором объяснял, что его отъезд связан с очень важным и срочным делом.

В Варшаве до отправления поезда оставалось еще два часа. Бесцельно прогуливаясь по Маршалковской, он остановился у витрины ювелирного магазина и невольно обратил внимание на красивый платиновый перстень с маркизой из бледно-голубых сапфиров.

— Это цвет ее глаз, — вспомнил он с нежностью и, не задумываясь над своими действиями, вошел в магазин.

Перстень не был очень дорогим, однако на его приобретение ушла вся сумма, которая оставалась в кармане Лешека после покупки железнодорожного билета.

Будучи не в состоянии уснуть, он достал из кармана пальто коробочку и принялся рассматривать перстень. Он никогда еще не делал Марысе подарков. Сомнительно, что она приняла бы от него что-нибудь.

— Приняла бы, — мелькнула в голове мысль, — будь это обручальное кольцо.

И мгновенно Лешек почувствовал, как сердце его забилося быстрее. Вытянув руку с перстенечком, он всматривался в сверкание камней.

— Вот мое обручальное кольцо, — произнес он громко.

Подняв голову, он решительно осмотрелся, будто ожидал возражения, но купе было пустым. Стены молчали, только занавески слегка колыхались в такт движению поезда.

И его сразу окутало блаженное, подобное сну, спокойствие. Сейчас все сомнения рассеялись, он уже твердо знал, что женится на ней. Она будет с ним, будет с ним навсегда. Конец тоске, конец беспокойству, конец сомнениям и страданиям.

Пусть это назовут безумием? Но назовут так те, кто не знает, какое безнадежное безумие представляет собой борьба с любовью.

И преступление! Ибо позволительно ли человеку вырывать из собственной груди самое светлое, самое прекрасное и самое нежное чувство? Кто знает, может быть, единственное чувство, которое оправдывает существование, которое предоставляет душе возможность расцвести? Растоптать, уничтожить его, отказаться от любви?! И во имя чего?.. Чтобы получить одобрение людей?! Что за глупость! Ради других отказаться от себя, от смысла жизни, от стремления к счастью!

Он ясно представлял себе все трудности и препятствия, которые встретятся ему на выбранном пути. Он не обольщался надеждой, что получит согласие родителей на этот брак. И не сомневался, что они сделают все, чтобы помешать ему. Общественное мнение, все знакомые и родственники ополчатся против Марыси. Он должен быть готов к упорной борьбе.

Но он не страшил ее, скорее наоборот. Его возбуждала мысль о том, что он встанет один на защиту своего счастья, своего и Марыси, что он преодолеет все преграды, выдержит все атаки и победит, потому что от исхода этой борьбы зависит его жизнь, его судьба.

Лешек представил себе тот богатый арсенал приемов, которые будут направлены против него: угрозы разрыва отношений, предупреждение о лишении наследства, насмешки и подлая клевета, сцены и скандалы, обмороки и просьбы. Но начнется все с отказа в деньгах. При связях родителей им нетрудно будет лишить его возможности получить какую-нибудь должность.

— Это следует принять во внимание, — подумал он.

Нет ничего легче, чем вступить в борьбу с открытым забралом и... проиграть. Но ведь речь идет не о самой борьбе, а только о победе. Собственно говоря, он мог бы продать свои личные вещи и убежать с Марысей куда-нибудь на край света. Она привыкла к бедности, а у него все еще впереди. Он ведь молод и найдет где-нибудь работу. Но такое решение вопроса не принесло бы ему удовлетворения, омрачило бы завоеванное счастье, поэтому такой путь следовало исключить.

Лешек был достаточно практичным человеком, и, когда речь шла о серьезных вещах, он забывал о донкихотстве, которое в общем-то импонировало ему. Именно по этой причине он решил действовать осторожно и осмотрительно, сохраняя все в глубокой тайне.

Сейчас ему не хотелось забивать себе голову стратегией будущей схватки. Он так упивался своими истинными чувствами, был так счастлив принятым решением, что все остальное казалось ничтожным, мелким и ничего не стоящим.

Появление сияющего и веселого Лешака произвело в Людвикове сенсацию. Во-первых, его здесь не ждали, во-вторых, в нем произошли заметные перемены: без следа исчезло прежнее раздражение, резкость движений, безразличие к домашним и имущественным делам, тоска.

— Что с тобой случилось, Лешек? — мягко спросила пани Элеонора.

— Я изменился, мама, стал другим человеком.

— Интересно, как долго продлится эта благополучная фаза?

— О да, — усмехнулся он таинственно. — У меня такое чувство, что это последняя фаза моего развития. Видите ли, я многое передумал и пришел к выводу, что уже пора стабилизировать свое положение, начать работать, упорядочить жизнь и так далее.

Пан Чинский даже глаза оторвал от газеты.

— Не значит ли это, что ты, наконец, собираешься заняться фабрикой?

— Ты не ошибаешься, отец!

— Значит, мне следует послать благодарственное письмо дяде. Это в их доме ты встретил того, кто так повлиял на тебя? Там, кажется, было много гостей.

— О да, очень много, просто толпа. — кивнул головой Лешек и добавил, подумав: — И в этой толпе я встретил... себя.

— А?.. И какое впечатление от этой встречи?

— Вначале довольно неприятное. Я услышал в свой адрес много справедливых критических замечаний, однако позднее убедился в том, что встретился с человеком, который знает, что ему нужно. И мы оба этому очень обрадовались.

Пани Элеонора наклонилась и поцеловала его в лоб.

— Поздравляем вас обоих, а также и себя.

— Спасибо, мама. Я заслуживаю поздравления больше, чем ты предполагаешь, — ответил он серьезно.

Этот разговор состоялся вечером после ужина и преисполнил старших Чинских розовыми надеждами. Каково же было их удивление, когда на следующее утро, поинтересовавшись у прислуги, спит ли еще молодой хозяин, услышали отрицательный ответ:

— Молодой хозяин приказал подать мотоцикл и уехал в сторону Радолишек.

## Глава XI

Приходской ксендз Пэлька был уже в преклонном возрасте. Спал он мало и просыпался рано. У него были какие-то нарушения в работе пищеварительного тракта, по этой причине не заморив червячка он чувствовал себя отвратительно. Посему к заутрене, как правило, звонили около семи, а в семь часов ксендз Пэлька уже выходил к алтарю.

Чтобы успеть в костел, Марыся должна была вставать в шесть часов, и поэтому она постоянно недосыпала. Молитва в костеле приносила ей такое успокоение, что на протяжении нескольких дней она не пропустила ни одной службы. Став в углу за амвоном на колени, она горячо молилась, прося Бога простить ей грехи, снять с нее огорчения и печали, которых так много свалилось на ее голову, послать ей радость, а еще дать счастье человеку, которого она полюбила.

На хорах исполнялись удивительные церковные мелодии, в которых не слышалось ни грусти, ни веселья, только какое-то дивное всепоглощающее спокойствие вечности, небесный покой, какой звездными ночами опускается на землю.

Этот покой заполнил костел, застыл в белых изваяниях апостолов и святых, расплылся в истершихся ликах почерневших икон, звучал в летающих от алтаря молитвах и наполнял измученные души верующих, которые пришли сюда за успокоением.

Марыся выходила из костела с предчувствием перемен. Ей казалось, что вот-вот все изменится и счастье придет к ней. Ее вера в лучшее была так сильна, что однажды утром, когда она возвращалась из костела и увидела возле магазина пана Лешек, то даже не удивилась.

— Пан приехал, — повторяла она дрожащим голосом, не в силах скрыть своей радости, — приехал...

После разлуки он показался ей необычайно серьезным и собранным. Марыся заметила это, несмотря на свое волнение, переросшее в замешательство. Она растерялась, когда он поцеловал ей руку на улице, на людях.

Как только они оказались внутри магазина, Лешек взял ее за руки и, глядя Марысе в глаза, сказал:

— Я никогда и никого так не любил, как тебя. Ты мне очень нужна. согласишься ли ты стать моей женой?

У Марыси подогнулись колени, голова закружилась.

— Что вы... что вы... говорите... — произнесла она, заикаясь.

— Прошу тебя, Марыся, стать моей женой, очень тебя прошу.

— Но... это невозможно! — почти прокричала она.

— Почему невозможно?

— Вы подумайте! — она вырвала свои руки. — Вы же шутите!

Лешек нахмурил брови.

— Ты не веришь мне?

— Нет-нет, я верю, но разве вы подумали... Боже! Представляю себе, что будет! Ваши родители... А эти здесь, в городке... Они отравят вам жизнь, заклюют... Возненавидят меня... Чинский кивнул головой.

— Да, разумеется. Я все это предвидел. Знаю, что нас ждет много испытаний, преследований, насмешек. Но, имея право выбора, я согласен ради тебя на любые трудности, ведь я люблю тебя. Но если ты этого не понимаешь, значит я ошибался и ты меня не любишь.

Она с укором посмотрела на него.

— Я?.. Я вас не люблю?..

— Марысенька!

Он заключил ее в объятия и осыпал поцелуями. Его пылкость и сила, с которой он привлекал ее к себе, парализовали Марысю. Ей не хотелось защищаться, да она и не могла, потому что в эти минуты она была безмерно счастлива. Она могла поклясться, что с сотворения мира ни одна девушка не испытывала такого счастья.

Если раньше в ее мыслях и появлялись незначительные упреки в адрес Лешека, то сейчас от них не осталось и следа. Конечно, она не верила в реальность их брака. Но уже то, что он решился на такой шаг, преодолел себя и ради нее готов идти на лишения, свидетельствовало о его благородстве, о глубине чувств, об исключительности его натуры. Если бы у нее спросили сейчас, существует ли человек более достойный, она бы с чистой совестью сказала, что лучше Лешека нет никого.

Для него не было секретом, что по нему вздыхают самые богатые и самые красивые девушки, что лучшие дома жаждут заполучить его в зятья, что немногие молодые люди могут равняться с ним по знатности, богатству и образованию. Иногда, в разговоре он упоминал фамилии титулованных приятелей, подчеркивая свою принадлежность к высшему свету и пренебрежительно отзывался о людях из городка.

И вдруг этот светский юноша решил жениться на ней, бедной, безродной сироте, которую даже в глухом, захолустном городке считают приبلудой, не имеющей ни друзей, ни гроша за душой.

Правда, среди других местных девушек ее отличало хорошее образование и воспитание. Но разве ее воспитания, образования и манер достаточно, чтобы быть принятой в его среде?..

Отец, которого она потеряла еще ребенком, кажется, был врачом, а отчим, которого она любила, как отца, был только лесничим, скромным чиновником в поместье. Зато мать, действительно, происходила из знатного рода, но здесь ее знали как бедную учительницу музыки и языков, а позднее только как швею.

Разве такие люди, как супруги Чинские, вращающиеся в аристократических кругах, где большое внимание придается происхождению и родословной, смогли бы согласиться с таким браком их сына?..

Придя в себя, Марыся начала говорить об этом Лешеку. Он слушал внимательно, не прерывал, а когда она закончила, сказал:

— Какое все это имеет значение, если мы любим друг друга?

— Никакого. Я буду любить вас всегда, вас, единственного, до самой смерти! — прошептала она едва слышно. — Я готова на любую жертву, на любое унижение. Ноты...

— Что я? — почти с гневом спросил Лешек.

— Ты... это сделает тебя несчастным, разочарует, сломит...

Он вскочил.

— Марыся! Марыся! Как тебе не стыдно! Ты оскорбляешь меня! Как ты можешь не верить в мои силы?..

— Нет, не в этом дело, — возразила она, — я верю в тебя! Но не имею права подвергать таким испытаниям. Я не хочу стать для тебя обузой. Я и так уже очень, очень счастлива...

— Вот это хорошо. Ты уже счастлива, а обо мне не подумала! Да?.. Я могу и дальше быть несчастным, потому что ты вбила себе в голову, будто можешь стать для меня обузой!

Постыдилась бы! Чтобы такая интеллигентная и рассудительная панна говорила подобные глупости! И вообще, кто дал тебе право решать мою судьбу? Она не имеет права подвергать меня испытаниям! А я хочу, я должен и точка! Или ты считаешь меня маменькиным сыночком, который всю жизнь должен держаться за ее юбку? Неужели мир так тесен, чтобы в нем не нашлось для нас места? Не бойся! Ты меня еще не знаешь. Я в состоянии постоять за себя. Вот увидишь!

Он улыбнулся и снова привлек ее к себе.

— Хотя бы ты не осложняй мне борьбу за наше счастье. Иначе доведешь меня до безумия, и я пушу себе пулю в лоб!

— Лешек! Родной мой, любимый, — она нежно обвила руками его шею.

— Вот увидишь, моя Марысенька, мы будем самой счастливой парой!

— Да, да, — она прижималась к нему, не в силах думать, протестовать. Она верила ему и он развеял все ее сомнения.

Лешек достал из кармана маленькую коробочку, а из нее извлек перстенок с сапфирами.

— Это мой охранный знак, — весело сказал он, надевая перстенок ей на палец. — Чтобы помнила, что являешься моей неделимой собственностью.

— Какой красивый!

— У этих камешков цвет твоих глаз, Марысенька.

Она долго присматривалась к перстенечку, наконец с удивлением и благоговением произнесла:

— Так значит я... обручена?..

— Да, милая, ты моя невеста.

— Невеста... — повторила она и с грустью добавила: — Но я не могу подарить тебе кольца... Нет у меня. Последнее мамино продали, чтобы оплатить похороны. Оно тоже было с сапфирами, и мама очень любила его, хотя оно было намного скромнее этого перстня.

В ее глазах появились слезы.

— Не вспоминай о грустном, — сказал Лешек. — А я и без обручального кольца не забуду, что я уже пленник, самый счастливый пленник, который вовсе не жаждет освобождения.

— Боже! Боже! — прошептала она. — У меня кружится голова. Это так неожиданно... Он рассмеялся.

— Так ли неожиданно? Ведь мы знакомы около двух лет.

— Да, но разве могла предположить, что все закончится таким образом!

— Все будет в порядке.

— Просто не верится, что это не сон. И... правда, мне страшно...

— Чего ты боишься, Марысенька?

— Что... что все это развеется, исчезнет, что нас разлучат.

Лешек взял ее за руку.

— Конечно, мое сокровище, мы должны быть предельно осторожными, мы должны остерегаться любых интриг. Поэтому все следует сохранять в тайне. Никто, абсолютно никто не должен знать о нашем обручении. Я уже придумал план. Когда я приведу его в исполнение, мы сразу поженимся. И тогда, пусть все хоть на голове стоят, ничего не добьются. Только помни: главное молчание!

Марыся улыбнулась.

— Я и так никому бы не сказала, ведь высмеют только, никто не поверит. Неужели вы думаете, пан Лешек, что у меня есть кому излить душу? Разве что только один дядя Антоний...

— Знахарь с мельницы?.. Нет, ему тоже ничего не говори. Хорошо?

— Клянусь.

И Марыся сдержала свое обещание. Сдержала, хотя, скажи она всю правду, не случилось бы многих неприятностей.

Неприятности начались с приходом в магазин пани Шкопковой. Женщина по натуре добродушная, она, очевидно, поддалась настроению, царившему в Радолишках. Застав в магазине пана Лешека, она демонстративно села за прилавком, тем самым давая понять, что быстро уходить не собирается. Когда молодой человек уехал, она гневно набросилась на Марысю:

Опять за свое! И когда же ты, наконец, опомнишься! Вот какой благодарности я от тебя дождалась за хлеб и ласку!

— Боже правый! — умоляюще посмотрела на нее Марыся. — Что же я вам плохого сделала?

— Что плохого? — взорвалась пани Шкопкова. — А то, что скоро весь город начнет в глаза говорить, что у меня в магазине дом свиданий! Что плохого?.. А то, что это все происходит в моем магазине!..

— Но что происходит?!

— Разврат! Да, разврат! Позор! Для того я тебя растила? Для того заботилась о тебе, чтобы сейчас во всем меня попрекали?.. Чего этому барчуку, донжуану и вертопраху здесь нужно?.. Марыся молчала. Пани Шкопкова выдержала паузу и ответила на собственный вопрос:

— Так я тебе скажу, чего ему надо! Я тебе скажу! Он охотится за твоей невинностью! Вот что! Он хочет тебя своей любовницей сделать! А ты, глупая, еще глазки ему строишь и заманиваешь этого типа на собственную погибель, на собственный позор! А знаешь, что тебя ждет, если

поддашься искушению? Нищенская жизнь и тяжелая смерть, а после смерти вечное проклятие! Если собственного ума еще нет, то слушай меня, старую! Ты что думаешь, я просто так языком болтаю? Для собственного удовольствия? Пусть собакам такое удовольствие останется. У меня сердце болит, будто кто ножом колет. Прибегает ко мне сегодня эта ведьма Кропидловская и орет: «У тебя что глаза повывлазили? Неужто не видишь, что этот, как его там, мотоцикл снова возле магазина стоит?.. Как же это ты позволяешь своей воспитаннице такое распутство? Или она забыла про кару Господню?» Так я ей отвечаю:

— Дорогая пани Кропидловская, это, извините, не ваше свинячье дело! А вообще, если хочешь правду знать, я занята. Видишь: тесто в макитре прет через верх — мне что, по-твоему, бежать в магазин? А она мне на это: «Смотри, уважаемая пани Шкопкова, пока ты будешь следить, как твое тесто растет, у твоей воспитанницы тем временем известное место вырастет!» Как услышала это, так вся и похолодела! Чуть руки-ноги не отнялись, и все из-за тебя! Так-то ты за мою доброту, за мое сердце платишь... Всякая мерзавка мне тобой глаза колет... На старости лет...

Пани Шкопкова расчувствовалась и захлюпала носом.

Марыся взяла ее руку и хотела поцеловать, но хозяйка, видимо, рассердилась не на шутку, потому что вырвала руку и закричала:

— Твои извинения не помогут!

— Пани, а за что же я должна извиняться? — отважилась спросить Марыся.

— За... за что?.. — у пани Шкопковой аж дыхание перехватило.

— Ну да. Такой человек, как пани Кропидловская, во всем найдет что-то плохое. А тут ничего плохого нет. Пани очень несправедливо осуждает пана Чинского. У него нет дурных намерений. Это очень порядочный и интеллигентный человек.

— Из кармана ни у кого не выгащит, — гневно прервала ее пани Шкопкова, — но если дело касается девушки, то все мужчины одинаковые свиньи.

— Совсем нет. Другие, может быть. Не знаю, но он не такой.

— У тебя еще молоко на губах не обсохло, вот что! Я тебе говорю: выгоняй барчука, если хочешь сохранить доброе имя и мое расположение, добавила она.

— Как же я могу его выгнать? Сказать, чтобы он не приходил в магазин?

— Да, именно так.

— Он, в свою очередь, ответит, что это не мой магазин и зайти в него имеет право любой человек.

— Зайти, но не болтать часами.

— Так я скажу, что пани не желает, чтобы он приходил.

— Можешь и так сказать.

— А что будет, если он оскорбится? Если Чинские перестанут у нас покупать, так, как это случилось с Войдыло?

Пани Шкопкова нахмурилась. Этого обстоятельства она сама опасалась больше всего, и аргумент, хотя и не очень искренний, но вовремя выдвинутый Марысей, сделал свое дело.

— Да, — проворчала она, — так нельзя. Но что ты мне морочишь голову? Будь любезна избавиться от нею!

— Скажите, как, — упиралась Марыся.

— Я тебя научу! — прекратила дискуссию пани Шкопкова, решив пойти за советом к ксендзу.

Дни летели нескончаемой чередой. Молодой инженер ежедневно, хоть на полчаса, заезжал к Марысе. Правда, в магазине он сидел теперь меньше, чем прежде, но лишь потому, что у него не было времени. К удовлетворению родителей он начал работать на фабрике. Лешек последовательно вникал в тонкости бухгалтерского учета, управления, производства, закупки сырья и реализации. Он что-то рассчитывал, делал пометки в блокноте и мимоходом, в разговоре с родителями, предложил несколько толковых проектов реорганизации фабрики. Отец не скупился на похвалу, мать же молчала, что являлось у нее высшей степенью одобрения. Однажды после обеда она спросила:

— Лешек, не собираешься ли ты помогать нам в управлении фабрикой?

— Да, мама, собираюсь, — кивнул он головой. — Но при определенных условиях.

— Какие же это условия?

— Хочу упорядочить свою жизнь.

— Как ты это понимаешь?

— Очень просто. Я должен знать круг своих обязанностей, пределы компетенции, словом свое место. И должность.

Пани Элеонора посмотрела на него не без удивления.

— Но ты же наш сын.

— Я счастлив, — поклонился он с улыбкой, — но это не определяет мое положение. Видишь ли, мама, я во всем люблю ясность, особенно когда дело касается меня лично. До настоящего времени я брал из вашего кармана столько, сколько хотел. Сейчас я хочу работать и получать постоянный оклад. Я не предлагаю, чтобы вы полностью доверили мне управление фабрикой. Ну, скажем, поручите мне руководство производственным отделом.

— Да и сейчас ничего не мешает тебе...

— Конечно. Можете считать меня чудачком, но я не смогу, не хочу, ну и не буду работать иначе. Я знаю, что ты мне скажешь, мама. Ты скажешь, что я являюсь вашим наследником, что все когда-нибудь станет моей собственностью и что было бы смешно занимать должность на предприятии своих родителей. Но, видите, для счастья, спокойствия и для собственного удовлетворения мне нужна личная независимость. Я должен иметь свою работу, свою должность и свои деньги. И это мое условие.

Пан Чинский сделал неопределенный жест рукой.

— Условие несколько странное, но, в конце концов, не вижу причины, чтобы считать его невозможным.

— Зачем тебе это? — резко спросила пани Элеонора, испытующе глядя в глаза сына.

— Тебя удовлетворит, мама, если я скажу, что мне нужна самостоятельность?

— Самостоятельностью можно очень плохо воспользоваться.

— Разумеется. Но вы можете обезопасить себя предварительными условиями. Например, если подтвердится, что я не справляюсь со своими обязанностями, что продукция качественно или количественно ухудшается, что организационные вопросы не решаются, что по моей вине возникают потери, вы можете освободить меня от занимаемой должности.

Пан Чинский рассмеялся.

— Ты говоришь так, будто нам следует заключать с тобой формальный договор.

— А почему бы и нет? — продемонстрировал удивление Лешек. — Конкретное положение сторон облегчает взаимоотношения. Я хочу быть обычным работником, таким, как пан Гавлицкий или Слупек: у них ведь контракты. В них оговорены оклады, жилье и премиальные. Я не вижу причин, по которым вы могли бы мне отказать в этом.

Воцарилась тишина. Лешек чувствовал, что через минуту с уст матери снова сорвется вопрос: «Зачем тебе это?..»

Откашлявшись, он добавил:

— Обязательным и добросовестным работником я смогу быть лишь в том случае, если буду связан договором. Иначе я всегда буду помнить, что являюсь сыном хозяев и что мне все сойдет с рук. Вам следует радоваться, что я сам решил остепениться.

— Хорошо, — ответила пани Элеонора, задумавшись. — Мы подумаем об этом.

— Благодарю вас, — Лешек встал, поцеловал руку матери, попрощался с отцом и вышел.

Он всячески старался доказать, что стал другим человеком, но в душе дрожал при мысли, что мать догадается о его намерениях и тогда категорически откажет. Поэтому, чтобы отвести от себя подозрения, он начал бывать в домах местных сливок общества, навещать даже дальних соседей, а по возвращении домой рассказывать новости и давать подробное описание внешности и характеристику панн, с которыми проводил время. Родителей это должно было утвердить во мнении, что стабилизация, которой он так активно добивался, связана с его планами устройства семьи и, естественно, с поисками невесты.

В Радолишки из Людвикова вела дорога с твердым покрытием. Однако, сделав крюк в десять километров, можно было добраться до городка по проселку, что вел на Божичек или Вицкуны.

И Лешек, соблюдая все меры предосторожности, с этого времени пользовался только этой дорогой. Прямо в Радолишки он ехал лишь в том случае, если свое пребывание там мог обосновать необходимостью сделать покупки. И тогда уж он мчался как сумасшедший, чтобы урвать лишних пятнадцать минут для общения с Марысей.

Занимаясь фабрикой, Лешек освобождался чаще всего в послеобеденное время, поэтому иногда встречал в магазине знахаря с мельницы. Он немного побаивался этого серьезного бородача с печальными глазами и могучими плечами. Он был уверен, что знахарь смотрит на него

недоброжелательно и даже угрожающе, хотя Марыся заверила его, что это самый замечательный человек на свете.

— Может быть, он испытывает некоторое недоверие к тебе, но ты сам в этом виноват. Если бы ты позволил рассказать ему о нашей помолвке, я уверена, он сразу же полюбил бы тебя.

— Нет, я предпочитаю осмотрительность, — усмехнулся Лешек. — А проявлений его симпатии готов подождать. Многого не потеряю!

Марыся осуждающе посмотрела на него.

— Лешек! Нехорошо насмехаться над благороднейшим человеком и моим большим другом.

— Извини, любовь моя. Но ты знаешь, вряд ли стоит уделять ему столько внимания. Может быть, этот знахарь и является образцом благородства, возможно, он, действительно, лечит, во что я не очень, правда, верю, но он ведь простой мужик. Зачем тебе эта дружба с простолюдином? Она покачала головой.

— Зачем эта дружба?.. Видишь ли, Лешек, у тебя есть родители, и ты не знаешь, что значит быть сиротой, не иметь никого, абсолютно никого. Тогда каждая рука, протянутая с помощью и состраданием, пусть огрубевшая от работы, самая натруженная, — это большое сокровище. Бесценный клад. Ты этого не поймешь!

— Но я понимаю, Марысенька, понимаю, — устыдился Лешек. — И черт меня возьми, если я не вознагражу достойно того, кто мою единственную, мою самую драгоценную... Я его люблю. Марыся рассказала ему о том, что пообещал ей знахарь, когда она испугалась, что потеряет работу у пани Шкопковой.

— Сейчас ты понимаешь, какое у него сердце?

Лешек был потрясен.

— Да! Исключительной доброты человек! Но и мы будем не хуже. Пусть только все у меня устроится, и он получит в Людвикове приличный дом и пожизненную пенсию. Знай, Марыся, кто уберет камешек из-под ног твоих, тому обеспечена безграничная моя благодарность. При первой же встрече я дам ему немного денег...

Марыся рассмеялась.

— Ты его совсем не знаешь. Он вообще денег не берет, лечит в основном бесплатно. Кроме того, ты ведь сказал, что это простой мужик. Так вот представь себе, что у меня на этот счет очень большие сомнения.

— Это почему?

— Представляешь, мне кажется, что он знает французский язык.

— Мог быть в эмиграции. Много мужиков ездило на работу во Францию.

— Нет, — возразила Марыся. — В таком случае он умел бы только говорить по-французски, а он читал и к тому же стихи. Только не проговорись в его присутствии, ради Бога, что знаешь об этом.

— Почему?

— Потому что одно только воспоминание об этом производит на него тяжелое впечатление!

Я убеждена, что в его жизни кроется какая-то большая тайна.

— Ты предполагаешь, что это интеллигентный человек, скрывающийся под одеждой простолюдина?

— Не знаю, скрывающийся ли. Я готова поклясться, что такой человек не мог совершить ничего бесчестного, вынудившего прятаться. Но он интеллигентный человек. Обрати внимание на выражение его глаз, на некоторые движения, на манеру разговаривать. Возможно, мне кажется, но когда я разговариваю с ним, у меня такое чувство, что умственно он стоит значительно выше меня.

— Бывают умные мужики, — заметил Лешек и задумался. — Есть! Это очень простой способ. Мы легко можем проверить и установить, интеллигент он или мужик. Нужно только найти к нему разумный подход.

— Лешек! Но я ни за что на свете не хочу...

— Знаю, знаю! У меня тоже нет таких намерений. Я не собираюсь вторгаться в его тайну, если она вообще существует. Я хочу только проверить свою мысль. Ручаюсь, он даже ничего не заметит.

— Все равно, — недовольно сказала Марыся. — Это нехорошо.

— Как хочешь. Можно обойтись и без этого, — согласился Лешек.

Но согласился он только внешне и решил при первом же удобном случае провести опыт. Он очень любил раскрывать всякие тайны. Еще в раннем детстве зачитывался Королем Меем, а позднее рассказами Конан Дойла. Иногда даже ребусы пленяли его.

Метод, который пришел ему в голову, был до смешного простым. В разговоре со знахарем нужно было употребить несколько таких слов, которых простой мужик знать не может. Если он поймет смысл фразы или вопроса, станет совершенно очевидно, что он не тот, за кого себя выдает. И только тогда можно будет продвинуться дальше в расследовании причин...

В один из ближайших дней, проезжая окольной дорогой в Радолишки, Лешек встретил знахаря, возвращающегося из городка. Заглушив мотор, он поздоровался и, указывая на пучок каких-то трав, собранных, по всей вероятности, в придорожных канавах, спросил:

— А от какой болезни это помогает, пан Косиба?

— Это дудник. От сердца помогает, — вежливо, но холодно ответил знахарь.

Чтобы смягчить его и склонить к дальнейшей беседе, Лешек рассмеялся.

— А вы не знаете, какое лучше лекарство от любви?

Знахарь поднял глаза и четко произнес:

— Для любви, молодой барин, лучше всего — порядочность.

Он приподнял шапку и пошел дальше. Лешек с минуту стоял неподвижно, ошарашенный ответом, которого не ожидал, потом догадался, о чем хотел сказать ему знахарь и проворчал себе под нос:

— М-да... В уме и сообразительности ему не откажешь!

Приехав в городок, он рассказал Марысе о встрече и добавил:

— Должен признаться, что знахарь сконфузил меня, хотя я и не заслужил.

— Но он ведь об этом не знает, — заметила Марыся.

— Разумеется. Но мне чертовски хотелось выложить ему всю правду. А вообще меня мучит эта тайна. Охотнее всего я растрюбил бы о нашей помолвке на каждом перекрестке, но еще нельзя. Поспешность перечеркнула бы мои планы.

Сейчас Лешек старался не только в Людвикове, но и в Радолишках не привлекать внимания обывателей к своим визитам. Иногда он оставлял мотоцикл возле корчмы или во дворе у Глазера, торговца лошадьми, а в магазин приходил пешком. Все-таки это не так бросалось в глаза.

По всей вероятности, до Людвиков не доходили новые сплетни, так как родители не вспоминали ни о чем: наоборот, они доброжелательно присматривались к работе сына на фабрике. К прежнему разговору больше не возвращались. Не начинал его и Лешек, опасаясь, что в его нетерпении могут усмотреть причины, побуждающие его вести себя подобным образом.

Однажды в пятницу он снова встретился со знахарем Косибой, на этот раз в магазине. Старик разговаривал с Марысей, и, когда Лешек входил, на бородатом крупном лице знахаря еще светилась улыбка. Вероятно, он был в хорошем настроении, и Лешек решил воспользоваться случаем, чтобы провести намеченный эксперимент. Он поздоровался со знахарем предельно вежливо и даже добросердечно, а потом как бы невзначай спросил:

— Пан родом из Крулевства, однако он не тоскует по родным краям?

— Там у меня никого не осталось, поэтому и не тоскую.

— Странно. Я еще слишком молод и не имею опыта, но от старших слышал, что на чужбине их мучила ностальгия. Пан не чувствует ее?

— Чего? — у знахаря задрожали веки.

— Ностальгии, — повторил Лешек.

— Нет, — покачал головой знахарь. — Здесь та же земля, не чужбина.

Ответ не совсем развеял сомнения Лешека, и он заметил:

— Да, но другие люди, другие обычаи. Зачастую непросто акклиматизироваться на новом месте.

Знахарь пожал плечами.

— Я странствовал по всей стране. Мой дом везде и нигде.

Но и это не удовлетворило Лешека. Смысл незнакомого слова знахарь мог понять из целой фразы. Следовало построить вопрос поточнее.

— Я слышал, здесь люди относятся к вам хорошо. У вас большая фреквенция?

Косиба кивнул головой:

— Да. Больше всего весной и зимой, летом меньше болеют.

У Лешка сильнее забилось сердце. Сейчас он был уже почти уверен, что предположения Марыси оказались верными, но заметил еще:

— Вы бы собрали целое состояние, если бы не были таким филантропом.

Знахарь или не понял, что его экзаменуют, или ему это было безразлично. Как бы то ни было, он добродушно улыбнулся.

— Это не филантропия, — сказал он. — Просто для меня важно помочь страдающим, а состояние... меня не интересует, но вам, богатому, это трудно понять.

— Почему?

— Потому что богатство одурманивает. Богатство добывается для служения какой-то цели, оно должно стать средством в ее достижении. Но когда оно добыто, то затмевает собой все на свете и подчиняет себе самого человека.

— Значит, оно из средства достижения цели становится самоцелью?

— Да, конечно.

— Исходя из этого принципа, вообще небезопасно иметь что-нибудь, поскольку человек может стать невольником своей собственности?

— Да-да, — мягко согласился знахарь. — Но опасность появляется только тогда, когда человек этого не понимает, когда забывается.

Марыся молча прислушивалась к беседе и догадывалась, что Лешек затеял ее неспроста. Сейчас она не сомневалась в правильности своих предположений: знахарь Антоний Косиба не был простым мужиком. В свое время он получил образование и вращался в среде образованных людей. К такому же выводу пришел и Лешек.

После того как знахарь ушел, он сказал:

— Ты знаешь, это поразительно! Этот человек мыслит абстрактными категориями, понимает логику и четко знает значение таких терминов, которых простые люди никогда не употребляют. Могу поклясться, что здесь, действительно, кроется какая-то тайна.

— Вот видишь!

— Но не это сейчас меня интересует. — продолжал Лешек. — Больше всего меня поражает другое. Этот человек, несомненно, очень интеллигентен. Предположим, что по каким-то неизвестным причинам он решил выдавать себя за мужика. Наверное, ему так нужно, поскольку он продолжает жить, как мужик, работает, как мужик, одевается и даже разговаривает, как мужик. И вдруг он позволяет втянуть себя в разговор, который выдает его с головой! Именно это совершенно непонятно! Как же так? Столько сделать, чтобы сходить за простолюдина, и попасть в откровенную западню! Что-то тут не то! Похоже, что ему не надо больше скрываться. Черт возьми! Меня увлекла эта загадка!

Марыся взяла его за руку.

— Вот видишь, какой ты нехороший, а ведь обещал, что не будешь заниматься этим. Я не прошу тебе никогда, если из-за нас у дяди Антония будут какие-нибудь неприятности.

— Успокойся, родная. Этого не случится. Даже если я что-нибудь узнаю, это останется нашей тайной. Но разве у нас есть время заниматься сейчас чужими делами? Милая! Кстати, как поживает твой дневник?

Прошлый раз Марыся пообещала Лешку принести свой дневник, описывающий почти каждый день ее жизни еще с детских лет, но заброшенный года три тому.

Она подала ему толстый том в полотняном переплете.

— Я хотела, чтобы ты прочел, — сказала Марыся, покрываясь румянцем. Но, прошу тебя, не смейся надо мной. Я была когда-то очень глупенькой и... не знаю, стала ли умнее с тех пор.

— Ты самая умная девушка, которую я встречал, весело и торжественно заверил Лешек Марысю. — То, что ты оценила меня, — лучшее тому доказательство.

— Если таков твой критерий ума, — рассмеялась она, — то ты предстаешь не в лучшем свете, потому что выбрал такое ничтожество, как я.

— Это маленькое ничто для меня составляет все.

В тот же вечер, улегшись в постель, Лешек открыл дневник на первой странице и начал читать. «Меня зовут Мария Иоланта Вильчур. Мне десять лет. Мой первый папа умер, а со вторым папой и мамой мы живем в нашем любимом домике лесничего в самом центре огромной Одринецкой пуши...»

Неумелые кривые букочки складывались в обычные, простые слова, которые вытягивались в волнистые линии и покрывали страницу за страницей. Лешек невольно начинал улыбаться, и его глаза увлажнились, когда он вчитывался в эти дорогие, бесценные листочки, которые раскрывали перед ним ее маленькие радости, трогательные детские переживания, светлую, чистую душу, такую нежную и чувствительную. Странички дневника провели его через детство и девичество Марыси, помогли понять ее и полюбить еще больше.

## Глава XII

Окрашенные багрянцем листья начали тихо облетать с кленов. Стояла ранняя, теплая, солнечная осень. В будние дни крестьяне запахивали поля под озимые, трактором тянулись фурманки, нагруженные тяжелыми мешками, но в воскресенье движение на полях и дорогах замирало. Слышно было лишь стрекотание кузнечиков, изредка птица, шумно хлопая крыльями, взлетала над стерней, дорогу нет-нет, да неторопливо перебегал жирный заяц. Идиллическую тишину окрестных полей разорвал резкий треск мотора. Мотоцикл проскочил поворот на мельницу и свернул с тракта на боковую дорогу, вьющуюся между зарослями. Молодой Чинский ездил быстро, но был опытным водителем, и Марыся, которая сперва побаивалась ездить с ним, уже освоилась и сейчас чувствовала себя на заднем сиденье в полной безопасности. На крутых поворотах она лишь крепче держалась за Лешка.

Дорога вела в Вицкунский лес. Они приезжали сюда каждое воскресенье. Обычно после обеда Марыся выходила на дорогу за городом, и здесь они встречались — подальше от людских глаз. В этих местах редко кого можно было встретить, да Марыся и не опасалась, что ее узнают: зеленый комбинезон, шлем и очки изменяли ее до неузнаваемости. До леса было около шести километров. Там они проводили время до вечера, а когда начинало смеркаться, Лешек отвозил Марысю под Радолишки, а сам окружной дорогой возвращался в Людвиково.

Следовало сохранять осторожность как можно дольше, потому что злые языки перемыли бы Марысе косточки, узнай они, что она ездит в лес с молодым инженером.

В последнее воскресенье, помогая Марысе застегнуть комбинезон, Лешек сказал:

— Это наше последнее тайное свидание.

Его голос звучал решительно.

— Почему последнее? — спросила Марыся.

— Потому что завтра мы объявим всем, что помолвлены.

Марыся замерла.

— Что ты, Лешек! — прошептала она.

Ее вдруг охватил ужас перед тем, что рано или поздно должно было наступить. Конечно, она безгранично верила жениху, но все-таки глубоко в подсознании, словно сом в омуте, ворочалось неясное и тревожное предчувствие. Она не хотела задумываться над будущим, ибо настоящее было так прекрасно, а любые перемены несли с собой тревогу и беспокойство.

— Садись, любовь моя, — поторопил Лешек, — сегодня мы должны успеть переговорить о многом.

Она молча заняла место сзади. Плотный поток встречного воздуха всегда немного пьянил ее, но сегодня Марыся была почти в бессознательном состоянии. Она не предполагала, что развязка наступит так быстро, хотя и не знала, от чего зависело объявление об их помолвке. Да и откуда ей было знать, если Лешек после глубоких раздумий решил не посвящать ее в свои планы.

Все решилось еще вчера, и сейчас у него в кармане лежал юридический документ — нотариально заверенный контракт. По трехлетнему контракту молодой Чинский получал на фабрике должность руководителя производственного отдела с не очень высоким, но вполне приличным окладом.

Он поступил не совсем достойно, выцганив у родителей такой контракт. Но был вынужден пойти на это ради своего будущего и будущего Марыси. Опасаясь, и не без основания, что девушка откажется пользоваться благами, полученными таким способом, Лешек предпочитал не посвящать ее в детали своего плана.

Сам Лешек не был в восторге от своей идеи, но и не чувствовал угрызений совести. В конце концов, это была борьба за жизнь, борьба за счастье его и счастье любимой девушки. Он запланировал, что в понедельник объявит родителям о своем окончательном решении жениться на Марысе. Тогда, разумеется, они поймут, почему он настаивал на контракте.

— Да, — скажет он им, — это правда. Я предвидел, что вы захотите помешать мне, что, ставя кастовые предрассудки выше счастья собственного сына, постараетесь заставить меня изменить свое решение, используя все доступные вам средства. Поэтому я, естественно, предпринял некоторые контрмеры. Собственно, я ничем не злоупотребил. В течение трех лет вы будете выплачивать мне оклад, но не просто так, а за работу, за добросовестный и обязательный труд. А сейчас выбирайте: или вы соглашаетесь с ситуацией, знакомитесь с моей будущей женой и принимаете ее как нового члена семьи, или исключаете из семьи и меня.

Он знал заранее, что родители без борьбы не сдадутся, знал, что посыплются просьбы и угрозы, что будут слезы и оскорбления; дело, действительно, может дойти до разрыва отношений и открытой войны, но к этому он был готов.

В глубине души, однако, у Лешека теплилась надежда, что ему все же удастся получить их согласие на брак. Важно только, чтобы они согласились познакомиться с Марысей. Он был уверен, что ее обаяние, интеллигентность, доброжелательность и другие достоинства, которых он не встречал у большинства девушек, лучше любых слов смогут убедить родителей согласиться с выбором сына.

Во всяком случае он был готов ко всему и в зависимости от того, как воспримут родители его завтрашнее заявление, составлял дальнейший план действий.

Так или иначе, с завтрашнего дня Марыся должна была оставить работу в магазине. Если родители одобряют решение сына, то она сейчас же переедет в Людвиково. Если нет, то до регистрации ей придется уехать в Вильно. Лешек и там все приготовил: она пожила бы месяц у Корчинских — Вацек был школьным товарищем Лешека, — и пани Корчинская искренне бы заботилась о невесте Лешека, которого очень любила.

Оставалось обсудить с Марысей дела, касающиеся отъезда и расставания с прежней опекуной. Как бы то ни было, Марыся еще несовершеннолетняя, и эта Шкопкова, хотя Лешек не принимал ее серьезно в расчет, могла создать какие-нибудь трудности. Кроме того, в случае отъезда в Вильно возникал еще один деликатный вопрос: он не знал, согласится ли Марыся, у которой наверняка нет собственных денег, взять у него необходимую сумму, пусть даже и небольшую. Пани Корчинская в Вильно займется гардеробом Марыси сама.

Обо всем этом размышлял Лешек, сидя за рулем мотоцикла. Устроившаяся сзади Марыся тоже была погружена в свои мысли. Дорога, как обычно в воскресенье, была пустынной. Только у мосточка они встретили крестьянскую телегу, которую тянула маленькая лошадка. Лошадь испугалась мотоцикла и бросилась в сторону. Хозяин был, наверное, пьян — вместо того, чтобы вовремя натянуть вожжи, он вывалился из телеги в придорожную канаву. Его пассажир последовал за ним. Столб пыли, поднятый мотоциклом, тут же закрыл эту картину. Лешек не остановился, но Марысе показалось, что на телеге сидела знакомая фигура.

И она не ошиблась: это был Зенон Войдыло. Когда мотоцикл исчез за поворотом в клубах пыли, Зенон выбрался из канавы и, угрожая кулаком, прохрипел вслед несколько крепких проклятий. Он был совершенно пьян.

Но ни Марыся, ни Лешек этого уже не слышали. Дорога постепенно расширялась и вливалась в старый высокоствольный лес.

Они добрались до небольшой полянки и разбили там свой маленький лагерь. Нехитрое угощение состояло из фруктов и нескольких плиток шоколада. Оставив припасы возле спрятанного в кустах мотоцикла и взявшись за руки, они пошли на край глубокого, обрывистого оврага, на дне которого протекал узенький черный ручеек. Часто сидя тут в тишине, они видели, как сюда на водопой приходили косули. Но сегодня они разговаривали, а их голоса далеко разносило эхо, которого пугались животные.

— Родная моя, — говорил Лешек. — Близится конец нашим невзгодам. Через месяц мы поженимся. Представляю себе выражение лица почтенного ксендза, когда мы придем, чтобы оплатить церемонию. Будет сенсация!

Лешек, предвкушая незабываемое зрелище, потер руки и удивленно посмотрел на Марысю.

— Ты чем-то огорчена?

— Видишь ли, — вздохнула она, — для меня это будет очередным испытанием. Можешь себе представить, что скажут люди.

— Что они могут сказать?

— Что выхожу за тебя ради денег, положения, что нашла хорошую партию, что удалось поймать такого мужа...

Лешек покраснел.

— Глупости! Как ты можешь допускать такое?

— Ты ведь сам знаешь, что именно так и будет.

— Значит, придется им ответить, — взорвался Лешек, — что они болваны. Меряют всех по собственной мерке! Не бойся, я сумею защитить свою жену хоть от самого дьявола! Если такое мерзкое слово, как выгода, вообще уместно в данной ситуации, то только я получаю выгоду, женившись на тебе. Да, я не могу и не хочу жить без тебя, и, уверен, ты вышла бы за меня, будь я каким-нибудь Риптиковским, простым рабочим, да еще без гроша в кармане.

Марыся прижалась к нему.

— И не ошибся бы. Конечно, лучше бы ты не был богатым.

— Но я беден, радость моя. У меня ничего нет. Все принадлежит моим родителям и зависит от их прихоти. У меня есть только должность на фабрике в Людвикове и небольшой кабинетик. И все. Так что, видишь, никакой для тебя выгоды. Самым большим моим сокровищем будешь ты... Сокровищем, которое я никому не отдам...

Он с любовью всматривался в ее склоненную головку, в золотистые отблески солнца на гладко причесанных волосах, в нежные очертания ее профиля.

— Ты даже не знаешь, какая ты красивая. Я видел тысячи женщин. Тысячи. Я видел тех известных красавиц, которым поклоняется весь мир, разных кинозвезд, но ни одна из них не могла бы сравниться с тобой, ни у кого нет такого обаяния. Ты не знаешь, что каждое твое движение, каждая улыбка, каждый взгляд — это произведение искусства. В этих паршивых Радолишках и то смогли разобраться в тебе! А когда я введу тебя в высшее общество, все потеряют головы! Вот увидишь! Самые известные художники будут добиваться возможности написать твой портрет. Иллюстрированные журналы будут печатать твои фотографии!

— О Боже! — улыбнулась она. — Как ты преувеличиваешь!

— Нисколько! Сама увидишь, а я буду ходить как король. Я знаю — это тщеславие, но кто из мужчин не обладает этим пороком? Его радует и наполняет самодовольством то, что у него такая женщина, из-за которой все сходят с ума.

Марыся покачала головой.

— Даже если кто-то и найдет во мне нечто привлекательное, это еще не основание для зависти. При мысли, что я скомпрометирую себя дурными манерами, неумением вести себя в обществе и глупостью, меня охватывает настоящий ужас.

— Марыся!

— Неужели ты думаешь, что твои знакомые забудут, что я была девушкой из магазина пани Шкопковой? Я постоянно буду предметом всеобщего любопытства, потому что я и в самом деле обыкновенная замарашка, наивная провинциалка. В твоей среде я не сумею двигаться, не сумею разговаривать: ведь у меня почти нет образования. Правда, мама хотела подготовить меня к экзамену за среднюю школу, но, как ты знаешь, не успела. Ты женишься на простолюднике.

В ее голосе звучала грусть. Лешек нежно взял ее за руку и спросил:

— Скажи, Марысенька, ты считаешь меня наивным глупцом?

— Ну что ты! — запротестовала она.

— Но ты считаешь, что по своим запросам и уровню развития я стою значительно ниже своих друзей и близких? Судя по твоим словам, это именно так. Я, как последний глупец, беру тебя в жены, очарованный теми достоинствами, которых в тебе нет, и только они, увидев тебя, откроют мне глаза на мои ошибки.

— Нет, Лешек, — возразила она. — Ты смотришь на мои недостатки снисходительно, потому что любишь меня.

— Значит, они тебя тоже любят.

— Дай-то Бог.

— А свои недостатки ты придумала. Я бы пожелал всем девушкам выглядеть такими же аристократками, как ты, и иметь столько же врожденной интеллигентности и нежности. Если

говорить о правилах хорошего тона, о культуре общения, я убежден, что ты усвоишь эту науку без малейшего труда, а учиться будешь сколько захочешь, но не слишком много, потому что мне бы не хотелось иметь жену умнее, чем я сам.

— Об этом не беспокойся, — рассмеялась она.

— Как раз этого я и боюсь больше всего, — посерьезнел вдруг Лешек. Ты знаешь, когда я убедился в том, что моя Марысенка умница?

— Нет, не знаю.

— Когда обо всех городских скандалах ты не сказала мне ни слова. Я ведь мог заподозрить, что этот самый Собек, который вступился за тебя, имел на это какое-то право. Но ты поступила правильно, отказавшись от объяснений, ибо подозрения того не стоят.

Марыся не помнила, как она тогда восприняла эту ситуацию, но возражать не стала.

— Я просто не хотела втягивать тебя в неприятности.

— Ну и зря. Кому же быть твоим защитником, как не мне?

Лешек подумал и добавил:

— Я, в свою очередь, должен зайти на почту и позвать руку пану Собеку. Правда, это нахальство с его стороны, что он осмеливается любить тебя, но поступил он, как настоящий мужчина.

Солнце уже садилось. Обычно в это время они возвращались, но сегодня им нужно было поговорить еще о многом. Молодые люди решили, что завтра утром Марыся объявит пани Шкопковой о своей помолвке и о том, что она больше не будет работать у нее в магазине.

— Скажи ей, — предложил Лешек, — что если она считает себя пострадавшей, ты возместишь ей ущерб, нанесенный твоим уходом.

— Ты ее не знаешь, — ответила Марыся. — Она ничего не возьмет, потому что я оплатила все своей работой. Она бы смертельно оскорбилась, если бы я заговорила об этом. Она предельно честная женщина. Я боюсь другого: она не поверит в нашу помолвку.

— Значит, я приеду около полудня, и она услышит об этом от меня. Во всяком случае собери свои вещи.

— Лешек, любимый, чем я заслужила такое счастье!

Он обнял ее и нежно привлек к себе. Его наполняло невыразимой радостью то, что для этой замечательной девушки, лишившейся близких, он становится самым родным и дорогим человеком. Вместе с тем, он испытывал чувство искреннего удивления. Столько раз держал он в объятиях разных женщин, но никогда не чувствовал ничего, кроме вождления. Почему же по отношению к этой единственной, которую он желал больше, чем кого бы то ни было, даже страсть была другой, переполненной неземной любовью и почти религиозным благоговением? В первые месяцы знакомства с Марысей он смотрел на нее так же, как и на всех. Если бы тогда она осталась наедине с ним... ничто, пожалуй, не остановило бы его от роковой ошибки. «Слава Богу, что этого не случилось», — подумал он.

Они еще долго гуляли по лесу. Стало уже почти темно, когда, наконец, они решили возвращаться. По лесу, где было много поворотов и торчащих из земли корней, ехали медленно. Лешек знал дорогу с ее выбоинами, буграми и поворотами как свои пять пальцев. Он не потерял бы дорогу даже в темноте, а освещая путь мощной фарой, можно было спокойно ехать на приличной скорости.

По крайней мере, так думали Лешек и Марыся.

В то время, когда мотоцикл выскочил из леса, а громкий треск его мотора нарушил покой спящей равнины, на одном из поворотов дороги появилась тень человека.

Зенон, бывший семинарист, ждал здесь давно. Проспав несколько часов в канаве, он даже боялся, не проехал ли мотоцикл за это время в обратном направлении. Но его опасения были напрасны. От Вицкунского бора послышалось тарахтение мотоциклетного мотора.

— Они от меня не уйдут, — мрачно буркнул Зенон.

Уже неделю он пил до потери сознания. Выпросив у тетки в Свентинах пару десятков злотых и возвращаясь в Радолишки, где пешком, где попутной телегой, он не пропускал ни одной корчмы, ни одного трактира. Каждый раз он шел домой, чтобы еще раз попросить у отца прощения, но не верил, однако, что получит его, и в отчаянии напивался до бесчувствия. Когда в полдень он встретил на дороге мотоцикл Чинского и узнал обоих виновников своего несчастья, в пьяной голове его со всей силой вспыхнула ненависть и желание отомстить.

— Сейчас они заплатят за все, — повторял он.

Зенон знал, что возвращаться они будут этой дорогой, ибо объезда не было, и, забравшись в канаву за поворотом, он ждал своего часа.

В голове пьяницы еще шумело, его качало из стороны в сторону, но, услышав стрекотание приближающегося мотоцикла, он быстро приступил к делу. Зенон рассчитал все точно. Сразу за поворотом дорога круто подымалась в гору. И, чтобы преодолеть подъем, Чинскому придется добавить газу, причем сделает он это совершенно смело, поскольку знает, что за подъемом следует плавный поворот.

Но, когда за поворотом он вдруг увидит препятствие, тормозить будет поздно, катастрофы не миновать.

Материал для завала Зенон приготовил заранее: он нашел в зарослях у дороги два толстых подгнивших бревна и натаскал кучу камней, которых было достаточно в придорожных канавах. Не теряя времени, он вытащил все это на дорогу и полностью завалил проезд. Объехать препятствие было невозможно: по обеим сторонам узкой дороги тянулись глубокие канавы, причем их внешние края поднимались намного выше уровня внутренних, а густой кустарник образовывал по обе стороны настоящие живые изгороди.

Сумерки еще не наступили, и Зенон со зловещей радостью еще раз осмотрел свою работу. Он собрался было уйти с дороги, когда ему в голову пришла мысль, что, спрятавшись в зарослях рядом с завалом, он безнаказанно может увидеть результаты своей мести.

— Хоть увижу, как свернут себе шею, — мрачно усмехнулся он.

Несколько раз поскользнувшись на крутом откосе, он, наконец, влез наверх, раздвинул ветки кустов и удобно расположился под ними. Наблюдательный пункт был выбран правильно.

Оставалось спокойно лежать и ждать, а когда недруги разобьются, выйти на дорогу и отправиться в городок. Никто не докажет, что это он сделал завал на дороге, потому что здесь никто его не видел, а мужик, на телеге которого он ехал из Вицкунской корчмы, подался в сторону Ошмян. Он даже не знал, кого вез, а разбившихся найдут только утром, потому что ночью по этой дороге никто не ездит. Это не тракт, по которому фурманки день и ночь ездят на станцию к утреннему поезду или за кирпичом в Людвиково.

«Конечно, могут возникнуть подозрения, ведь я не раз угрожал им, думал Зенон, — но доказательств против меня нет никаких. А за свою обиду я расплачусь... да еще наслажусь зрелищем... Такое не каждый день случается!»

Проходили минуты, которые казались ему часами. Рокот мотора приближался, становился все громче и громче. Уже не более пятисот метров отделяло мотоциклистов от неизбежной катастрофы.

«Разве только черт спасет его», — пронеслось в голове Зенона.

Но Чинского ничто не спасло, скорее наоборот. Заметив, что становится холодно, и опасаясь, как бы Марыся не продрогла и не заболела, Лешек добавил газу, зная, что за мостиком дорога значительно лучше.

Сноп яркого белого света разорвал темноту, прокладывая им дорогу. Еще два поворота, потом довольно крутой подъем и, вот они уже выехали из лесу на дорогу. Лешек думал о завтрашнем дне, о решительном разговоре с родителями, о том, как он представит им Марысю, о своем безмерном счастье, о вечерах вдвоем, о тех утренних часах, когда, проснувшись, они в тысячный раз убедятся, что их счастье вовсе не сон... Он думал о столе, накрытом на двоих, о Марысе, веселой, лучезарной и светлой, хлопочущей в доме, в их доме...

И вдруг...

«Конец», — мгновенно пронеслось в голове Лешка. В ярком снопе света он увидел несущуюся навстречу смерть, тут же инстинктивно нажал на тормоз и, опустив ноги, попытался дополнительно притормозить каблуками сапог быстрый бег мотоцикла. Раздался пронзительный визг покрышек, из-под колес брызнул фонтан мелкого щебня, и тотчас раздался глухой сильный удар.

Наступила тишина...

Зрелище было, действительно, внушительным и Зенон не упустил ни одного его фрагмента. Он видел появившийся из-за поворота мотоцикл, видел отчаянные попытки водителя остановить машину, тот момент, когда она врезалась в завал, и как два изуродованных тела взлетели высоко в воздух.

С удивительной ясностью Зенон понял, что натворил. Он протрезвел, точно никогда не держал во рту ни капли алкоголя. Он отомстил: на дороге лежат убитые или смертельно раненные люди. Месть не принесла ему ничего, кроме внутренней пустоты и странного спокойствия. Он спустился на дорогу. Слева, далеко от завала, лежал мотоцикл. Зенон чиркнул спичкой и увидел кучу исковерканного железа. Он прошел дальше и снова осветил. Они лежали недалеко друг от друга. Марысю отбросило чуть дальше. Зенон наклонился над Чинским: ноги и руки беспорядочно разбросаны в разные стороны, голова судорожно прижата к плечу, глаза закрыты. Он напоминал мягкий манекен. Нижняя часть лица была раздроблена, из широко открытого рта ручьем лилась кровь. В двух шагах от него со сведенными плечами, точно она плакала, ничком лежала Марыся. С первого взгляда казалось, что с ней все в порядке. Зенон снова чиркнул спичкой и склонился над Марысей, чтобы заглянуть ей в лицо. И тогда он увидел у нее в волосах пятно запекшейся крови. Зенон оглянулся. Ему показалось, что Чинский застонал, но нет, наверное, почудилось. Сунув спички в карман, он быстро зашагал в сторону городка. Он шел не чуя под собой ног, и невольно ускоряя шаг. В голове у него творилось что-то странное. Он чувствовал, что его охватывает дикий, панический страх. Да, он смертельно боялся, но не тех, кто остался на дороге, а себя самого, сознавая, что рядом с ним... нет, в нем самом, в глубине его темной души находится кто-то другой, страшный, опасный, угрожающий... — Убийца!.. И невольно он побежал. Из разрывающейся груди вылетал крик: — Помогите! Помогите! Помогите!.. С тракта доносился шум. Он найдет там людей. — На помощь! Помогите! Убийца!.. Крик переходил в вой, дикое звериное завывание, нечленораздельное скуление, в котором нельзя было различить смысла, только безумный страх и отчаянную мольбу.

### Глава XIII

На мельнице рано ложились спать, но женщины, несмотря на дневную усталость, любили поболтать допоздна и никогда не могли наговориться всласть. Нередко они просиживали под окнами до полуночи, однако ночи уже стали прохладнее, так что Ольга с Зоней ушли в дом и стали готовиться ко сну. Старый Прокоп перед образами совершал вечернюю молитву и усердно отбивал поклоны: как-никак заканчивался воскресный день. Работник Виталис уже давно похрапывал в кухне. Молодой Василь, сын мельника, сидел в пристройке у Антония Косибы и тихонько наигрывал на губной гармошке, присматриваясь к знахарю, который в небольшой миске размешивал деревянным толкачиком жир с каким-то лекарством и свиной желчью. При обморожениях эта мазь здорово помогала. Неожиданно тишину прервал яростный лай собаки. Разбуженные гуси ответили громким гоготанием. — К нам кто-то едет, — сказал Василь. — Так выгляни, — проворчал знахарь. Василь протер рукавом гармошку, не спеша спрятал ее в карман и вышел во двор. Он отчетливо слышал скрип телеги и встревоженные голоса людей. Их было много. Один бежал впереди, задыхаясь от напряжения и усталости. Когда он подбежал к Василию и остановился в прямоугольнике света, падающего из окна, тот аж отскочил назад: — Что за черт?! — громко спросил он, чтобы придать себе смелости. Руки и лицо прибежавшего были в крови. С безумным выражением на лице, заикаясь, он хрипло пробормотал: — К знахарю... Спасите... Они еще живы... — Во имя отца и сына, кто? — Скорей, скорей! — простонал прибывший. — Знахарь! Знахарь! — Что там такое? — раздался из сеней голос Антония Косибы.

— Спасай их! Спасай! И мою проклятую душу! — он бросился к знахарю. Они живы! Василь заглянул ему в лицо и сказал:

— Это Зенон, сын шорника Войдылы.

— Что случилось? — раздался рядом голос Прокопа.

— Разбились на мотоцикле! — дрожа как в лихорадке говорил Зенон. — Но живы! Знахарь схватил его за плечи:

— Кто?! Да скажи ты, наконец, кто?! — в его голосе прозвучала угроза.

Ответ уже не понадобился. Как раз подъехала телега, на которой лежали два неподвижных тела. Из хаты выбежал Виталис, прибежали и женщины, неся с собой зажженную лампу. В пятнах запекшейся крови, лицо молодого Чинского производило страшное впечатление, но глаза его были открыты и, казалось, он был в сознании. Зато белое как бумага личико Марыси казалось мертвым. По золотисто-белым волосам из ранки над виском сочилась кровь. Знахарь, наклонившись над телегой, проверял пульс.

Мужики, перебивая один другого, рассказывали о случившемся.

— Мы аккуратно проезжали около Вицкунецкой дороги, когда этот человек выскочил с криком о помощи. Ну, побежали посмотреть, а там, прости Господи, лежат на дороге...

— Они уже и не дышали...

— На том мотоцикле разбились. Колоду кто-то на дороге оставил, а они о ту колоду, ну и понятно...

— Так мы стали советовать, что делать, а этот человек падает на колени, руки целует. Спасайте, говорит, везите к доктору в город, будьте, говорит, христианами...

— А мы что, мы же по-людски понимаем. Только как же их довести до города? Душу из них вытрясем, если они еще живы. Ну и решили сюда, к знахарю...

— Хотя тут уже ксендз больше нужен.

Антоний Косиба повернулся к ним. Черты лица его окаменели, сам он был подобен мертвецу, только глаза горели.

— Один я не справлюсь, — сказал он. — Пусть кто-нибудь на лошади подскочит за доктором.

— Виталис, — позвал Прокоп, — запрягай!

— Нет времени запрягать! — крикнул знахарь.

— Дайте мне коня, я поеду, — отозвался Зенон.

— Выведи ему коня, Виталис! — согласился Прокоп, а ты там дай знать в Людвикове, что тут их панич лежит.

Тем временем знахарь был уже в избе. Одним движением руки он смел с большого стола все стоявшие на нем предметы, другим так же очистил лавку. Руки у него дрожали, а пот каплями выступал на лбу.

Он снова выбежал на улицу, отдавая приказания. Раненых осторожно на руках перенесли в избу, где Василь уже зажег еще две лампы. Ольга раздувала жар в печи, Наталка наливала воду в горшки. Зоня разрезала большими ножницами полотно для бинтов.

За окном раздался стремительный топот копыт. Это Зенон помчался в городок, даже не оседлав коня.

— И этот шею свернет, — проворчал вслед Виталис. — Еще и коня в темноте загубит.

— Почему это загубит? — сердито и встревоженно спросил мельник. Дорога прямая и гладкая.

— Боже, Боже, какое несчастье! — без конца причитала старая Агата.

— Надо же было ему в святой день злого духа искушать, — сочувственно проворчал один из мужиков. — На машине разъезжать...

— Это не грех, какой же это грех? — вступился кто-то из молодых.

— Может, и не грех, но лучше не гневить Господа.

— Так расскажите же, люди добрые, по порядку, как все произошло, попросил Прокоп.

Все собрались около телеги. Из избы вышли все домочадцы, откуда их, по всей вероятности, выпроводил Антоний. Начались подробные описания. Время от времени кто-нибудь из слушавших подходил к дому и заглядывал в окно. Знахарь, вопреки обычаю, видимо, забыл задернуть занавески.

Но знахарь ничего не забыл. Просто он знал, что не имеет права терять ни минуты времени. Прежде всего он начал осматривать Марысю. Слабое дыхание и едва прощупываемый пульс свидетельствовали о том, что она угасает. Следовало как можно скорее определить очаги повреждения. Рана у виска не могла стать причиной такого угрожающего состояния. Она была

поверхностной и, видимо, образовалась при падении от удара о какой-нибудь острый камешек, который разрезал кожу и скользнул по кости. Кость, к счастью, оказалась цела. Кожа на руках и коленях во многих местах была содрана, но переломов не было.

Пальцы знахаря быстро, но методично обследовали неподвижное тело девушки, ребра, ключицы, позвоночник и возвратились к голове. Как только они коснулись места, где голова соединяется с шеей, Марыся вздрогнула раз, второй, третий...

Он сразу же понял: перелом основания черепа.

Если мозг не поврежден, немедленная операция могла бы спасти девушку. Могла бы...

Оставалась лишь хрупкая надежда, но все-таки она была.

Знахарь тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб. Его взгляд остановился на тех примитивных инструментах, которыми он пользовался до сих пор. Он отдавал себе отчет, что с их помощью не сможет сделать такую опасную и сложную операцию.

«Спасение только в докторе, — лихорадочно подумал он. — Дай Бог, чтобы он успел».

Знахарь промыл и осмотрел раны Марыси, после чего занялся Чинским. Молодой человек пришел в сознание и громко стонал. После того как с лица была смыта запекшаяся кровь, оказалось, что у него сломана челюсть. Хуже было с переломом левой руки. Сломанная по диагонали кость пробила мышцу и кожу.

Резким движением ножа знахарь обрезал рукав и приступил к операции. К счастью, пострадавший под влиянием боли потерял сознание. В течение двенадцати минут операция была закончена. Во всяком случае жизни Чинского ничто не угрожало.

В то же время Зенон как сумасшедший мчался в город. Возле костела он чуть было не сбил с ног какую-то женщину и, наконец, соскочил с коня перед домом доктора Павлицкого.

Доктор еще не спал и сразу сориентировался, что следует делать. Он послал сестру, чтобы она с почты дозвонилась до Людвиково, а сам достал из шкафа кожаный саквояж с хирургическими инструментами, проверил, все ли на месте, упаковал лекарства, шприц и бинты.

Сестра возвратилась с сообщением, что Чинские уже выезжают и через пять — десять минут будут в Радолишках.

«Поеду с ними», — решил доктор.

— Вы же можете ехать, тут есть конь! — настаивал Зенон.

— Ты что, с ума сошел! — возмутился Павлицкий. — Я должен трястись на лошади, да еще без седла?! К тому же машиной я буду быстрее на месте.

И он был прав. Неожиданно быстро подъехал большой автомобиль из Людвиково. Испуганные Чинские хотели расспросить Зенона о случившемся, но доктор объявил, что для этого еще будет время.

Спустя пять минут они въезжали во двор мельницы. Когда супруги Чинские вошли в пристройку, знахарь заканчивал бинтовать голову Лешека.

— Что с ним? Жив ли мой сын?! — вскрикнула пани Чинская.

— Жив, пани, и ничто ему не угрожает, — ответил знахарь.

— Что этот человек может знать?! Пан доктор, спасайте моего сына!

— Не стоит его мучить. Я расскажу пану доктору, что с ним. У молодого человека сломана челюсть в этом месте и левая рука, вот здесь. Я составил ему кости как следует.

— Прошу не мешать мне! — закричал доктор. — Я, наверное, лучше вас знаю, что нужно делать!

— Здесь уже нечего делать, — упрямо твердил знахарь. — Но ее, эту девушку, нужно спасти немедленно.

— Что с ней?

— Кость вдавлена в мозг.

— Пан доктор! — простонала пани Чинская.

Пульс Лешека был вполне удовлетворительным.

— Я сделаю только противостолбнячный укол, его нужно отвезти в больницу. Следует как можно скорее сделать рентгеновский снимок. А сейчас я посмотрю эту девушку.

Он наклонился над Марысей и попытался нащупать пульс. Выпрямившись, спустя минуту доктор сказал:

— Это уже агония.

— Спаси ее, пан доктор, — охрипшим голосом попросил знахарь.

Доктор пожал плечами:

— Здесь уже нечем помочь. Посмотрю только, что здесь... Хм... Ну, конечно... Перелом основания черепа.  
Неподвижное тело начало вздрагивать.  
— И повреждение мозговых оболочек, — добавил он. — Это доказывают конвульсии... Да...  
Здесь и чудо не поможет. Есть зеркало?  
Знахарь подал ему кусок разбитого зеркала. Доктор приложил его к открытому рту пострадавшей. Зеркало слегка запотело.  
— Ну что ж, — развел он руками. — Единственное, чем можно ей помочь, так это сделать укол для поддержания сердца. А вообще она безнадежна.  
Он открыл саквояж, наполненный сверкающими хирургическими инструментами. Знахарь всматривался в них как зачарованный, просто не мог оторвать глаз.  
Тем временем доктор наполнил шприц прозрачной жидкостью из ампулы и сделал девушке укол.  
— Жаль, через несколько минут наступит конец.  
И он снова повернулся к Чинскому, собираясь снять бинты.  
Знахарь тронул его за локоть:  
— Пан доктор! Спасите ее!  
— Глупый человек! — раздраженно бросил Павлицкий и отвернулся. — Как я должен ее спасти?!

— Но это ваш долг, — мрачно ответил Косиба.  
— Не вам говорить мне о долге. А еще я вам скажу, что если в результате вашей перевязки у раненого начнется заражение, то вас посадят. Понимаете? У вас нет права заниматься лечением.  
Знахарь, казалось, ничего не слышал.  
— Пан доктор, сделайте ей операцию! — просил знахарь. — А вдруг удастся?  
— Отвяжитесь от меня, черт возьми! Зачем тут операция?  
И, обращаясь к Чинским, как бы беря их в свидетели, Павлицкий заявил:  
— Я должен оперировать труп?! У нее проломано основание черепа. Осколки, видимо, повредили мозг. Самый гениальный хирург тут не поможет. Вдобавок к этому проводить трепанацию черепа в таких антисанитарных условиях...  
Он сделал неопределенное движение рукой, указывая на запылившиеся пучки трав под потолком, закопченные керосиновые лампы и мусор на полу.  
— Если бы у меня были такие инструменты, как у пана доктора, — с упорством начал знахарь, — я бы сам попробовал...  
— Какое счастье, что их у вас нет, а то быстрее оказались бы за решеткой, — уже спокойнее ответил доктор, занятый осмотром челюсти молодого Чинского. — Хм... действительно, сломана челюсть, кажется, ничего опасного. Однако без рентгеновского снимка определенно ничего утверждать нельзя. Поверхностное повреждение...  
Доктор продезинфицировал рану и наложил свою повязку. Потом осмотрел руку и, увидев на ней два пореза, возмущенно закричал:  
— Как вы посмели это делать!.. Как вы посмели... Наверное, каким-нибудь грязным ножом!  
— Торчала кость, — оправдывался Косиба, — а нож я вымочил в кипятке...  
— Я вас проучу!.. Вы за это ответите!  
— И ответу, — с покорностью ответил знахарь. — А что мне оставалось делать?  
— Меня ждать!  
— Так я же послал за паном доктором. К счастью, вас застали дома, а что, если бы не застали?.. Я должен был оставить раненого без помощи?  
— И за это мы благодарны пану, — сказал пан Чинский. — Этот человек прав, пан доктор.  
— Наверное, — неохотно согласился доктор. — Действительно, меня могло не быть дома.  
Сохрани нас Бог от заражения.  
Пан Чинский достал из портмоне банкнот и подал знахарю:  
— Вот вам за оказанную помощь.  
Косиба отрицательно покачал головой.  
— Мне не нужны деньги.  
— Возьмите. Что бедных лечите бесплатно, это правильно, но от нас можете взять.

— Я не помогаю бедным или богатым, я помогаю людям. А этому паничу, если бы не совесть, то и вообще не помог бы. Это он должен был погибнуть, а не та несчастная девушка... Из-за него она сейчас умирает...

Пани Чинская обратилась к доктору по-французски:

— Можно ли уже перенести сына в машину?

— Да!.. — ответил доктор. — Сейчас я позову людей, только сложу инструменты.

Быстро собрав разложенные медикаменты и инструментарий, Павлицкий закрыл саквояж и вышел с ним во двор. В окно Антоний Косиба видел, как доктор положил саквояж в машину. И тогда родилось решение: «Я должен добыть их!»

Воспользовавшись суматохой вокруг молодого Чинского, знахарь вышел во двор. Дверца машины была открыта, шофер стоял с другой стороны. Достаточно было одного движения, и знахарь с саквояжем скрылся в избе.

Никто не заметил исчезновения саквояжа с инструментами. Несколько минут спустя машина двинулась в сторону Радолишек.

Знахарь не терял времени. Закрыв дверь на ключ, он с лихорадочной поспешностью разложил на столе добытые инструменты, поставил поближе лампу, после чего с большой осторожностью уложил безжизненное тело в удобное положение, перекрестился и приступил к операции.

Прежде всего следовало снять волосы на затылке. На отставшей коже виднелось большое синее пятно. Отек был небольшим.

Антоний еще раз приложил ухо к груди девушки. Сердце едва билось. Протянув руку, он взял острый узкий ножик на длинной ручке. Из первого пореза показалась темная кровь, которая впитывалась в полотняную ткань, заменяющую бинты. Второй, третий и четвертый...

Уверенными, быстрыми движениями ловких рук он раздвигал пучки мышц. Обнажилась белая розовая кость черепа.

Да, доктор Павлицкий не ошибался. Была вдавлена кость, а несколько мелких осколков проникли под нее и впились в мозг.

Прежде всего, следовало вынуть их с невероятной осторожностью, чтобы не проколоть оболочку мозга. Эта задача оказалась самой трудной и мучительной, тем более что тело оперируемой начало дергаться. Неожиданно конвульсии прекратились. «Все, конец!» — подумал знахарь.

Но операцию он не прервал. У него не было времени, чтобы проверить пульс. Он не отрывал глаз от раны и не знал, что за окнами, расплющивая о стекла носы, люди с надеждой следят за его отчаянными попытками спасти девушку.

Пропели первые петухи, когда он закончил операцию и зашил рану.

Знахарь опять перекрестился и приложил ухо к груди Марыси, однако ничего не услышал. «Укол!» — мелькнула мысль.

Косиба без труда нашел в саквояже коробку с ампулами и шприц.

— Это вводил доктор!

После укола биение сердца стало прослушиваться более отчетливо.

Только теперь Антоний Косиба тяжело опустился на лавку, уронил голову на руки и зарыдал. Он просидел неподвижно с час, а то и больше, совершенно измученный, почти в бессознательном состоянии. Потом он встал, чтобы проверить сердце Марыси. Сердце едва прослушивалось, но не останавливалось.

Едва передвигая ноги, знахарь собрал инструменты, помыв их, сложил в саквояж и, немного подумав, отнес саквояж в сарай. Раздвинув в углу сено, он всадил туда саквояж с инструментами как можно глубже. Там будет безопасно, там не найдут, не отнимут. Обладая таким сокровищем, насколько легче, лучше и быстрее сможет он проводить операции, даже такие сложные, как сегодняшняя.

— Как это сказал доктор? — задумался он. — Трепанация черепа... Да, трепанация... Понятно. Я же знаю это слово, но как-то странно оно вылетело из головы...

Он вернулся в избу, проверил пульс Марыси, задул свет и лег поблизости, чтобы слышать каждое ее движение.

Когда он проснулся, уже ярко светило солнце. Кто-то ломился в дверь. Выйдя на крыльцо, он увидел коменданта участка из Радолишек, старшего сержанта полиции Земека. Рядом стоял мельник и Василь.

— Как там та девушка, пан Косиба? — спросил сержант. — Жива еще?

— Жива, пан сержант, но только одному Богу известно, выживет ли.

— Я должен зайти к ней. Они вошли в избу. Полицейский с минуту присматривался к больной, затем сказал:

— О ее допросе не может быть и речи, но все остальные должны дать показания. Хм... Доктор Павлицкий заявил, что вечером вернется и выдаст свидетельство о смерти. Он считал, что она уже вчера...

— Значит, доктор уехал? — поинтересовался знахарь.

— Он уехал с молодым Чинским, чтобы положить его в больницу. С ним вроде все в порядке, но говорить он не может. Одна жертва без сознания, другая лишена возможности говорить... И подумать только, если бы преступник сам не признался, то мог бы быть в полной безопасности.

— Преступник? Какое же тут преступление? Это же несчастный случай, удивился Василь.

— Вы так думаете?... А был кто-нибудь на месте, где все это произошло, на повороте?..

— Нет.

— А я уже был там ранним утром. Как по-вашему, могут колоды из старой вырубки сами вылезти на дорогу и улечься поперек? А камни тоже подсыпаются сами?.. Таких чудес еще не бывало. Это было продуманное покушение.

— Так кто же это сделал?

— Кто?.. А Зенон, сын шорника Войдылы.

Собравшиеся посмотрели друг на друга с недоверием.

— Наверное, это ошибка, пан сержант, — откликнулся, наконец, старый Прокоп. — Зенон их сам спасал, людей собрал, сюда на мельницу привез и за доктором поехал!

— Видите, — покачал головой полицейский.

— Значит, все правда, что он говорил. Он рассказывал, а я не верил. Думал, что хочет себя обелить, чтобы на процессе иметь смягчающие обстоятельства. Как видно, совесть все-таки заговорила.

— И сам пришел признаться?

— Сам. Говорит, черт его попутал, что пьяный был... Но нужно составить протокол. Прокоп пригласил полицейского в комнаты, где проводился допрос всех домашних в качестве свидетелей. Давал показания и Антоний Косиба, но сказал он немного, добавил только, что оказал потерпевшим первую помощь. Потом женщины подали завтрак, за которым сержант, пользуясь случаем, посоветовался со знахарем, чем лечить боли в правом боку, он чувствует уже несколько месяцев. Знахарь дал ему травы Тот поблагодарил и распорядился, чтобы в случае смерти девушки сообщили ему в участок, попрощался и уехал.

Марыся, однако, продолжала жить. Проходили дни. Она лежала неподвижно в бредовом состоянии. Единственное, что изменилось в ее состоянии, так это температура, которая, казалось, нарастала с каждым часом. Ее личико мелового цвета становилось все розовее, дыхание из едва уловимого переходило в резкое, прерывистое.

Три раза в день знахарь вливал в ее сжатые уста какой-то коричневый отвар, днем и ночью сменял холодные компрессы на ее пылающей голове.

Он еще больше осунулся и поседел. Его лицо стало безжизненным, как у мумии, только в глазах тлело отчаяние. Его покидала надежда. Все его усилия ни к чему не привели. Он ничем не мог помочь девушке и бессильно наблюдал, как она угасает у него на глазах, единственное существо, которому без колебаний он готов был отдать собственную жизнь.

На третий день Антоний упросил Василя поехать в город за доктором в надежде, что тот чем-нибудь поможет.

Василь поехал, но вернулся ни с чем. Оказалось, доктор задержался в Вильно и, наверное, вернется нескоро, так как будет сопровождать молодого пана Чинского в его поездке за границу.

Вечером Антоний Косиба послал в деревню Печки к местному знахарю, хотя абсолютно не верил в эффективность его «заговоров». Но, как известно, утопающий хватается за соломинку. Знахарь пришел, несмотря на профессиональное нежелание встречаться с конкурентом. Он видел в этом свою победу. Посмотрев на умирающую, он коснулся ее руки, потом поднял одно веко, другое, оттянул нижнюю губу, внимательно всматриваясь в ее внутреннюю сторону, как-то странно усмехнулся и начал что-то бормотать себе под нос, держа руки над ее головой.

Его старческие сучковатые пальцы сжимались, будто он собирал что-то, потом передвигались до стоп и там раскрывались, словно стряхивали что-то невидимое. Он повторил так семь раз, бормоча свои заклятия, в которых громче произносил только конечные слова:

— ... на широкую реку, на чужую сторону, под жаркое солнце, под темную тьму, под месячный свет, на триста лет, вон за оконце!

На последних словах старик неожиданно подскочил к окну, открыл его и выставив руки, скомандовал:

— Быстро облейте мне их водой из деревянного ведра!

Кто-то из присутствующих выполнил его распоряжение. Тогда знахарь сгреб на крышку немного углей из печи, присыпал горстью сухих трав, которые достал из холщового мешка, висевшего через плечо, и начал ходить в каждый угол избы. В углу он останавливался, раздувал угли до тех пор, пока из трав не поднимался клуб дыма, затем проговаривал «Отче наш» и возвращался к изголовью умирающей, чтобы затем снова направиться в следующий угол. Вся церемония продолжалась около часа. Наконец, знахарь, приблизившись к Марысе, снова заглянул под веки и кивнул головой.

— Будет жить, — сказал он убежденно. — Я «заговорил» смерть. Но смерть сильная Она и большего заговора не послушает. Если где уперлась, то без добычи не уйдет. Поэтому выберите кур, и ровно в полночь здесь под окном зарежьте Большая панна или замужня?

— Панна, — ответил Косиба.

— Значит нужна белая кура. Есть у вас белая?

— Есть, — кивнула головой Ольга.

— Так ее и зарежьте. А потом сварите и четыре дня давайте больной. Упаси вас Боже дать ей что-нибудь еще, только эту куру и суп из нее. А сейчас не говорите спасибо, потому что это вредит. Я пойду уже. Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, аминь! — ответили присутствующие.

За знахарем вышли из избы все, кроме Зони. Она слегка толкнула в бок задумавшегося знахаря и спросила:

— Как, Антоний, поможет это или не поможет?

— Не знаю, — пожал он плечами.

— Ты знаешь, я думаю, что этот дед только морочит голову людям. Разве может угар и бормотание помочь больному?.. Мой покойный муж проехал по свету и на войне побывал, так он смеялся с этого. Гадание и окуривание — не лекарство. Ты по-другому лечишь, и зачем только вызвал этого овчара! Он сейчас каждому будет говорить, что помог там, где ты был бессилён. А Марыся, если ей суждено выздороветь, и так выздоровела бы. Но сейчас для тебя лучше, чтобы она умерла, потому что...

Она вдруг умолкла под тяжелым взглядом Антония и попятилась к стене.

— Что ты, что ты, Антоний?! — заговорила она быстро. — Я же ничего плохого... Только добра тебе... Клянусь Богом. Я смерти никому не желаю. А ты сразу... О!.. Бог знает, что подумал. Ну, не сердись, я сама ровно в полночь здесь под окном зарежу куру Беленькую выберу, всю беленькую.

— Иди уже Зоня, иди, оставь меня одного, — прошептал знахарь.

— Я пойду. Спокойной ночи. А ты, Антоний, тоже ложись, отдохни, ослабнешь совсем. А про куру не беспокойся. Я все сделаю, как овчар сказал. Спокойной ночи...

Она вышла, и в избе воцарилась тишина. Только прерывистое дыхание Марыси свидетельствовало о том, что в этой тишине и покое не все ладно.

Антоний подвинул табурет, оперся локтем о край стола и стал всматриваться в бледно-голубые прожилки сомкнутых век девушки. Он сделал все, что диктовало его умение, что подсказывал рассудок; он даже пошел наперекор своему разуму и вопреки убеждениям, уступив отчаянию и скрытой в глубине души надежде на спасение с помощью непонятных, таинственных, колдовских чар.

Шло время. За окнами была ночь. Антоний Косиба задумался. Он думал о себе, о своей судьбе, о своей жизни, такой пустой и ненужной до настоящего времени, не связанной ни с чем и ни с кем. Да, не связанной, потому что связывают только чувства. Но стоит лишь полюбить кого-нибудь всем сердцем, как судьба эту любовь отнимает, вырывает, грабит...

Снова так, как тогда, что-то отозвалось в нем. Он потер лоб. И вдруг понял, что когда-то, очень давно, как бы в предыдущей жизни, он пережил подобную потерю. Да, он был уверен в этом. Судьба кого-то отняла у него, любимого человека, без кого он не мог существовать...

Застучало в висках, в голове страшным вихрем помчались мысли.

— Как это было?.. Когда?.. Где?.. Потому что было... Точно было... Он сжал зубы, ногти до боли впились в ладони рук:

— Вспомнить... вспомнить... Я должен вспомнить...

Натянутые нервы, казалось, дрожали от напряжения. Мысли разлетались в клочья, в бесформенную белую пену, как вода на мельничном колесе, и едва различимым туманным контуром начали вырисовываться черты... Мягкий овал лица... Полуулыбка, светлые волосы и наконец глаза, темные, глубокие, неразгаданные...

Из пересохшей гортани Антония Косибы сдавленно вырвалось незнакомое, но такое близкое, такое дорогое имя:

— Беата...

С изумлением и надеждой он повторил его еще раз. Он чувствовал, что в нем происходит какая-то борьба, открывается нечто неизмеримо важное. Еще секунда, и перед ним откроется большая тайна...

Он весь собрался, сжался...

Вдруг за окнами тишину прорезал резкий, пронзительный крик птицы. Один, второй, третий... Антоний вскочил и в первое мгновение не мог сообразить, что случилось, но спустя несколько минут до него дошло:

— Зоня зарезала куру... белую куру... Значит, полночь...

Он быстро приблизился к Марысе. Как мог он оставить ее так надолго! Он прикоснулся к ее руке, щеке, потрогал лоб, проверил пульс, прислушался к дыханию.

Сомнений не было: температура спадала, причем резко спадала. Щеки и ладони были едва теплыми.

— Она... стынет, это конец, — лихорадочно подумал он.

Не теряя ни минуты, Антоний развел в печи огонь и приготовил отвар из трав для поддержания сердца. Влил три ложечки в рот Марысе. Спустя час ему показалось, что пульс стал более наполненным и ровным. Знахарь повторно дал больной порцию отвара.

Прошло еще четверть часа, и Марыся открыла глаза. Тяжелые веки опустились и снова поднялись. Ее губы что-то безмолвно произнесли и сложились в улыбку. Глаза смотрели осмысленно.

Знахарь наклонился над ней и прошептал:

— Голубка моя, счастье ты мое... Ты узнаешь меня?.. Узнаешь?..

Губы Марыси шевельнулись и, хотя слов нельзя было расслышать, он знал, разобрал по движению губ, что она произнесла те же слова, с которыми всегда обращалась к нему:

— Дядя Антоний...

Потом она глубоко вздохнула, закрыла глаза и уснула. Дыхание было глубоким и ровным.

Знахарь припал лицом к земле и, рыдая от счастья, забормотал:

— Спасибо тебе, Господи... Спасибо тебе, Господи...

За окном светало. Мельница просыпалась. Виталис пошел пускать воду. Молодой Василь отправился в сарай, Агата и Ольга хлопотали по кухне, а Зоня сидела на пороге и ощипывала белую куру.

#### Глава XIV

После двухнедельного отсутствия доктор Павлицкий возвратился в Радолишки, и на следующий же день его вызвали в имение Скирвойнов, где батрак повредил руку, работая на соломорезке.

Вот тогда-то обнаружилось отсутствие саквояжа с хирургическими инструментами. Доктор утверждал, что в ту ночь привез саквояж с мельницы, служанка и старая Марцыся клялись, что не привозил. Перетряхнули весь дом от подвалов до чердака — безрезультатно, и доктор поехал

по вызову, собрав инструменты в кабинете. Но возвращаясь из Раевщины, он все-таки завернул в Людвиково, чтобы расспросить о саквояже шофера.

Шофер точно помнил, что пан доктор вынес из хаты саквояж и положил его в машину, помнил, что на обратном пути из машины ничего не вынимали ни в городке, ни в Людвикове, ни на станции. Он вспомнил также, что в то время, когда молодого Чинского выносили из хаты, около машины крутился знахарь.

— Если кто и мог взять, то только он, — сделал заключение доктор. Без сомнения, как же я сразу не подумал об этом! Естественно, все совершенно ясно, он же говорил, что попробовал бы сделать операцию девушке сам, будь у него такие инструменты. Ну, попалась птичка! Вы не знаете, жива ли та Марыся, которая с паном инженером тогда разбилась?

Шофер не знал, но в Радолишках об этом много говорили, и доктор Павлицкий, к своему искреннему и большому удивлению, услышал, что девушка жива и ест надежда, что она выздоровеет. Одни приписывали эту заслугу знахарю с мельницы, другие — овчару из деревни Печки, однако все с удовлетворением, свойственным в таких случаях простым людям, подчеркивали, что таинственная сила знахарей помогла там, где медицина продемонстрировала свое бессилие, обрекая девушку на смерть.

Несмотря на раздражение, вызванное сложившейся ситуацией, доктор Павлицкий утвердился в своем подозрении. Он осмотрел тогда девушку и констатировал, без всякого сомнения, перелом основания черепа. Если бы даже он был хирургом, то не решился бы на такую операцию, тем более что считал ее бесполезной. Однако он не исключал возможности ее благополучного исхода. В то же время он был убежден, что без трепанации черепа и чистки внутрочерепной полости, пострадавшая могла жить не более нескольких часов. Но без специальных хирургических инструментов проведение успешной операции не представлялось возможным. Из этого следовало, что его инструменты были выкрадены знахарем Антонием Косибой. Эти аргументы доктор представил на следующее утро в полицейском участке сержанту Земеку, требуя начать расследование, провести обыск и арестовать знахаря по обвинению в воровстве и незаконной врачебной практике.

Сержант Земек внимательно выслушал Павлицкого и сказал:

— Я обязан внести в протокол заявление пана доктора. Пан доктор, я думаю, вы правы. Забрать саквояж с инструментами мог только Косиба. Он, действительно, не имеет права заниматься лечебной практикой и за это должен быть привлечен к ответственности. Но, с другой стороны, если сам пан доктор говорит, что без ваших инструментов он бы ничего не сделал, а с их помощью спас жизнь человеку, хотя ему никто не дал права, то за это вы, пан доктор, хотите уничтожить Антония Косибу?

Доктор нахмурил брови:

— Пан комендант! Я не понимаю вас! Вы, кажется, призваны карать преступления. Я, как гражданин, знаю, что этим должны заниматься суды. Квалифицировать действия преступника не в нашей компетенции. Поэтому, подавая заявление, я имею право надеяться, что вы дадите этому делу надлежащий ход. Я настаиваю на проведении обыска и аресте вора.

Полицейский кивнул головой.

Хорошо, пан доктор, я выполню то, чего требует мой служебный долг.

— А я, как пострадавший, могу помочь при обыске?

— Да, — сухо ответил Земек.

— Когда вы собираетесь приступить?

Земек посмотрел на часы:

— Сейчас же. Не хочу чтобы меня уличили в медлительности.

— Сейчас у меня обед, — заметил доктор. — Может быть, поедем на мельницу часика через два?

— Нет, пан доктор. Обыск будет произведен сейчас. Если вы хотите присутствовать...

— Хорошо, я еду с вами.

Земек вызвал одного из своих подчиненных и распорядился найти фурманку.

На мельнице не ожидали приезда гостей. Жизнь текла своим чередом, с той лишь разницей, что Антоний сейчас почти не приходил работать на мельницу, меньше принимал больных, да и тех осматривал во дворе, а в дождливые дни — в сенях, не впуская в избу.

В избе на чисто застеленной постели лежала Марыся. Девушка выздоравливала удивительно быстро. Жизнеспособность молодого организма сделала свое дело. Послеоперационная рана

хорошо заживала, появился аппетит. Первоначальные опасения знахаря, что последствия несчастного случая проявятся в различных осложнениях, оказались, к счастью, напрасными. Она свободно двигала руками, плечевые суставы и ноги тоже не вызывали тревоги. Видимо, мозг не был затронут, поэтому острота слуха и зрения осталась прежней, а говорила она все тем же звонким голосом, проводя целые дни в беседах со своим опекуном.

Когда она пришла в сознание, ее первый вопрос был о Лешеке. Услышав, что у него нет серьезных повреждений и родители отправили его на лечение за границу, она с облегчением вздохнула:

— Только бы он поправился!

Как они попали в катастрофу, она не помнила, не заметила, чтобы что-то лежало на дороге, но знала, что они ехали довольно быстро. Память сохранила лишь визг тормозов, ощущение полета и темноту. Очнувшись, она не могла понять, почему находится в незнакомой избе, а не на мотоцикле в зарослях, не могла представить, что была на волосок от смерти. Антоний Косиба не обмолвился ни словом о трагичной борьбе за ее жизнь, не объяснил, какие серьезные и тяжелые травмы она получила.

— У тебя, голубка, на затылке сломана одна косточка, и поэтому пришлось сделать тебе такую неудобную перевязку. Но, ради Бога, золотце, не поворачивай, не старайся поворачивать голову, потому что можешь нарушить срастание.

Марыся поклялась слушаться его, но уже на завтра начала допытываться, скоро ли ей можно будет вставать.

— Какое-то время нужно полежать, — уклончиво отвечал знахарь.

Он знал, что для окончательного заживления потребуется не менее двух месяцев, но не хотел ее огорчать. Но, когда она пожаловалась, что потеряет место у пани Шкопковой, если будет лежать дольше, он прикрикнул на нее:

— Не искушай судьбу, девочка! Благодарю Бога, что жива осталась, а меня слушай, иначе накличешь беду.

— Хорошо, хорошо, дорогой дядя Антоний, — улыбалась она, смиренно складывая руки. — Не сердись!

— Я не сержусь! — устыдился он. — Как я могу сердиться на тебя, солнышко ты мое!

— Столько хлопот из-за меня...

— Какие же это хлопоты, — возмутился знахарь. — Это для меня самая большая радость. А к пани Шкопковой даже не думай возвращаться.

— Почему?

— А зачем тебе, голубка моя?.. Вот выздоровеешь и останешься у меня... Знахарь улыбнулся и добавил:

— Если захочешь, конечно.

Забота о Марысе была не в тягость Антонию; он нежно и бережно ухаживал за ней день и ночь, и эти хлопоты доставляли ему радость. Ежедневно он брал ее на руки, переносил на свою кровать в альков, а ее постель старательно перестилал; каждый день полотенцем, смоченным в теплой воде, обтирал ей лицо и руки, кормил с ложечки, как маленького ребенка.

По другим нуждам он приглашал кого-нибудь из женщин, чаще всего маленькую Наталку, которая полюбила Марысю, но при этом и сам должен был помогать, потому что ни одна из женщин не смогла бы поднять Марысю. Вначале девушка очень стеснялась его присутствия, но скоро привыкла, считая дядюшку Антония опекуном, почти отцом.

Марыся делилась с ним всем, не затрагивая лишь одной темы. Она заметила, что при каждом упоминании о молодом Чинском его лицо становится хмурым. Она догадалась, что знахарь считает Лешека виновником катастрофы и не может простить ему их поездок в лес. А ей так хотелось открыто сказать ему:

— Не осуждай его, дядя Антоний, он порядочный парень, любит меня и женится на мне.

Но сказать это она не имела права, пока не дожидется весточки от жениха, и поэтому время от времени спрашивала, нет ли ей письма.

Знахарь знал, какое письмо она ждет, и всякий раз мрачно и коротко отвечал.

— Нет.

И говорил это таким тоном, точно хотел добавить:

— И не будет.

Сам он в глубине души был совершенно уверен в этом, так же как Марыся была уверена в обратном.

«Морочил девушке голову, ветрогон, — думал знахарь, — чуть было на тот свет не отправил, искалечил, а теперь за границей другую себе найдет. Даже слова ей не напишет».

И Косиба имел все основания думать так. Со дня катастрофы прошло уже полмесяца, а письма не было, никто даже не приехал по просьбе Чинского поинтересоваться здоровьем Марыси. Она, однако, не теряла надежды и продолжала ждать. Сколько раз по звуку колес на дороге она узнавала, что едет не простая крестьянская телега, а бричка, столько раз сердце ее начинало биться сильнее.

— А вдруг это бричка из Людвикова?

Так случилось и в тот день, только бричка опять была не из Людвикова. Ее взял полицейский в гмине, и в ней сидел сержант Земек, которого сопровождал еще один полицейский и доктор Павлицкий.

Знахарь как раз кормил Марысю и, глянув в окно, снова опустил ложку в миску. Двери открылись.

— Добрый день, — поздоровался с порога сержант. — Мы к вам по делу, пан Косиба. Как там панна Марыся чувствует себя?

— Спасибо, пан сержант. Мне уже лучше, — весело ответила Марыся.

— Вот и слава Богу.

— Панове, позвольте больной закончить обед, — хмуро начал знахарь.

— Пусть заканчивает. Мы подождем, — согласился Земек и сел на лавку.

Доктор Павлицкий подошел к постели и стал молча присматриваться к Марысе.

— Температуры нет? — спросил он, наконец.

— Была, но уже нет, — ответил Косиба.

— А ноги и руки действуют?.. Осложнений нет?

— Нет, пан доктор, — откликнулась Марыся. — Я совершенно здорова, только слабая. Если бы не та косточка на затылке, которая должна срастись, я бы уже сейчас встала.

Врач сухо рассмеялся:

— Косточка?.. Хорошая косточка! Ничего-то ты не понимаешь, девочка. У тебя был перелом основания черепа...

Знахарь прервал его:

— Я готов. Что вам угодно? Он убрал пустую миску и стал так, чтобы загородить кровать Марыси от доктора.

— Пан Косиба, — обратился сержант. — Вы делали операцию после катастрофы?.. Трепанацию черепа?..

Знахарь опустил глаза.

— А если так, то что?

— Но у вас нет диплома врача. Вы знаете, что закон запрещает врачебную практику без диплома.

— Знаю. Но знаю также, что дипломированный врач, который в соответствии со своим долгом обязан был оказать помощь, в данном случае отказал в ней пациенту.

— Это неправда, — вмешался доктор Павлицкий. — Я осмотрел пострадавшую и сделал заключение, что ее состояние безнадежно. Она умирала.

Знахарь увидел широко открытые глаза Марыси и ее мгновенно побледневшее личико:

— Вовсе нет, — возразил он. — Никакой опасности не было.

Доктору от негодования кровь ударила в лицо.

— Как это?! А что же вы сами тогда говорили?

— Ничего не говорил.

— Это ложь!

Знахарь промолчал.

— Это не имеет значения, — вмешался сержант. — Так или иначе, пан Косиба, вы за это в ответе, хотя я должен вам пояснить, что ваша вина невелика, поскольку нет пострадавшего.

Никто не пострадал из-за нарушения паном закона, напротив, пациенту была спасена жизнь. Но серьезнее обстоит дело по следующему вопросу: с помощью каких инструментов пан провел операцию?

— Разве это не все равно?

— Нет. Потому что пан доктор Павлицкий заявляет, будто вы присвоили его инструменты.  
— Не присвоили, а украли, — жестко подчеркнул доктор.  
— Значит, украли, — повторил сержант. — Вы признаете это, пан Косиба?  
Знахарь молчал, опустив голову.  
— Пан комендант! — заявил доктор. — Приступайте к обыску. Саквояж, видимо, здесь или спрятан в хозяйственных помещениях.  
— Извините, пан доктор, — предупредил полицейский, — но прошу не диктовать, что я должен делать. Это мое дело.  
Сержант сделал паузу и снова обратился к знахарю:  
— Вы признаетесь?  
— Да, — кивнул головой знахарь после минутного колебания.  
— Зачем вы это сделали?.. Хотели нажиться или потому, что без этих инструментов вы не смогли бы спасти пострадавшую?  
— Это не вопрос, — возмутился доктор Павлицкий. — Это подсказка! Если бы инструменты нужны были ему только для операции, то он бы уже вернул их.  
— Эти инструменты у вас? — спросил полицейский.  
— У меня.  
— И вы возвратите их добровольно?  
— Верну.  
— Где они?  
— Сейчас принесу.  
Он медленно прошел мимо них, открыл дверь. В окно они видели его высокую ссутулившуюся фигуру. В избе никто не произнес ни слова. Спустя несколько минут Косиба вернулся с саквояжем.  
— Это ваше? — обратился сержант к доктору.  
— Да, это мой саквояж.  
Может быть, пан доктор проверит, все ли на месте?  
Павлицкий открыл саквояж и мельком проверил содержимое.  
— Кажется, все на месте.  
«Кажется» — это не ответ, — командным тоном произнес сержант Земек. Прошу дать четкий ответ или назвать предметы, которые исчезли.  
— Все на месте, — поправился доктор.  
— Значит, составим протокол.  
Земек вынул из портфеля бумаги и приступил к составлению протокола. В избе воцарилась тишина.  
Доктор Павлицкий был достаточно сообразительным, чтобы почувствовать неприязнь, с какой относились к нему все присутствующие, не исключая молчавшего полицейского. Имели ли они право осуждать его? Ему не в чем было себя упрекнуть. Он поступал в соответствии со своей совестью, так, как диктовал ему гражданский долг, а также долг врача. Если же, выполняя свой долг, он одновременно избавлялся от конкурента, то и тут он не чувствовал за собой вины. Борьба за существование не возбраняется, а он к тому же борется легальными средствами. Закон и общественная мораль на его стороне. Даже не будь он врачом и не отбивай этот знахарь его пациентов, то и тогда он хотел бы обезвредить этого человека.  
Общество заботится о здоровье своих граждан. Чтобы стать врачом, требуются долгие годы учебы, кропотливой практики, опыт и соблюдение медицинской этики. В то же время какой-то темный мужик плюет на эти законы. Если ему удалось провести несколько операций, это еще ничего не значит. В тысяче других случаев он может оказаться убийцей. Тогда во имя чего доктор медицины, который затратил на свое образование большие деньги и многие годы жизни, должен добровольно отказываться от принадлежащих ему прав, безразлично наблюдать за вредной и опасной деятельностью какого-то крестьянина, живя при этом впроголодь?  
Во имя чего?  
Чтобы его подвергли осуждению праведные, но неинтеллигентные люди?.. Но, как интеллигент, как единственный здесь человек с высшим образованием, он должен их научить, должен объяснить, что поступает справедливо и правильно, ибо знахарское ремесло представляет опасность для общества, что законы нужно соблюдать, а воровство всегда остается воровством,

независимо от причин, толкнувших на преступление. Цивилизованное общество и все сознательные граждане обязаны придерживаться общепринятого порядка. Разумеется, в поведении Косибы найдется достаточно оснований для смягчения приговора. Но пусть это решает суд...

Нет, доктора Павлицкого не мучили угрызения совести. Врожденное высокомерие не позволяло ему снизойти до оправдания своих поступков перед этими людьми. Какой смысл метать бисер перед свиньями?

Он молча стоял, подняв голову и сжав губы, делая вид, что не замечает недоброжелательных взглядов.

Сержант Земек закончил писать протокол, прочитал, присутствующие подписали.

— Вы еще должны подписаться о невыезде, — обратился он к Косибе, — вот здесь. Вам нельзя выезжать, не поставив об этом в известность полицию.

— Как это? — удивился доктор. — Вы не арестуете его?

— Не вижу причины, — пожал плечами сержант.

— Воровство же доказано?

— И что из этого?.. Арестовывают в том случае, если есть опасения, что обвиняемый сбежит, а я уверен, что он никуда не денется.

— Ваша уверенность может оказаться ошибочной.

— За это уж я несу ответственность, пан доктор. Я направляю дело на судебное расследование. Может быть, судья прикажет арестовать пана Косибу, если вы будете настаивать. Но я сомневаюсь. После приговора его посадят. Конечно, в том случае, если он будет осужден. Ну, здесь у нас больше нет вопросов. До свидания, пан Косиб! Будь здорова, панна Марыся!

Они вышли, и скоро стук колес брички известил об их отъезде.

Знахарь неподвижно стоял у дверей. Когда он повернулся, то увидел Марысю, по щекам которой текли слезы.

— Что с тобой, голубка моя, что с тобой? — забеспокоился он.

— Дорогой дядя Антоний, сколько неприятностей у тебя и все из-за меня!

— Успокойся, голубка, не плачь. Какие это неприятности, ничего мне не будет.

— Если тебя посадят в тюрьму, я, наверное, умру от отчаяния!

— Не посадят, не посадят! А если бы и посадили, так что? Корона у меня с головы не упадет.

— Не говори так, дядя. Это была бы страшная несправедливость.

— Хорошая моя, на свете больше кривды, чем правды. А здесь, по правде говоря, я заслужил наказание: украл, ничего не попишешь.

— Чтобы спасти меня!

— Так-то оно так, но воровство и есть воровство. Другое дело, что я не сожалею о содеянном. У меня не было другого выхода. Но тут не о чем говорить, даже сержант будет меня защищать.

— Только этот плохой человек, этот доктор...

— А плохой ли он, голубка? Не знаю, плохой ли. Жесткий — да, а за это никого обвинять нельзя. Характер такой. Может, никто к нему с добрым сердцем не подошел, вот и его сердце ожесточилось. А еще помни, что ему тяжело смириться с поражением. Ведь он уже махнул на тебя рукой, а я с Божьей помощью спас тебя, голубка. Я специально не говорил раньше, как ты была плоха. Больным нельзя говорить таких вещей: они переживают, и это мешает выздоровлению.

— Чем я отблагодарю тебя, дядя Антоний, за твою доброту, за твой труд?

Она сложила руки и глазами полными слез посмотрела на него. А знахарь грустно улыбнулся и сказал:

— Чем?.. Полюби меня немножко.

— Полюбить? — произнесла она дрожащим голосом. — Но я тебя, дядя, так люблю, как любила только маму!

— Бог отблагодарит тебя, голубка моя, — ответил он срывающимся голосом.

Суд над Зеноном Войдылой проходил в середине октября в Вильно. В Радолишках узнали об этом только на следующий день после вынесения приговора, так как из-за чистосердечного признания осужденного никаких свидетелей в суд не вызывали, кроме пострадавших, которые по состоянию здоровья предстать перед судом не могли.

И если газеты раздули вокруг этого процесса большую шумиху, то только потому, что подсудимый сам попросил вынести ему самый суровый приговор. Однако суд, усмотрев в поведении Зенона искреннее раскаяние и найдя многие другие смягчающие обстоятельства, а также убедившись в искреннем желании осужденного исправиться, приговорил его лишь к двум годам заключения.

Эту новость на мельницу принес Василь, который ездил в Вильно по делам отца и, воспользовавшись случаем, присутствовал на суде. От него же Марыся узнала, что молодого Чинского на процессе не было, так как он находился на лечении за границей. Точное место его пребывания за границей Василь назвать не мог — не запомнил, хотя и услышал в зале суда какое-то чужеземное название.

Марыся подумывала, не попросить ли его или кого другого разузнать адрес Лешака.

В Людвикове этот адрес наверняка знали не только его родители. Однако она боялась, что может накликать на себя новые неприятности, и решила терпеливо ждать письма.

Решать было легко, но вот где найти силы для терпения? Проходили неделя за неделей, а Лешек не писал. В голову приходили самые грустные и мрачные мысли, угасала надежда.

А тем временем здоровье Марыси улучшалось с каждым днем. Уже давно она самостоятельно сидела на кровати, и в начале ноября знахарь разрешил ей встать. Послеоперационные раны почти зажили. От сильных ссадин на ногах и руках остались едва заметные шрамы; к Марысе постепенно возвращались силы. На следующий день после того, как Антоний разрешил ей встать, она начала наводить порядок в хозяйстве знахаря. Спустя неделю изба и альков выглядели совсем по-другому.

— Не мучайся, голубка моя, — пытался остудить ее пыл знахарь. — Зачем это все?..

— Разве сейчас здесь не чище и не приятнее, дядя Антоний?

— Жалко твоих сил.

Собственно, на наведение порядка, чистку и мойку уходило немного времени. Осенние холода снова добавили знахарю пациентов. Бывали дни, когда съезжалось по тридцать и больше человек. Все знали о том, что Антония Косибу вызвали в суд, который состоится в Вильно. Говорили, что его посадят, поэтому надо было спешить к нему за советом.

Сам Антоний тоже думал, что его осудят, и хотел приготовить к этому Марысю, но она возмущалась и убеждала его, что об этом не может даже быть и речи.

— Я выступаю в качестве свидетеля, которому ты спас жизнь. Разве этого недостаточно?

Знахарь и сам отчасти рассчитывал на это, равно как и на многих других своих пациентов, которые охотно согласились быть его свидетелями.

Суд был назначен на конец ноября, и все, казалось, шло хорошо, но внезапно Марыся заболела.

Ее ослабевший организм легко поддался болезни. Убирая в холодных сенях, она простыла.

Банки и травы не помогли ей. Нужно было оставаться в постели.

О ее появлении на суде нечего было и думать, и Антоний Косиба поехал один.

Прибыв в Вильно, он обратился к предложенному Юдкой из Радолишек адвокату Маклаю.

Адвокат, ознакомившись с делом, назвал свой, к счастью, небольшой гонорар, но сразу предупредил, что на оправдание нечего надеяться.

— Постараюсь добиться для вас наиболее мягкого приговора.

Наступил день судебного разбирательства. Уже входя в здание суда, Антоний увидел доктора Павлицкого, и это наполнило его неприятными предчувствиями.

Действительно, выступая в качестве свидетеля, доктор Павлицкий, хотя и говорил чистую правду, предъявил знахарю очень серьезные обвинения. Он говорил о грязи в избе, о том, что в ней нечем дышать, что он лично предостерегал знахаря от проведения опасной операции и, наконец, о воровстве хирургических инструментов. Он признал, что Косибе удалось несколько крайне сложных операций, но их благополучный исход доктор Павлицкий отнес к воле случая.

Второй свидетель обвинения, представитель Медицинской палаты, предъявил суду статистические данные, касающиеся знахарства на восточных территориях. Эти данные подтверждали, что значительный процент смертности среди сельского населения является

результатом лечения знахарей. Дальше он привел много примеров методов «лечения», используемых знахарями, что вызвало у публики бурю негодования и угроз.

Свидетели защиты — больные, которых вылечил Антоний Косиба, двадцать с лишним человек, — своими показаниями, однако, перетянули симпатии в пользу обвиняемого.

Суд закончился бы в его пользу, не выступи в этом процессе обвинителем молодой энергичный доктор права Згерский. С добросовестностью и страстностью новичка прокурор Згерский произнес обвинительную речь. Он представил дело с общественной точки зрения и престижности занимаемой должности.

— Как долго, — обратился он к аудитории, — мы будем позволять, чтобы в нашей стране гнездились чудовищные суеверия средневековья? Как долго мы будем позволять распространяться невежеству и бессмысленной преступной практике знахарей?.. Сегодняшний приговор должен быть ответом на вопрос, являемся ли мы цивилизованной страной, принадлежим ли к Европе не только в географическом, но и в культурном плане.

Много и красиво он говорил о миссии польской цивилизации на востоке, о трагическом невежестве белорусского народа, о тысячных отрядах молодых врачей, готовых помогать несчастным, но обреченным на безработицу, о генетике и улучшении расы, об армии, требующей здоровых солдат и наконец о воспитательных целях судебных приговоров и о том, что этот приговор должен стать предостережением для других гиен, наживающихся на невежестве масс.

В заключение он затронул еще и струну местного патриотизма, отмечая, что мягкий приговор за такие преступления дал бы повод и основание общественному мнению других регионов Польши полагать, что рука правосудия на восточных территориях не карает варварство, косность и обскурантизм.

Адвокат Маклай не владел и десятой долей ораторского мастерства противника. Поэтому его речь не способна была затмить впечатление от потрясающей речи прокурора. Адвокат даже не пытался опровергать его аргументы, а защиту построил на самой личности обвиняемого, человека бескорыстного, который присвоил хирургические инструменты исключительно ради спасения умирающей девушки.

— Здесь нам не представили никого, — закончил адвокат, — кому бы повредила врачебная помощь Антония Косибы, не назвали ни одной фамилии пациента, который умер бы по его вине. Зато мы видели вереницу благодарных людей, которых вылечил Антоний Косиба. Поэтому я прошу оправдать его.

Если в эту минуту у Антония и вспыхнула надежда, то она угасла сразу же после реплики прокурора.

— Меня поражает, — начал он, — поражает и приводит в смущение позиция, занятая паном адвокатом. Мне стыдно, потому что в его защите я услышал упрек, будто, рассматривая вину подсудимого, я занялся проблемой в целом и забыл о человеке. Действительно, Высокий суд, это серьезное упущение со стороны общественного обвинителя. Но поражает меня то, что этот упрек прозвучал именно из уст пана защитника. Да! Но разве, присмотревшись к моральному облику Антония Косибы, мы не можем с чистой совестью признать его вину, тем более заслуживающую сурового наказания?.. Этому добродетелю людей однажды надоела нормальная физическая работа, и он затосковал по легкому хлебу. Из батрака на мельнице он стал шарлатаном. Несомненно, легче произносить над глупым мужиком нелепые заклинания или поить его отваром из трав, чем таскать мешки с мукой. И обвиняемый выбрал этот путь. Легенду о его бескорыстии развеивают свидетели, которые рассказали, что, действительно, не платили за советы, но приносили... добровольно подарки. Сам Косиба на вопрос пана председательствующего засвидетельствовал, что живет в достатке, а это говорит о многом в период настоящего кризиса и бедности села. Сейчас на селе живет в достатке только тот, кто обдирает бедноту, кто шарлатанской практикой выманивает нее остатки жалких запасов. Прокурор усмехнулся:

— Да, Высокий суд, это одна сторона личности обвиняемого, его прошлое. А каким же будет его будущее? Что он сделает, если выйдет свободным из этого зала? По-моему, здесь не может быть никаких сомнений, полная ясность. Сам обвиняемый раскрыл его, отвечая на мои вопросы. Он признался, что до последней минуты занимался своей практикой и, если его освободят, он будет снова «лечить» людей. Он не чувствует ни малейшего раскаяния, не обещает исправиться. А по делу воровства? Он сознался в содеянном, но открыто говорит, что

украл бы и в следующий раз, если бы возникли подобные обстоятельства. Это преступник, который не может, а скорее, не хочет понять своей вины, преступник, жестокий в своем упорстве. Это человек, личностью которого по желанию пана адвоката я вынужден был заняться. Этот человек глух к каким бы то ни было замечаниям, представляет опасность для общества, должен быть немедленно изолирован от него и подвергнут суровому тюремному наказанию.

После очередного выступления адвоката Маклая суд удалился на совещание.

Спустя полчаса, уже поздним вечером, огласили приговор.

Антония Косибу приговорили к трем годам лишения свободы.

Прокурор Згерский принимал в кулуарах поздравления от своих близких и знакомых. Знахаря арестовали прямо в зале суда и отправили в тюрьму. Адвокат объявил о подаче апелляции.

Известие о приговоре и аресте Антония Косибы привезли мужики, возвратившиеся из Вильно.

В первые минуты этому никто не хотел верить, а Марыся даже рассмеялась.

— Нет, люди! Вы что-то перепутали! Это совершенно невозможно!

— Может, на три месяца? — подсказал Василь.

— Нет, на три года, — стояли на своем мужики. — Уж очень страшно прокурор на него нападал.

И они пересказали, как сумели, ход процесса.

— Господи, помилуй, — воскликнул старый Прокоп. — Выходит, что тот, кто покалечил их, чуть не убил, осужден на два года, а тот, кто спасал, на три. Как это так?

— Ну да, так получается...

Марыся расплакалась. Она как раз в этот день встала, хотя кашель еще мучил ее.

— Что делать, пан Мельник, что делать? — обратилась она к Прокопу.

— Откуда же я могу знать?..

— Нужно ехать в Вильно, чтобы как-нибудь помочь ему.

— Как тут поможешь? Тюрьму не разрушишь.

Василь рассудительно заявил:

— Я, панна Марыся, скажу так: ничем тут помочь нельзя, пока не будет апелляции. Наверное, адвокат попался плохой. От адвокатов многое зависит. Значит, нужен другой. Теперь нужно узнать, кто там самый лучший, и ехать сразу к нему.

Предложение Василя все похвалили.

— А когда может быть апелляция?

— Это нескоро, — заметил один из мужиков. — Когда на меня завели дело за те сосны из Вицкунского леса, то апелляция пришла через четыре месяца.

— Это еще быстро! — заметил кто-то. — Иногда до года нужно ждать.

Всю ночь Марыся проплакала, а наутро собрала узелок. Вложила туда белье дяди Антония, кожушок, запас табака, колбасу и сало.

За этим занятием ее и застала Зоня.

— Что это? — спросила она. — Передачу для Антония готовишь?

— Да.

— А через кого пошлешь?

— Буду искать. Сюда часто заезжают люди, которые собираются ехать в Вильно.

Зоня задумалась, а потом вынула платок, развязала узел и достала две монеты по пять злотых.

— Возьми. Деньги пошли ему тоже.

— Какая ты добрая, Зоня! — сказала Марыся.

Но Зоня ошетибилась:

— Для одних добрая, для других злая. Ему даю, не тебе!

Марыся давно заметила, что Зоня недолголюбивает ее, но примирительно сказала:

— Значит, за него спасибо тебе.

Зоня пожала плечами:

— Ты ему такой же сват или брат, как и я. Можешь не благодарить за него. Он сам скажет спасибо, когда вернется. И за это, и за то, что буду смотреть за его хозяйством, все сохраню, чтобы ничего не испортилось.

— Зачем тебе, Зоня, этим заниматься?

— А кто должен?

— Я.

— Ты?.. Почему это ты? Или думаешь, что три года будешь сидеть на шее моего тестя?..  
Кровь бросилась в лицо Марысе.  
— Почему три года? Дядю Антония после апелляции освободят.  
— Либо да, либо нет. А он тебе никакой не дядя. Как же ты собираешься жить здесь?.. На что?..  
Она увидела в глазах Марыси слезы и добавила:  
— Ну, не плачь. Никто тебя отсюда не гонит. Крыши над головой хватит... А еды тоже.  
Я только так сказала, ради интереса. Не плачь, глупая.  
Несмотря на такие заверения, Марыся уяснила свое положение. Действительно, когда не стало дяди Антония, она лишилась права оставаться здесь. Ей дали понять это без особой деликатности, вполне отчетливо.  
И, услышав приглашение к обеду, она не сдвинулась с места. При мысли о том, что вся семья Мельников будет присматриваться к ней за столом, считать каждую ложку дарованной ей пищи и каждый кусок, поднесенный ко рту, ее начинала бить дрожь... Между собой они станут называть ее приبلудой, дармоедкой до тех пор, пока не осмелятся сказать это вслух.  
— Я должна уйти отсюда, должна... Только куда?..  
Она знала от людей, что в магазине пани Шкопковой работает уже другая девушка. Во всей округе она не могла рассчитывать ни на какую работу. Никто же не знал, что она обручена с Лешком, да никто бы и не поверил, даже если бы она решилась объявить об этом во всеуслышание. Зато все знали, особенно после катастрофы, что она встречалась с ним и вдвоем они ездили в лес. С такой репутацией нечего было рассчитывать получить место.  
Нужно уйти... Но куда?  
Она бросилась на кровать и залилась слезами. Марыся плакала над своей жестокой судьбой, над своей единственной большой любовью, которая не принесла ей ничего, кроме боли, стыда и несчастья...  
— Лешек, Лешек, почему ты забыл обо мне! — повторяла, рыдая, Марыся.  
— Эй, панна Марыся, обед! — раздался за окном голос Василя.  
Она даже не шевельнулась, а минуту спустя он вошел в избу:  
— Почему панна Марыся плачет?  
— Не знаю, — ответила она, всхлипывая.  
— Как так?.. Кто-нибудь обидел панну Марысю?.. Я прошу сказать мне!..  
— Нет, нет...  
— Тогда зачем плакать?.. Не нужно... Он беспомощно потоптался на месте и добавил:  
— Когда панна Марыся плачет, я не могу этого видеть. Ну хватит... хватит. А может быть, кто-нибудь сказал что?  
— Нет, нет...  
Парень вдруг вспомнил, что недавно видел, как Зоня выходила из пристройки. Он вскипел от злости.  
— Ну хорошо, — буркнул он и вышел.  
Вся семья сидела за столом. Василь остановился на пороге кухни и спокойно спросил:  
— Почему нет Марыси?  
— Я звала ее, не знаю, почему она не пришла, — пожала плечами Ольга.  
— Не знаешь?..  
— Не знаю.  
— А может Зоня знает?  
Зоня повернулась спиной:  
— Откуда я...  
Василь взорвался:  
— Так я знаю, черт бы тебя побрал!  
— Что с тобой, Василь, что с тобой? — удивился старый Прокоп.  
— А то, что она там плачет! Из-за кого еще она может плакать, как не из-за этой ведьмы? Что ты ей там наговорила?!Зоня уперла руки в бока и воинственно подняла голову:  
— Что хотела, то и наговорила. Понятно?!— Тихо! — не выдержал Прокоп.  
— Так чего он ко мне цепляется!.. Я ей ничего такого не сказала, а если даже сказала, так что?..  
Она здесь из нашей милости, пусть не будет такой гордой.

— Не из твоей милости! — рявкнул, уже не владея собой, Василь.  
— Так пусть идет на все четыре стороны! — заявила возбужденная Зоня.  
— Она?.. — рассмеялся Василь, стараясь придать своему голосу злорадное выражение: — Она?.. Первой уйдешь ты. Еще неизвестно, не станет ли она большей хозяйкой, чем ты, вожжа!.. Не забывай, что отец уже старый, а потом я хозяин. Тебя я с удовольствием вышвырну на все четыре стороны. А захочешь мой хлеб есть, то будешь ей сапоги чистить!  
Все замерли. Домашние и раньше уже замечали, что Марыся нравится Василию, а сейчас услышали это из его уст. Чувство его было, вероятно, глубоким, если у обычно спокойного парня эта ситуация вызвала такое возмущение, что он пригрозил выгнать из дому даже жену брата, которую любил.  
Он стоял бледный, с перекошенным лицом и злобно смотрел на всех присутствующих.  
— Тихо! — возмутился Прокоп, хотя в избе и так воцарилась тишина. Тихо, я говорю! Ты, Василь, выкинь Марысю из головы. Не будь дураком. Не для тебя она, а ты не для нее. Сам поразмыслишь, и все поймешь. А ты, Зоня, иди к ней и попроси, чтобы пришла. И смотри, — погрозил он пальцем, смотри, чтобы захотела прийти. И еще тебе скажу, Зоня, что нехорошо обижать бедную сироту! Бог тебя за это накажет.  
— Я ее не обижаю, Бог свидетель, — ударила она себя в грудь.  
— Так иди. Знай, что Антоний любит ее как родную. Как же так?.. Он в беду попал, а я хлеба и крыши пожалею для этой девушки? Побойся Бога, Зоня. Иди, иди...  
— Почему не пойти, пойду.  
Зоня побежала в пристройку. Обида уже прошла, а может быть, на Зоню подействовала мысль, что эта девчонка не будет ее соперницей, потому что, имея на выбор старого Антония и молодого и богатого Василя, она скорее всего выйдет за парня. Как бы то ни было, она начала извиняться перед Марысей, обнимать ее и целовать.  
— Ну что ты, не плачь, я для тебя все сделаю, не стоит из-за меня слезы проливать. Хочешь этот зеленый платок в цветах? Хочешь, так я отдам его тебе... Ну не плачь не плачь...  
Она гладила ее по волосам, по мокрому от слез лицу, гладила ее руки, пока, наконец, Марыся не успокоилась. Когда они вернулись в кухню, никто уже не вспоминал о конфликте.  
Несмотря на доброту и заботу, какой семья мельника окружала Марысю, ее врожденная впечатлительность не давала ей покоя. Сознание того, что она стала обузой для этих людей и пользуется их добротой, не имея возможности отблагодарить, постоянно отзывалось в ней непрекращающейся болью. Неоднократно она пыталась помочь по хозяйству, но женщин в доме было много и ни одна не нуждалась в помощи.  
Она тяжело страдала, все отчетливее понимая собственную беспомощность. О выезде без гроша в кармане не могло быть и речи. Оставалась лишь одна надежда, что пани Шкопкова примет ее к себе обратно.  
Перед Рождеством Марыся, наконец, собралась в Радолишки. Она вышла довольно поздно, чтобы не показываться там днем.  
Уже смеркалось, когда она остановилась возле дома пани Шкопковой. В комнатах еще не зажгли свет, и маленький Юзик не узнал Марысю.  
— Мамы нет, — сказал он, — но вы подождите, она сейчас придет.  
— Ты не узнаешь меня, Юзик? — протянула к нему руки Марыся.  
— О... Марыся!  
Он бросился ей на шею и начал тараторить, рассказывая самые важные новости. Она узнала, что в магазине сейчас работает тетя Зося, постоянно или нет, ребенок сказать не мог.  
Вскоре пришла пани Шкопкова.  
— О, Марыся, — поздоровалась пани Шкопкова с деланным добродушием. Как поживаешь, дорогая девочка?  
Марыся поцеловала ей руку.  
— Спасибо, пани, сейчас уже все хорошо, но чуть было не умерла.  
— Да, да... Надо зажечь лампу...  
— Сейчас я зажгу, — бросилась Марыся за спичками, но пани Шкопкова сама взяла их.  
— Да что ты? У себя дома я уж сама, — подчеркнуто сказала она. — Я знаю, что ты была в безнадежном состоянии. Что ж, это твоя вина, а я свой долг выполнила. Я предупреждала тебя, что из этого ничего хорошего не выйдет, но ты не слушала старой Шкопковой. Да... да!.. Пришла, наверное, за вещами?

— За вещами, — сказала Марыся и отвернулась, чтобы скрыть слезы.  
— Можешь забрать их, не надорвешься. Я давно их уже сложила и собиралась отправить на мельницу, только okazji не было.  
Воцарилась тишина.  
— Как тебе там живется? — спросила пани Шкопкова, хлопоча возле комода.  
— Так себе.  
— Наверное, не жалеешь, что живешь теперь у них?  
— Хотелось бы, чтоб все было, как раньше, — произнесла едва слышно Марыся.  
— И я бы хотела, — подчеркнуто согласилась Шкопкова. — Что ж поделаешь, если ты выбрала себе другой путь... Твоя мать в гробу, наверное, перевернулась... Была я на кладбище в Задушки, свечку на могилке поставила и веночек из бессмертников занесла, чтобы ее, бедную, порадовать. Что ж, говорю, пани Оксина, дорогая, не вини меня, потому что не один раз и не два предупреждала я твою дочку. Но молодежь не верит опыту стариков. Молись на том свете, чтобы опомнилось твое дитя... Помолилась я и зато, чтобы ты лучших, чем я, опекунов нашла... Вот так.  
По щекам Марыси как горошины скатывались слезы.  
— Клянусь вам, пани, что ничего плохого я не сделала, клянусь!  
— Хотела бы верить, дитя мое, но что моя вера, если все видели, что ты связалась с ветрогоном Чинским, которого Господь милосердный по своей доброте еще до сих пор не покарал. Все знают, что он чуть не убил тебя, а потом бросил... И, если хочешь, дам тебе совет: уезжай отсюда как можно дальше туда, где никто тебя не знает, а в следующий раз избегай таких ненормальных щеголей. А чтобы было за что ехать и чтоб не вспоминала меня с тяжелым сердцем, как я тебя, в своей корзинке найдешь пару злотых... Для начала тебе хватит. Лучше всего поезжай в Варшаву. Там зайди к какому-нибудь ксендзу и обратись с просьбой.  
В большом городе с работой легче.  
Вытерев нос, она добавила:  
— Я подумала, что так будет лучше, хотя, наверное, все напрасно: не слушаешь ты моего совета.  
Марыся схватила ее руку и поцеловала.  
— Скорее всего, я так и сделаю. Спасибо, пани, спасибо вам... Никогда не забуду...  
— Ну иди, дитя, с Богом. Пусть пресвятая дева благословит и сохранит тебя.  
Она обняла Марысю, а проводив ее, крикнула вслед:  
— Напиши мне!  
— Напишу.  
Корзинка из лозы с ее нехитрым содержимым была, нетяжелой, но рука быстро немела, и ее все чаще нужно было менять.  
Мороз отпустил и снег начал падать большими хлопьями, лениво и мягко, но так густо, что в нескольких шагах уже ничего не было видно. К счастью, высокие деревья по обеим сторонам дороги не позволяли заблудиться. Марыся шла все медленнее и медленнее, но не из опасения сбиться с пути: уж слишком много мыслей роилось в голове, много противоречивых чувств оживало в сердце. Она соглашалась с мнением своей прежней опекуниши. Действительно, та права, нужно уехать, уехать как можно дальше, хотя бы в Варшаву. Сейчас у нее есть деньги на дорогу, и каждый день промедления для нее просто невыносим...  
Но покинуть эти места, навсегда отказаться от надежды встретиться с Лешekom, хотя бы издали увидеть его... Оставить дядю Антония?! Он же возвратится сюда... Он столько добра для нее сделал, и они любят друг друга... Конечно, надо ехать, но только в Вильно. Наверное, разрешат навестить его в тюрьме?.. Посоветуют, как быть... Да, и это самое главное, единственно важное сейчас. Что ей еще осталось?  
Она с трудом нашла дорогу к мельнице. Снег ложился так густо, что если бы не шум воды на мельничном колесе и не ржание лошадей возле мельницы, она не нашла бы ее вообще. Свет в избе она заметила только оказавшись совсем рядом и удивилась: в окнах пристройки тоже было светло.  
— Наверное, Наталка пришла туда готовить уроки, — подумала Марыся.  
Отряхнув в сенях сапожки от снега, она открыла дверь и остановилась как вкопаная. Изба вдруг поплыла перед глазами, сердце стремительно застучало, она неожиданно вскрикнула и потеряла сознание.

## Глава XVI

В санатории доктора де Шато, расположенном в Арцахоне, зимний сезон обычно начинался в начале декабря. Сюда съезжались парижане, страдающие артритом. Когда в середине декабря приехал Станислав Чинский и объявил доктору, что хочет забрать сына домой, тот не возражал. — Пожалуйста, — согласился доктор, — ваш сын совершенно здоров. Я бы рекомендовал пока исключить активные занятия спортом, но кости срослись правильно, мышцы под влиянием массажа укрепились. Что касается настроения, то я думаю, что он тоскует по дому и возвращение в семью ободрит его.

— Я тоже надеюсь, — сказал пан Чинский, пожимая доктору руку.

Но, сидя в вагоне напротив сына, он понял, что его надежда не оправдалась. Посоветовавшись с женой, он сам поехал в Арцахон, чтобы забрать Лешека домой на праздники. Они были поражены и напуганы его письмами. После многочисленных просьб он прислал их только два и те короткие, едкие и равнодушные.

Так же равнодушно он встретился с отцом и согласился вернуться домой.

— Мне все равно, — только и сказал он.

Он молча сидел с давно погасшей папиросой в руке и, как будто не слыша рассказов отца о политике, об улучшении конъюнктуры, о новых заказах. Казалось, ему все безразлично, ничто не может заинтересовать его, встряхнуть. Неужели то нервное потрясение после несчастной катастрофы навсегда превратило веселого парня в апатичного меланхолика?..

Пан Чинский напрасно старался хоть чем-нибудь привлечь внимание сына. Лешек ограничивался короткими ответами, бессмысленно изучая носки своих сапог.

Ночью пан Чинский не мог заснуть и заглянул в купе сына. Было у него какое-то неприятное предчувствие, и он не ошибался: Лешек, несмотря на морозную ночь, открыл окно и в тонкой шелковой пижаме стоял, высунув голову наружу. Порыв ледяного ветра ворвался в купе, когда открылась дверь.

— Что ты делаешь, сын! — укоризненно сказал пан Чинский. Хочешь заработать воспаление?

— Ну и пусть, отец, — повернулся к нему Лешек.

— Прошу тебя, закрой окно.

— Мне жарко.

— Я хочу с тобой поговорить.

— Пожалуйста.

Он закрыл окно и сел.

— Ты очень неосторожен, Лешек, — начал пан Чинский. — Ты не только не заботишься о своем здоровье, но сознательно подвергаешь себя опасности.

Ответом было молчание.

— Почему ты не ложишься?

— Мне не хочется спать.

— Но тебе нужен отдых. Твое состояние здоровья еще требует внимания.

— Зачем? — Лешек посмотрел в глаза отцу.

— Как это зачем?!

— Так, зачем? Ты думаешь, что мне это нужно?

— Должно быть нужно.

— А! — махнул он рукой.

— Лешек!

— Дорогой отец! Ты, действительно, думаешь, что жизнь стоит того, чтобы о ней заботились, беспокоились, дорожили ею, затрачивали какие-то усилия?.. Поверь мне, что лично я ею не дорожу.

Пан Чинский напряженно улыбнулся.

— Когда я был в твоём возрасте, — соврал он, — у меня тоже была подобная депрессия, но у меня было достаточно рассудка, чтобы воспринимать это состояние как преходящее.

— Этим мы как раз и отличаемся, — заметил Лешек. — Я знаю, что у меня не преходящее.

— Но я тебя уверяю, ты ошибаешься. Поверь моему опыту. Разумеется, физический и психический шок должен иметь характерные последствия, но это пройдет, пройдет тем быстрее, чем скорее ты приспособишься к своему настроению. Осознание причин депрессии является самым эффективным средством борьбы с нею.

Пан Чинский почувствовал, что его убедительная аргументация не подействовала на сына, и добавил:

— Ты должен помнить о нас, твоих родителях, для которых ты являешься всем. Если ты не в силах этого понять, я взываю к твоим чувствам.

Лешек вздрогнул и после паузы спросил:

— Ты, действительно, считаешь, отец, чувства такой могучей и заслуживающей уважения силой, что ее следует принимать в расчет, когда возникает гамлетовский вопрос: быть или не быть?..

— Разумеется, Лешек.

— Спасибо тебе. Я того же мнения.

— Вот видишь, сын. Приляг сейчас и попробуй уснуть. К утру будем дома. Да... Ты не можешь себе представить, как мама тоскует по тебе. Всегда старается не показывать, быть сильной, но ты же сам знаешь, сколько глубокой нежности скрывается под ее внешней оболочкой. Ну спи, сынок. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, отец, — глухо ответил Лешек.

Он погасил свет, но не лег. Мерный стук колес, легкое покачивание вагона, яркие снопы искр на черном стекле... Так же он возвращался тогда, но тогда он желал ускорить бег поезда, vez для нее обручальное колечко, а для себя счастье.

Цветет ли уже сирень в их оранжерее?.. Да, сирень и сильно пахнущие гелиотропы... Скажу, чтобы срезали все. И, может быть... Там, наверное, лежит глубокий белый снег, а на снегу даже ничего следа нет. Забытый малый холмик...

Он пойдет по этому девственному белому покрову... Первый и последний... Там цель, а отсюда дороги нет... Он положит цветы, всю могилку засыплет цветами... Дойдет ли до нее запах сирени и гелиотропа через снег, толщу земли и деревянную крышку?.. Услышит ли она его шепот, повторяющий самое дорогое имя, самые нежные мольбы, самые отчаянные клятвы?..

Услышит ли она слабее, замирающее биение его сердца среди умирающих цветов, приготовится ли встретить его, забросит ли руки, как прежде, на шею и позволит ли ему насладиться чудесным сиянием ее лучистых глаз?.. Уже навсегда, навеки...

Какая благословенная вера окутала его, когда он подумал об этом. Какой покой спустился на него при мысли о вечном успокоении. Сколько раз, оставаясь один, он погружался в эти бесстрастные, огромные, как космическая пустота, беспредельные пространства смерти. Он погрузился в них уже весь без остатка.

А как тяжело было переносить случившееся первое время! Едва он смог говорить, как со страхом спросил:

— Что с ней?

Мать тогда вздрогнула и кратко ответила:

— Умерла, но ты не думай об этом.

А доктор Павлицкий добавил:

— Перелом основания черепа. С такой травмой можно прожить лишь несколько минут.

И он снова потерял сознание. Сколько раз он приходил в себя, осознание смерти Марыси каждый раз становилось отрицанием его собственной жизни. Лежа с закрытыми глазами, он слышал разговор: доктор упрекнул пани Чинскую:

— Не следовало говорить ему о смерти той девушки. Это неосторожно, подобное известие способно вызвать нарушение нервной системы.

А мать ответила:

— Я не умею лгать, доктор. А что касается меня, то лучше горькая правда, чем ложь. Хотя мой сын не несет ответственности за аварию.

— Я думаю, — заколебался доктор, — о другом. Ваш сын мог испытывать какие-нибудь чувства к этой Марысе...

— Исключено, — прервала его пани Чинская с такой уверенностью, точно само предположение доктора было для нее оскорблением.

Состояние здоровья Лешека быстро улучшалось. В виленской больнице сделали несколько рентгеновских снимков, раны заживали нормально. Но общее состояние больного вызывало все большую тревогу. Как только исчезла угроза здоровью, его перевезли в хирургическую клинику Вены, а затем, на период реабилитации, в Арцахон. В Арцахоне веселая международная компания должна была благотворно повлиять на настроение Лешека. К сожалению, он избегал людей. Не принимал участия в развлечениях и экскурсиях и, хотя автоматически проходил предписанный курс лечения, его настроение не изменялось, по крайней мере внешне. Изнутри и незаметно для окружающих в нем созревало решение.

Оно созрело и принесло облегчение...

Он, конечно, любил родителей и понимал, какую боль причинит им. Но мысль обречь себя на многолетние страдания, которых ничто уже не могло облегчить, казалась ему чем-то чудовищным и во много раз превосходящим его силы.

А кроме того, он хотел смерти, жаждал ее как искупления. Ведь он, непрошенный, почти насильно вторгся в спокойную и радостную жизнь этого удивительного существа. Если бы не он, Марыся до сегодняшнего дня жила бы своей простой и бедной, но спокойной жизнью. Он нарушил ее покой, из-за него она погибла, да еще после смерти о ней осталась дурная слава. И все из-за него. Ему не хватило смелости, чтобы сразу оказать сопротивление всем превратностям судьбы. Он смалодушничал. Скрывая свои намерения, хотел обеспечить себе легкую жизнь, втоптав в грязь ее репутацию!

Он заслуживал наказание! И он должен был его понести, потому что только так можно реабилитировать Марысю, только кара очистит от скверны память любимого существа...

Поезд остановился на такой знакомой маленькой станции. На перроне стояли пани Чинская, Тита Зеновичувна, ее сестра Анелька, брат Кароль, его жена Зулка и еще несколько родственников, которые обычно приезжали в Людвикове на Рождество.

Вымученная улыбка, с какой Лешек приветствовал всех, никого не ввела в заблуждение: он не нуждался в их обществе. Они умышленно поехали встречать его шумно и весело, чтобы сразу расшевелить, развеселить, втянуть в свои беззаботные повседневные дела. Одна лишь Анелька присматривалась к нему молча и как бы сочувственно.

— Какой он худой и грустный, — произнесла она шепотом, обращаясь к пани Чинской.

— Постарайся его развлечь и делай вид, что не замечаешь, как он изменился, — сжала ее руку пани Элеонора. — Он тебя всегда любил.

Две пары саней с позванивающими бубенцами подъехали ко дворцу в Людвикове. На протяжении всего дня Лешека не оставляли одного ни на минуту. В салоне гремело то радио, то грамофон.

Только после ужина он оказался у себя. За время его отсутствия здесь ничего не изменилось.

Лешек с тревогой заглянул в стол: дневник Марыси лежал на прежнем месте.

Всю ночь он читал, по несколько раз перечитывая одни и те же страницы, содержание которых помнил почти дословно. Уснул он только под утро и проснулся поздно. Слуга подал завтрак и доложил:

— Пан хозяин на фабрике и просил поинтересоваться, не захочет ли панич побывать там?

— Нет, — покачал головой Лешек. — Но я попрошу позвать садовника.

— Слушаюсь.

— В оранжерее много цветов?

— Как всегда в праздники. Особенно розы в этом году удались.

После завтрака появился садовник, и они вместе прошли в оранжерею. Лешек указывал удивленному слуге все новые цветы и наконец сказал:

— Все это срежьте.

— Срезать?..

— Да. И упакуйте.

— А куда это?

— Я сам заберу.

— Так вы уезжаете?

Лешек ничего не ответил и направился к выходу.

— Извините, — остановился садовник. — Но вы велели срезать почти все цветы. Это не мое дело, только я не знаю, не будет ли пани...

— Хорошо. Прошу сказать об этом пани и спросить, не будет ли она возражать.

— Пани уехала на машине на станцию и вернется только к обеду.

— Значит, после обеда и спросите. Я тоже еду после обеда.

Лешек не сомневался, что мать согласится даже на большее опустошение оранжереи. Она, конечно же, сразу поймет, зачем ему нужны цветы.

Он вернулся к себе и стал писать письма. Самое длинное — родителям. Короткое и душевное — нескольким приятелям, официальное — полиции и наконец — пани Шкопковой. Это последнее было для него очень важным: ему следовало реабилитировать Марысю в городе. Он закончил писать, когда в дверь постучала экономка, пани Михалевская. Вчера она не успела поздороваться с Лешекком, потому что была очень занята, как всегда перед праздниками. А сейчас, узнав, что Лешек уезжает после обеда, бросила тесто на милость повара только ради того чтобы увидеть пана Лешека и выразить свою радость по поводу того, что, благодаря Богу, она снова видит его здоровым. Она начала рассказывать, как вся округа интересовалась им, кто, что говорил, и кто, что сделал.

Лешек слушал ее болтовню, и ему пришла в голову мысль, что эта женщина, живая летопись всего района, определенно должна знать и то, о чем ему не хотелось бы расспрашивать в городке.

— Дорогая Михалесея, — обратился Лешек к экономке, — у меня есть просьба.

— Просьба?

— Да. Не знаешь ли... — голос его дрогнул, — не можешь ли сказать мне... где похоронили...

— Кого?

— Где похоронили ту... девушку, которая погибла в катастрофе?..

Женщина широко открыла рот:

— В какой катастрофе?

— Ну вместе со мной! — нетерпеливо ответил Лешек.

— Езус Мария! — воскликнула она. — Что пан Лешек говорит? Как ее могли похоронить?! Та Марыся?.. От Шкопковой?.. Так она жива!

Кровь отлила от лица Лешека, он вскочил со стула и чуть было не упал.

— Что?! Что?! — спросил он прерывистым шепотом, так что испуганная Михалевская попятилась к двери.

— Клянусь Богом! — повторила она. — Зачем же ее хоронить! Она выздоровела. Тот знахарь вылечил ее, и его посадили в тюрьму, а она живет на той же мельнице, люди говорили, а наш Павелек, повар, видел ее собственными глазами... Боже! Помогите!

Лешек зашатался и упал. Испуганная экономка подумала, что он потерял сознание, но услышала рыдание и какие-то бессвязные слова. Не понимая, о чем идет речь и чувствуя собственную ответственность за припадок Лешека, она выбежала из комнаты, взывая о помощи. В гостиной собралось все общество. Она вбежала туда и срывающимся от волнения голосом рассказала, что с паном Лешекком что-то случилось.

Однако не успела она закончить рассказ, как влетел сам Лешек. Пробежав через гостиную и не закрыв за собою дверь, он выскочил на террасу.

— Еще простудится! — простонала Михалевская... — Без пальто! Что я наделала!..

Лешек тем временем уже бежал к конюшням.

— Быстро запрягай! — крикнул он первому попавшемуся конюху. — Быстрее! Быстрее!

И начал помогать сам. Все пришло в движение. Из дворца прибежал слуга с шубой и шапкой.

Пять минут спустя сани мчались по дороге в Радолишки, неслись как сумасшедшие, потому что Лешек отнял у кучера вожжи и гнал лошадей сам.

В голове шумело, сердце билось, как паровой молот. Мысли мчались безумным галопом, противоречивые чувства раздирали его душу. Его переполняло огромное, всеобъемлющее счастье и одновременно дикий гнев. Он готов был всем все простить, броситься в объятия своему злейшему врагу, и вдруг челюсти сводило бешенство. Его обманывали! Какой низкий, подлый поступок! Столько времени от него скрывали, что она жива! Он отомстит за это, отомстит без жалости!

И вдруг на Лешека накатывала жалость: сколько же она выстрадала! Наверное, ждала от него весточки, письма, признаков жизни. И постепенно теряла надежду, одинокая, покинутая, забытая в горе человеком, который клялся вечно любить ее. Ну разве не считает она меня теперь негодяем?..

Он заскрипел зубами.

— И все из-за них! О, этого он им не простит. А доктор Павлицкий получит по физиономии. Может, отрезать ему уши? Пусть помнит до конца жизни, что поступил, как шельма. А мать?.. О, она еще больше пострадает за свой омерзительный поступок. Он скажет ей так: — «Из-за твоего мерзкого вранья твой сын покончил бы жизнь самоубийством, но шила в мешке не утаишь. Поэтому знай: ты убила своего сына, во всяком случае все его сыновние чувства. Ты мне чужая и навсегда останешься чужой».

И больше он никогда не обмолвится с нею ни словом. Уедет отсюда навсегда, и сейчас же, потому что отца он тоже не хочет видеть. Как он мог покрывать вранье матери и молчать! Вот она родительская любовь, черт бы ее побрал! Только подумать, как близка была последняя черта, ведь там, во Франции, он уже давно хотел покончить с собой. Тогда его удержало только желание выполнить последний долг по отношению к Марысе. Поэтому он ждал, поэтому возвратился сюда...

— Наверное, Бог руководил моими поступками...

Лешек вдруг показалось, будто он проникает в тайну своего предназначения, будто ему предопределено свыше испытать большое, безмерное счастье. Грандиозность этого счастья он никогда не смог бы оценить по достоинству, если бы не страдания, если бы не безграничное отчаяние, которое отравой пропитало его душу.

И он подумал: в жизни ему постоянно сопутствовали радости, успех, благополучие. Он воспринимал все это как норму, как принадлежащую ему собственность, но не припоминал, чтобы хоть раз почувствовал благодарность, чтобы пробудилось в нем желание внести в обычно произносимую молитву хоть бы один благодарственный вздох. Неужели нужно пройти сквозь тяжкие испытания, чтобы научиться ценить то, что даруется Господом?.. Чтобы понять ценность этого дара, заслужить его? Чтобы созреть до такого счастья?..

Так он думал, пока мысли, как у него бывало всегда, не находили выхода в действии. На первом повороте под крестом он остановил коней так резко, что те задними копытами зарылись в снег, бросил вожжи кучеру, выскочил из саней и преклонив колени и обнажив голову, устремил свой взгляд на маленькую фигурку Христа, вырезанную из жести и почерневшую от ржавчины:

— Спасибо тебе, Боже, спасибо тебе, Боже!.. — повторял он.

Он всегда считал себя верующим. С самого раннего детства его воспитывали в религиозном духе. Он не отличался особым рвением, но не забывал минимум обрядов, практикуемых в костеле, поэтому молитва под крестом на перекрестке для него самого стала откровением. До сего времени он не знал, что такое молитва и какое глубокое облегчение она может принести. Когда он снова сел в сани, то почувствовал внутреннее успокоение и просветление. Смягчились мысли о поступке матери, проснулась рассудительность, и одновременно усилилось ощущение счастья, которое его ждет.

Через Радолишки Лешек промчался галопом и свернул на дорогу к мельнице Прокопа. Уже опустились ранние зимние сумерки, когда кони остановились возле мельницы. У входа стоял работник Виталис.

— Здесь ли живет панна Вильчур? — обратился к нему Лешек.

— Кто это?

— Панна Вильчур.

— Не знаю такой. Может, это панна Марыся?

— Да, да! — Лешек выпрыгнул из саней. — Так где же панна Марыся?

— А она пошла в город. Едучи из Радолишек, вы должны были ее встретить.

— Не встретил. А скоро она возвратится?

— Наверно, скоро.

— Так я подожду.

Из двери высунулась голова Зони.

— Если вы хотите подождать, так, может, удобней будет в комнатах или, может, в пристройке, у Марыси... Проходите, пожалуйста, сюда.

Она вытерла фартуком руки и проводила Лешака в пристройку, нашла спички и зажгла лампу. Он осмотрелся вокруг. Комната была бедной, но чистой.

— Марыся, наверное, скоро придет. Она в город пошла, — начала разговор Зоня. — А пан инженер, я вижу, совсем выздоровел, слава Богу.

— Выздоровел.

— Это настоящее счастье. Когда пана инженера и Марысю сюда привезли, страшно было смотреть. Столько крови, что упаси Боже! Уже и молитвы по умирающим читали. Конец, если бы не Антоний! Не стоит даже и говорить, она убедительно махнула руками.

— Какой Антоний? — заинтересовался Лешек.

— Антоний Косиба, знахарь, который тут живет.

— Живет здесь?

— Ну да, а где? Сейчас-то он в тюрьме, но живет здесь и сюда вернется. Вот здесь, на этой лавке, он спасал пана инженера. Склеивал, сшивал, захохотала Зоня. — Пятна от крови мне пришлось стеклом выскрести, не поддавались. А ее, Марысю, на этом столе ремонтировал. С вами было плохо, ну а с ней даже надежды никакой не оставалось. Она и не дышала уже. Кости в мозг вошли. Доктор, когда забирал пана в машину, говорил, что ей уже капут. Для этой бедняги, говорил, только гроб, а жаль, говорил, потому что красивая. По правде говоря, никто уже не думал, что она через неделю оживет. Антоний даже чемодан с этими медицинскими приборами украл, чтобы ее спасти. Днем и ночью сидел около нее. Сам уже не знал, что делать, даже овчара из Печек просил позвать, чтобы порчу снял. А она все равно как мертвая. И, наконец, когда я зарезала белую куру под окном, так сразу дело пошло на поправку. Лешек внимательно слушал и подумал, что, возможно, несправедливо осуждал мать и доктора Павлицкого за умышленную ложь. Они, как видно, были уверены, что умирающая Марыся после их отъезда уже не выживет. Рассказ этой молодой женщины, казалось, свидетельствовал в их пользу. Однако позже мать узнала, что Марыся жива. Тогда почему не написала ему ни слова об этом? Почему ни словом не обмолвился отец, почему только в Людвикове, и то лишь случайно, он узнал об этом? Это, несомненно, их вина, и Лешек снова почувствовал обиду на родителей. Однако ее приглушало чувство собственной несправедливости. Уж чересчур сурово и поспешно он осудил родителей и Павлицкого.

— А панна Марыся уже совсем поправилась?

— Да. Стала такая же красивая, как и раньше, — рассмеялась Зоня. Только забот у нее много, вся заплаканная ходит.

— Каких забот?

— Откуда мне знать, но забот, я думаю, у нее хватает. Во-первых, из-за болезни она потеряла работу: пани Шкопкова взяла в магазин другую девушку, свою родственницу кажется.

— Ну, это не важно! А что еще?

— А еще Антоний. За то воровство приборов и вроде за то, что лечит, а права не имеет, его посадили на три года в тюрьму.

— Но это невозможно!

— Возможно, наверное, раз посадили.

И Зоня подробно рассказала Чинскому, как все произошло.

— Советовались мы, как его спасать, но какое ж тут может быть спасение, — закончила она. — Ну, извините, мне надо идти по хозяйству. Марыся, думаю, скоро подойдет.

Она вышла, а Лешек начал с нежностью присматриваться ко всем предметам в избе. Во всем чувствовалась любовь Марыси к чистоте и уюту. Сколько же пришлось поработать этим маленьким ручкам!

— Скоро все кончится! — подумал он, и его охватила безмерная радость.

За окнами большими хлопьями падал снег, все плотнее укрывая землю толстым пушистым ковром.

Только бы не заблудилась, — забеспокоился Лешек.

В сенях послышались шаги. Лешек был уверен, что это она. Он стоял посередине избы и ждал. Дверь открылась. Марыся остановилась на пороге, вдруг вскрикнула и упала бы, если бы он не подхватил ее. Он осыпал поцелуями ее губы, глаза; под его руками таял снег на ее пальто. Постепенно она пришла в себя.

— Единственная моя, — шептал он. — Счастье мое... Наконец ты со мной, живая и здоровая, родная моя... Все складывалось против нас, но сейчас нас ничто не разлучит, ничто не разделит... Наверное, думала обо мне плохо, думала, что я забыл о тебе. Но это не так! Клянусь тебе, что это неправда! Скажи, что веришь мне!

Она ласково прижалась к нему.

— Верю, верю, верю...

— Ты еще любишь меня?

— Люблю. Люблю тебя так, как никогда прежде не любила.  
— Солнышко мое! Чудо мое! Скажи, ты не думала обо мне плохо?  
Он заметил в ее глазах колебание.  
— Плохо не думала, — отозвалась, наконец. — Совсем нет. Только мне было очень грустно. Я так ждала... Так сильно ждала... Столько дней.  
— Поверь мне, — сказал он, вдруг став серьезным, — ты была счастливее меня. И я столько же дней пережил, но были они во сто крат, в миллион тяжелее твоих, потому что я ничего не ждал.  
Он умолк и добавил:  
— Меня обманули.  
— Не понимаю, — покачала головой Марыся.  
Лешеку тяжело было сказать правду, но, наконец, он выдал из себя:  
— Скрыли от меня, что ты... выжила. Нет, я не думаю, что это сделано умышленно. Вначале твое состояние было безнадежным, а потом... Ведь никто не знал, что ты для меня значишь, поэтому мне не сообщили, что ты жива.  
В глазах Марыси заблестели слезы:  
— Сейчас понятно... И... и грустно тебе было, что меня больше нет?  
— Грустно ли?! — воскликнул он. — Марыся! Вот доказательства! Смотри!..  
Он сунул руку в карман, во второй, обыскал все.  
— Должно быть, эти письма оставил в Людвикове на столе. Прочтешь их завтра.  
— Писал мне. Лешек? — удивилась она.  
— Не тебе, счастье мое! — возразил он, закусывая губу. — Это прощальные письма к родителям, друзьям. Я приехал вчера и сегодня утром написал их. А вечером...  
Он посмотрел на черные окна, до половины засыпанные снегом:  
— В это время... меня уже не было бы.  
— Лешек! — вскрикнула она в ужасе.  
Они обнялись, и их слезы смешиваясь, ручейками потекли по щекам. Они плакали над горьким прошлым, сердечными переживаниями, над отчаянием, плакали над своим счастьем, таким большим и необъятным, что в его беспредельности они чувствовали себя маленькими, потерянными и несмелыми.

## Глава XVII

Лешек не ошибался. Выезжая из дома в полусознательном состоянии, он, действительно, оставил письма на столе рядом с еще не подписанными конвертами. После его отъезда в Людвикове начался переполох. Экономка, пани Михалевская, переволновавшись, потеряла сознание, а позже, придя в чувство, рассказывала о разговоре с Лешекком так путано, что прошло много времени, прежде чем удалось понять, что к чему. В этой запутанной истории разобрался пан Чинский, за которым, конечно, не медля ни секунды, послали на фабрику. Он не ограничился вопросом Михалеси. От слуг он узнал, что Лешек вызывал садовника, а садовник рассказал, что ему было приказано срезать все самые красивые цветы в оранжерее. Само собой разумеется, пан Чинский не пренебрег утверждением экономки, что она застала Лешека, когда он писал письма. Пан Чинский был достаточно осторожен, поэтому, несмотря на энергичные требования членов семьи, он никого не впустил в комнаты сына и сам ознакомился с содержанием писем. Во время чтения руки пана Чинского начали дрожать, на лбу выступили капли пота. Письма и рассказ экономки совершенно определенно раскрывали причины апатии Лешека и его внезапного отъезда.  
И когда вернулась пани Чинская, пан Станислав, пригласив ее в кабинет, смог связно описать ей происшедшие события, а также дать им верное толкование:  
— Сегодня утром Лешек позвал садовника и велел ему срезать почти все цветы в оранжерее, сказав, что заберет их сам, но не объяснил куда. Потом начал писать письма. Я позже дам их тебе, дорогая Эля, ты прочтешь их, но хочу тебя заверить, что опасность уже миновала.  
— Какая опасность? — деловито спросила пани Чинская?  
— Намерение Лешека покончить жизнь самоубийством.  
— Абсурд! — нахмурила бровя пани Чинская.

— Читай! — ответил муж, подавая ей исписанные листочки бумаги.

Она читала быстро, и только ускоренное дыхание свидетельствовало о ее глубоком переживании. Закончив читать, она продолжала молча сидеть, закрыв глаза. Лицо ее мгновенно состарилось.

— Где он? — тихо спросила она.

— Послушай дальше. Письма остались здесь, потому что в комнату вошла Михалевская. Лешек спросил ее, на каком кладбище похоронена та девушка, о которой с таким отчаянием он пишет в своих письмах. Михалевская, разумеется, была удивлена и рассказала ему, что девушка жива. Она подсказала ему также, где ее можно найти. Можешь себе представить, какое впечатление произвела эта новость на Лешека. У него был нервный приступ или что-то в этом роде. Потом он как сумасшедший помчался в конюшни запрягать лошадей, ему едва успели принести шубу и шапку. Он направился в сторону Радолишек, наверное, на эту злосчастную мельницу, где, как тебе известно, живет девушка по имени Марыся.

— Ты послал за ним кого-нибудь?

Пан Чинский пожал плечами.

— Это бессмысленно, с ним кучер. Ожидая твоего возвращения, я не принимал никакого решения. Однако долго размышлял над ситуацией и пришел к определенному выводу. Если не возражаешь...

— Слушаю тебя.

— Теперь мы уже знаем, что чувства Лешека к этой девушке не мимолетное увлечение, а глубокая любовь.

— Это абсурд, — закусила губу пани Чинская.

— Я согласен с тобой, но нам следует считаться с объективными фактами. Совершенно очевидно, что он любит ее. Никто не расстается с жизнью от отчаяния из-за гибели просто милого человека. Это одно. И тут он узнает, что девушка жива, и получает такое нервное потрясение, что пугает всех домочадцев. Ничего удивительного в этом нет: человек, который несколько месяцев находился в глубокой депрессии и обдумывал планы самоубийства, вдруг находит все, что потерял. Тогда он вспоминает, что это именно ты, его родная мать, рассказала ему о смерти девушки. Он понимает также, что мы оба не сообщили ему о ее выздоровлении. Теперь представь себе, что он думает о нас, как он нас ненавидит!

Пани Чинская прошептала:

— Я же ему не лгала. Во всяком случае, была уверена, что говорю правду.

— Однако когда ты убедилась в обратном, то решила скрыть от него правду.

— Я не скрывала. Просто не думала, что это так важно для Лешека.

Пан Чинский сделал неопределенный жест рукой.

— Ошибаешься, дорогая Эля. Ты со всей определенностью сказала мне, что нужно скрыть от Лешека выздоровление Марыси.

— Для его же пользы.

— Это другой вопрос.

— Для его пользы. Я хотела, чтобы этот роман выветрился у него из головы.

Пан Чинский нетерпеливо поерзал в кресле.

— Ты все еще называешь это романом?.. Сейчас, после того как прочла его письма?..

— Я не делала ударения на этом слове.

— Кроме того, он пишет, что они были обручены, называет ее своей невестой, объясняет, что скоро должен был состояться их брак.

— Я никогда бы не согласилась на это, — взорвалась пани Элеонора. Никогда не дала бы своего благословения!..

Пан Чинский встал.

— Сейчас я сомневаюсь, принял ли бы Лешек наше благословение даже если бы мы умоляли его об этом. Эля, неужели ты так и не поняла, что произошло? Неужели ты не отдаешь себе отчета в том, что мы едва не убили своего ребенка?! Дай-то Бог, чтобы мы его и так не потеряли навсегда!..

Спокойствие покинуло его совсем. Он взялся руками за голову и забегал по кабинету, повторяя:

— Я его знаю. Он нам этого не простит. Я его знаю. Он не простит!

— Возьми себя в руки, Стась, — слегка дрожащим голосом отозвалась пани Чинская. — Я понимаю твоё беспокойство и даже разделяю твои опасения. Но мне не в чём себя упрекнуть. Я по-прежнему считаю, что долг родителей заботиться о будущем своего ребенка...

— Эля, ему тридцать лет!

— Тем более, если, несмотря на свои тридцать лет, он хочет неразумно распорядиться жизнью. Отказ от принципов ради эгоистического удовольствия получить одобрение сына, который собирается испортить себе жизнь — не что иное, как проявление нашей слабости!

— Иначе говоря, — рассмеялся пан Чинский, — ты считаешь, что лучше потерять сына, чем отказаться от своих планов на будущее?..

— Я этого не сказала.

— А что же ты сказала?!

— Что должна придерживаться принципов... но...

— Что но?..

— Но у меня нет для этого достаточно сил, и у тебя, к сожалению, мне тоже не найти поддержки.

Пани Элеонора тяжело опустила голову.

— Чепуха, моя дорогая, — убежденно ответил ей муж. Предположим, что у нас хватит сил и мы не отступим от своих принципов. Во что превратится тогда наша жизнь?.. Мы выроем пропасть между нами и сыном — единственной целью нашего существования, единственным плодом, единственным оправданием нашей жизни в этом мире.

Он положил руку на плечо жены:

— Скажи, Эля, кто у нас останется?.. Что нам останется?.. Представляешь ли ты себе нашу дальнейшую жизнь?..

— Ты прав, — кивнула головой пани Чинская.

— Несомненно. Прими во внимание еще одно: мы не знаем этой девушки. Наша неприязнь к ней основана только на ее низком социальном положении. Мы не знаем о ней ничего, кроме того, что она работала продавщицей маленького магазина, зато мы знаем, что ее полюбил наш сын. Ты думаешь, что он мог полюбить вульгарное, неинтеллигентное, глупое существо, лишенное всяких достоинств? Ты не припоминаешь, как сама отмечала его наблюдательность, правильные замечания в адрес знакомых и критическое отношение к женщинам?.. Почему, ничего не зная о девушке, которую он выбрал, мы думаем о ней самое плохое? Точно так же мы могли бы представить, что она неземное существо. И я убежден — а ты знаешь, я слов на ветер не бросаю, — что большинство наших сомнений исчезнет в тот момент, когда мы познакомимся с ней.

Пани Чинская сидела молча, подперев голову руками и, казалось, рассматривала ковер.

— Если наши возражения во время знакомства возрастут, то, поверь мне, — продолжал пан Станислав, — с течением времени и Лешек разделит их, когда у него появится возможность наблюдать ее в нашем обществе.

— Что ты имеешь в виду?

— Думаю, что самое разумное сейчас забрать эту Марысю к нам.

— К нам?.. В Людвиково?..

— Естественно. И более того, со своим приглашением мы должны поспешить.

— Почему?

— Потому что, если мы сейчас не проявим свое доброе отношение, если Лешек хоть на минуту подумает, что мы колеблемся и по-прежнему хотим оторвать его от Марыси, тогда для нас все будет кончено. Кто знает, не забрал ли он ее уже с этой мельницы и не увез ли к кому-нибудь из своих приятелей?

— Так что же делать? — руки пани Чинской сжались.

— Как можно быстрее ехать туда.

— Куда?.. На мельницу?

— Да. Если еще не поздно.

Пани Чинская быстро встала.

— Хорошо. Пошли за шофером, пусть выезжает.

— Спасибо тебе, Эля, — он привлек ее к себе. — Мы не пожалеем об этом. Стареем, дорогая, и нам нужно все больше тепла.

Когда он вышел, пани Чинская вытерла слезы.

Несколько минут спустя большой черный автомобиль отъехал от крыльца. Погруженные в свои мысли Чинские не проронили ни слова, даже забыли сказать шоферу, куда ехать. Но ему это и так было известно. В Людвиково все знали, куда едут родители Лешка и зачем. Как же иначе? Ведь есть законы, заставляющие сердца биться в унисон, все их чувствуют и всем они понятны.

Длинная тяжелая машина повернула к мельнице. Сани, груженные зерном, превратили дорогу в сплошные выбоины: приходилось ехать медленно и осторожно. Яркий свет фар метался снизу вверх, неожиданно выхватывая из темноты то силуэт ольхи, покрытой шапкой смерзшегося снега, то черные стволы верб, поросшие тонкими веточками, и, наконец, покатые крыши построек.

Снегопад прекратился, и шофер уже издалека заметил стоявшие возле мельницы сани из Людвиково.

— Наши лошади возле мельницы, — сказал он, не оборачиваясь.

«Слава Богу, что они еще здесь», — подумали Чинские.

На свет фар из дома вышел кучер, который, накрыв лошадей накидками, грелся в кухне возле печки, а также старый мельник, считавший своим долгом приветствовать хозяев Людвиковского поместья.

— Сын ваш здесь, в пристройке у панны Марыси. Позвольте, я провожу вас.

— Спасибо, Прокоп! — сказал пан Чинский и, беря под руку Элеонору, шепнул:

— Помни, Эля, хочешь чужое сердце завоевать, нужно свое отдать.

— Знаю, мой добрый друг, — она прижалась к его плечу. — И не бойся.

Она уже преодолела себя и в глубине души согласилась с тем, что еще недавно сочла бы за оскорбление. Второй раз в жизни судьба заставляла ее переступить этот порог. Казалось, неумолимый рок повернул время вспять и снова вернул ее в грозную, тревожную ночь, оставив наедине со страхом и сомнениями перед домом с маленькими квадратными оконцами.

На стук в дверь Лешек уверенным, даже вызывающим голосом ответил:

— Войдите!

О приезде родителей его предупредили сполохи от автомобильных фар, освещавших заснеженные верхушки деревьев. Он знал, что они приедут, но вот с чем? Лешек вскочил и стал впереди Марыси, как бы стараясь заслонить ее от надвигающейся опасности. Лицо его вытянулось и побледнело. Он плотно сжал губы, с которых готовы были сорваться резкие, безжалостные слова.

Дверь открылась, и они вошли. В те секунды, что родители задержались на пороге, Лешек все понял. На лице отца он заметил добрую, тихую улыбку, глаза матери покраснели от слез, а губы дрожали.

— Сынок! — прошептала она едва слышно.

Лешек бросился к ней и начал целовать.

— Мама! Мама!..

В этих двух с волнением произнесенных словах заключалось все: и боль, и упреки, и надежда, и обида, просьбы о прощении и само прощение. Страдания обоих и внутренняя борьба, взаимные оскорбления и мучительные хлопоты, жестокие решения и нежнейшее умиление — все вобрало в себя эти два слова: сынок, мама.

Они молча обнялись, желая только одного — чтобы ничто больше не омрачало радость примирения и обретения утраченного взаимопонимания.

Пани Чинская пришла в себя первой и тепло обратилась к сыну:

— Разрешите, Лешек, познакомиться с вашей будущей женой.

— Мама! Присмотрись к этой девушке... Я люблю ее больше всех на свете. Но она заслуживает большего!

Марыса стояла, опустив глаза, смущенная и оробевшая.

— Мы с папой, — сказала пани Элеонора, — добавим наши чувства к твоим, сынок, и тогда, может быть, нашей общей любви окажется достаточно.

Она подошла к Марысе, обняла ее и сердечно поцеловала.

— Ты прелестна, дитя мое, и я верю, что твоя юная душа также прекрасна. Я надеюсь, что мы подружимся и у тебя не будет оснований считать меня своей соперницей, хотя мы обе любим одного парня.

Пани Элеонора улыбнулась и нежно погладила покрывшееся румянцем лицо девушки.

— Посмотри на меня, я хочу заглянуть в твои глаза, хочу проверить, сильно ли ты его любишь.

— Ох, сильно, пани! — тихо сказала Марыся.

— Я не пани для тебя, дорогое дитя. Я хочу, чтобы ты считала меня матерью.

Марыся наклонилась и припала губами к рукам этой высокомерной дамы, которая еще недавно была для нее совсем чужой, надменной, пугающей и недостижимой и которую сейчас она имела право называть матерью.

— Позволь и мне, — пан Чинский протянул к Марысе обе руки, поблагодарить тебя за счастье нашего сына.

— Это я благодаря ему счастлива! — улыбнулась, несколько осмелев, Марыся.

— Вы посмотрите, какая она красивая! — восторженно воскликнул Лешек, наблюдавший за всем происходящим в состоянии радостного изумления.

— Поздравляю тебя, парень! — похлопал его по плечу отец.

— Заслуженно, правда? — горделиво кивнул головой Лешек. — Но вы ее еще не знаете, а когда узнаете также, как я, то поймете, что она настоящее сокровище, олицетворение чуда!

— Лешек, — засмеялась Марыся, — как тебе не стыдно так обманывать родителей! После такой рекламы мама с папой будут искать во мне необыкновенные достоинства, подтверждающие ее. Тем тягостнее будет разочарование, когда они убедятся, что я простая и глупенькая девушка...

— Твоя скромность, — прервала ее пани Чинская, — уже сама по себе большое достоинство.

— Это не скромность, — покачала головой Марыся. — Прошу вас не думать, будто я не понимаю, кто я и как тяжело мне будет, сколько усилий и труда потребуется приложить, чтобы приблизиться к уровню того круга, в котором вы вращаетесь, чтобы не отталкивать и не позорить Лешека своим образованием и воспитанием. Я откровенно признаюсь — мне страшно, боюсь не справиться с такой задачей. И если, несмотря ни на что, я решилась на все возможные... разочарования... унижения... то только потому, что очень люблю Лешека... Она говорила быстро, не поднимая глаз, а ее прерывистое дыхание свидетельствовало о том, что она высказывает самые сокровенные и волнующие ее мысли.

Лешек окинул торжествующим взглядом родителей, как бы говоря:

— Видите, какую девушку я выбрал?

— И если сегодня я такая счастливая и гордая, что становлюсь его женой, — продолжала Марыся, — то вовсе не потому, что каждая бедная девушка из магазина мечтает выйти замуж за богатого и красивого мужчину. Я, действительно, радуюсь, что он, зная столько прекрасных пани, равных ему по состоянию и положению, выбрал меня, сироту без роду, без племени. Я счастлива и горда, потому что он — самый благородный и самый замечательный человек, какого я знаю.

Пани Чинская привлекла ее к себе.

— Мы понимаем друг друга, дорогое дитя. И поверь, что мы уже смогли оценить благородство твоих намерений. Не сомневайся, у нас тебя не встретят неприятности, напротив, ты найдешь открытые сердца и самую искреннюю помощь. Не говори больше никогда, дорогая девочка, что ты сирота, ибо с сегодняшнего дня у тебя есть мы и дом, который с этого момента стал и твоим домом.

Марыся снова склонилась к рукам пани Элеоноры, чтобы поцеловать и чтобы спрятать слезы, которые застилали ей глаза:

— Вы такая добрая, — прошептала Марыся. — Я даже не представляла, что пани такая добрая... мама.

Пан Чинский тоже был тронут. Улыбнувшись и крикнув, он сказал:

— Ну а сейчас, раз уж мы вспомнили о существовании нашего дома, я думаю, будет лучше, если мы все вместе туда отправимся. Поможем Марысе упаковать вещи, после чего заберем ее в Людвиково.

— Разумеется! — поддержала мужа пани Элеонора. — Нет нужды оставаться здесь дольше.

Марыся снова покраснела, а Лешек сказал:

— Видишь ли, мама... Я боюсь, что моей Марысеньке было бы немножко неловко.

В Людвиково столько гостей, людей для нее совершенно чужих...

— Значит, ты хочешь позволить ей остаться здесь? — удивилась пани Чинская.

— Боже упаси! Но у меня есть идея: я бы хотел поехать с Марысей в Вильно.

— Сейчас?... На праздники?

— До праздников еще пять дней. Нам нужно туда поехать по двум причинам: во-первых, мы должны отблагодарить почтенного Косибу, которого посадили в тюрьму за то, что он спас нам жизнь. Хочу поручить его дело Вацеку Корчинскому. Такой адвокат может выиграть любое дело. Я не прощу себе, если упущу хоть малейшую возможность отблагодарить человека, которому так обязан и который так безгранично привязан к Марысе.

— Да, это очень разумно, — согласилась пани Элеонора.

— А вторая причина заключается в пополнении гардероба моей королевы. Лично я не придаю этому никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы среди людвиковских гостей она не чувствовала себя неловко. Надеюсь, что с помощью пани Корчинской мы решим этот вопрос.

— И здесь я согласна с тобой, — кивнула головой пани Чинская. — Но я не могу полностью положиться на вкус пани Корчинской, поэтому поеду с вами сама, чтобы лично заняться таким важным делом.

— Мама! Ты — ангел! — воскликнул Лешек.

Он, действительно, был бесконечно благодарен матери за такое решение. Ему хотелось, чтобы Марыся, перед тем как поехать в Людвиково, сблизилась с кем-нибудь из родных, чтобы ей легче было справиться со своим новым положением. Зная настоящий талант матери в общении с людьми, он не сомневался, что под ее влиянием такая интеллигентная и утонченная девушка, как Марыся, даже за столь короткое время научится многому, и прежде всего, раскованности в общении, что, как правило, в новом обществе дается далеко не каждому.

Спустя полчаса Чинские уехали, так как пани Элеонора должна была собраться в дорогу Лешек и Марыся остались. Они собирались выехать через два часа, чтобы встретиться с матерью на вокзале. Тем временем в пристройку зашел старый Прокоп и пригласил обоих на ужин. Тот факт, что молодой хозяин Людвиково берет в жены девушку из-под его крыши, был для него, как он говорил большой честью, поэтому на столе появилась бутылка вишневой наливки, а в адрес молодых хозяин произнес длинную речь насыщенную высказываниями из Священного писания и личными философскими рассуждениями.

На ночной поезд, как правило, приезжало мало пассажиров. Но в тот день, накануне праздников, в зале ожидания собралось много жителей городка, направлявшихся в Вильно за покупками. Появление Лешака с Марысей в сопровождении пани Чинской вызвало понятную сенсацию. Начальник станции счел своим долгом поздравиться с пани Чинской и поинтересоваться:

— Уважаемая пани бежит из наших краев на праздники?

— Нет. Мы возвращаемся через несколько дней, — ответила пани Чинская. — Еду с сыном и будущей невесткой решить кое-какие вопросы.

У начальника от неожиданности отвисла челюсть, а Лешек удовлетворенно улыбнулся и подумал: «Ну, завтра сплетницам будет о чем поговорить и в Радолишках и по всей округе».

## Глава XVIII

За тюремной пекарней лопнула канализационная труба. Заключение, приговоры которых еще не вступили в силу, не заставляли работать, но Антоний Косиба сам просился на работу. Он предпочитал тяжелый физический труд, безделью в душевной камере, где нужно было выслушивать рассказы соседей о драках, разных воровских операциях и подобных планах на будущее. После таких пустых дней приходили мучительные бессонные ночи. Поэтому, когда нужно было разгружать уголь, очищать двор или крыши домов от снега, носить картофель в кухню, он первым вызывался поработать. Потом, измученный, он засыпал мертвым сном и у него не оставалось времени думать о себе, о Марысе или еще о чем-нибудь.

Приговор он принял с покорностью, безропотно и, хотя считал меру наказания вопиющей несправедливостью, не восставал против него. К несправедливости он привык уже давно. Она не возмущала его, не удивляла, даже не огорчала. Антоний знал, что бедный человек должен привыкнуть к ней, как к слякоти и морозам. Бог, который посылает ненастье, создал также и злых, жестоких, жадных и бесчувственных людей.

От апелляции Антоний Косиба тоже ничего для себя не ждал. Одно лишь мучило его и не давало спать по ночам: как живет без него Марыся?

Правда, зная Прокопа Мельника, он не допускал мысли, что в его доме девушку ожидали неприятности, но ведь для такой девушки, как она, уже само одиночество становится оскорблением... А ведь он столько ей обещал!.. Так красиво представлял, как они заживут под одной крышей. Конечно, пришлось бы брать у больных деньги, особенно у богатых, чтобы приобрести для Марыси книги, которые она так любит, и красивые платья, которые больше подходят к ее нежной красоте, чем простые ситцевые. С утра он работал бы на мельнице, после обеда вместе с ней принимал бы больных, а вечерами Марыся своим звонким голоском читала бы вслух разные стихи и романы.

И вот все мечты лопнули как мыльный пузырь. Три года — это большой срок. За три года многое может измениться. После отбывания наказания он вернется на мельницу, но что если ее уже там не будет?

Что тогда?..

«Тогда снова начнется пустая, бесцельная жизнь. Жизнь не для себя, не для людей и не для Бога, потому что я не дорожу ею, люди унижают, а Бог откуда-то свысока с безразличием смотрит на эту возню.

И что тогда?..

Столько лет я бродил по свету, не имея иной цели, кроме как получить пищу на день и кров на ночь. И вот тогда, когда появился в этой пустыне первый, единственный лучик света, когда я почувствовал в груди живое биение сердца и теплое человеческое чувство, когда понял, что обрел, наконец, цель и потребность в существовании, судьба нанесла удар и все разнесла вдребезги».

Как живо вспоминал он сейчас те страшные минуты, когда Марыся находилась между жизнью и смертью, когда в бессильном отчаянии он сидел возле нее, исчерпав все усилия, потеряв всякую надежду на ее спасение, не в состоянии даже молиться. То же самое он переживал по ночам в тюрьме. Его мысли настойчиво вращались над водоворотом разочарования, который втягивал, поглощал все, что он любил, для чего хотел жить, ради чего стоило жить.

И снова в нем пробуждались туманные, расплывчатые воспоминания. Казалось, что когда-то давно он уже переживал подобное несчастье. Но напрасно Антоний напрягал память: вспоминалось лишь странное имя, которое он, пожалуй, никогда не слышал и в то же время откуда-то знал, — Беата.

Почему это имя постоянно всплывало в его сознании? Почему своим звучанием вызывало тревогу? Что оно означало?..

Антоний Косиба лежал с открытыми глазами на жестком тюремном сеннике и всматривался в темноту, испытывая непреодолимое желание раздвинуть ее и выйти к свету. Но память останавливалась всегда на одних и тех же образах, как перед неприступной стеной.

...Осень и разползшаяся дорога; простая мужицкая телега, запряженная толстобоккой маленькой лошадкой... Он лежит на телеге и спит, а головой больно ударяется о доски. От этой боли и толчков он проснулся...

А что было до того?..

Здесь вставала неприступная черная стена беспомощности, за которой скрывалась тайна: какая-то забытая, вычеркнутая из действительности жизнь. Знал он только одно: та жизнь существенно отличалась от настоящей. Она была связана с совершенно другим слоем общества и с загадочным именем — Беата.

В первые годы своих странствий он пытался проникнуть за эту преграду, отрезавшую его памяти доступ к прошлому. Он понимал, что, как и у всех, у него было детство и юность. В беседах со встречавшимися ему людьми он осторожно выяснял, что все помнят свое детство. Сначала он рассказывал о своем странном состоянии, а потом перестал, потому что этому никто не верил. Над ним только смеялись, но допускали, что у него есть основания забыть собственное прошлое. Но сам он продолжал напрягать мозг, продолжал свои бесконечные попытки преодолеть стену забвения. И каждый раз, измучившись, исчерпав себя до конца, почти в бессознательном состоянии возвращался к действительности и клялся себе, что таких попыток больше не будет.

Шли годы. Он привык, смирился со своим положением и отказался от бесплодных усилий вспомнить прошлое. Только иногда какое-нибудь происшествие неожиданно будило в нем смутную тревогу и страх, который испытывает каждый человек перед тайными силами, действующими в глубине его подсознания...

В тот день с раннего утра вместе с несколькими заключенными он занимался откапыванием лопнувшей канализационной трубы. Благодаря оттепели, державшейся уже несколько дней, поверхность земли превратилась в болотистое месиво, зато глубже почва оказалась замерзшей и приходилось работать заступом и киркой.

Около десяти часов со стороны канцелярии подошел старший охранник Юрчак.

— Ого, кажется кого-то вызовут на свидание, — высказал предположение один из заключенных.

Он не ошибался: вызывали Антония Косибу.

— К тебе пришла молодая пара, — объяснил охранник.

— Ко мне?.. Наверное, ошибка!..

— Не болтай, а иди в комнату для свиданий.

Там Антоний еще никогда не был. Его никто не навещал, и сейчас он ломал себе голову над тем, кто бы это мог быть. Если приехали Василь с Зоней, то охранник не назвал бы их так почтительно «паньством».

В первую минуту мрак, царящий в комнатке, разделенной решетками, не позволил ему узнать Марысю, тем более что одета она была не в свое пальтишко и берет, а в элегантную шубу и шляпу. Рядом с ней он увидел молодого Чинского.

Косиба едва преодолел внезапный порыв повернуться и выйти. Предчувствие подсказывало, что его ждет неприятное известие, какой-то неожиданный удар. Почему они вместе и что означает это переодевание Марыси?..

— Дядя Антоний! — позвала девушка. — Дядя меня не узнает?..

— День добрый пан Косиба, — приветствовал его Лешек.

— День добрый, — ответил он тихо.

— Пан Косиба, вам не о чем беспокоиться, — весело произнес Чинский, скоро все будет улажено. Если бы я раньше узнал о неприятностях, которые свалились из-за нас на вашу голову, то давно занялся бы этим делом. Вам недолго осталось тут находиться. Мы сделаем все, чтобы ускорить апелляцию. Я убежден, что скоро вас выпустят. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, как в тюрьме...

— Дорогой дядя, вы так похудели, — заметила Марыся.

— А ты похорошела, голубка, — улыбнулся он.

Она кивнула головой в знак согласия:

— Это от счастья.

— От счастья?..

— Да, от большого счастья, которое встретило меня.

— Какое же это счастье? — спросил Косиба.

Марыся взяла Лешека под руку и сказала:

— Он вернулся ко мне, и мы никогда больше не расстанемся.

— Марыся согласилась стать моей женой, — добавил Чинский.

Знахарь схватился двумя руками за решетку, которая разделяла их. Ему показалось, что пол закачался у него под ногами.

— Как это? — подавленно спросил он.

— Да, дядя, — с улыбкой ответила Марыся.

— Лешек вылезился и возвратился из-за границы. Видишь, как несправедлив ты был по отношению к нему. Он меня очень любит, почти так же сильно, как я его...

— Наоборот, — весело прервал ее Лешек, — я значительно сильнее!

— Это невероятно, но скоро наша свадьба! Мы приехали сюда вместе с мамой Лешека. Она купила все эти вещи для меня. Как я тебе нравлюсь, дядя?..

Только сейчас она заметила странную подавленность своего старого друга.

— Дядя, ты рад моему счастью? — спросила Марыся и вдруг поняла: Какие мы эгоисты! Мы забыли, что ты вынужден тут находиться. Не обижайся!

Знахарь пожал плечами.

— А кто ж обижается... Вот... не ожидал... Дай вам Бог всего самого хорошего...

— Спасибо, большое спасибо, — подхватил Лешек. — Но прошу вас, не беспокойтесь о своей судьбе. Мы поручили ваше дело самому лучшему адвокату в Вильно — Корчинскому. Он утверждает, что сможет освободить пана, а ему можно верить.

Косиба безучастно махнул рукой.

— А, не стоит труда!..

— Что дядя говорит! — обиделась Марыся.

— Ничего не жаль, — уверенно сказал Лешек. — Пан наш — самый большой благодетель. До конца жизни мы не сможем отблагодарить вас. И поверьте, пан Косиба, я расшибусь в лепешку, но вы будете освобождены.

На лице знахаря появилась грустная улыбка.

— Свободен?.. А... зачем мне эта свобода?..

Молодые растерянно посмотрели друг на друга. Лешек покачал головой.

— Ваша подавленность носит временный характер. Не думайте так...

— Почему дядя так говорит?..

— Правильно, голубка, — вздохнул Антоний, — и говорить об этом не стоит. Не о чем говорить. Дай тебе Боже радости и счастья, голубка... Ну, мне пора, прощайте... А мной, старым, не занимайтесь...

Он тяжело поклонился и повернул к двери.

— Пан Косиба! — позвал Лешек.

Но знахарь лишь ускорил шаги и был уже в коридоре. Он шел все быстрее, так что охранник не успевал за ним и рассердился.

— Ты чего так летишь? Помедленней там! Я из-за тебя ноги должен сбивать?

Знахарь замедлил шаги и пошел, низко опустив голову.

— Кто она тебе, эта девушка? — спросил охранник. — Близкая или хорошая знакомая?..

— Она? — отсутствующим взглядом посмотрел на него знахарь. — Она?.. Разве я могу знать...?

— А почему же не можешь?

— Ну, потому что сегодня человек человеку может быть всем, а завтра... никем.

— Она называла тебя дядей.

— Называть можно по-разному. Название — пустой звук.

Охранник даже засопел от злости.

— Ты у меня дофилософствуешься!.. Тьфу!

Мог ли он понять, что происходило в душе этого человека? Мог ли он предположить, что заключенный Антоний Косиба переживал самые тяжелые минуты своей несчастной жизни?

Только коридорный и соседи по камере заметили, что знахаря как бы согнул и придавил непосильный груз. Он совсем замолк, всю ночь ворочался на своем сеннике, а утром не вызвался на работу и остался один в камере.

Он не покривил душой, сказав Чинскому, что ему не нужна свобода. Сейчас он не хотел ничего. После многих лет одиночества среди чужих людей он нашел родственную душу и тут же потерял ее. Когда он познакомился с Марысей и почувствовал симпатию, которую она испытывала к нему, то понял, что эта девушка для него дороже всего на свете и он нашел, наконец, цель своей жизни!

Нет, он никогда не строил в отношении ее никаких планов. Подозрения Зони о его жениховстве казались ему смешными и глупыми. Просто ему хотелось, чтобы Марыся всегда была рядом с ним. Конечно, если бы она захотела стать его женой и он смог обеспечить ей спокойную жизнь, хоть какой-нибудь достаток, а также заботу и защиту от злых языков, то женился бы на ней. Но больше всего ему хотелось, чтобы она просто осталась при нем, пусть бы даже вышла замуж за Василька.

Тогда они жили бы вместе, никогда не расставаясь, и он ежедневно слышал бы ее звонкий голос, видел ее голубые глаза. Марыся согревала бы его старое сердце своей ласковой весенней улыбкой, и каждый день жизни был бы наполнен смыслом...

И вдруг рухнули все надежды. Антоний Косиба не считал, что Марыся найдет свое счастье, став настоящей знатной пани и обзаведясь богатым мужем. Он не любил богатства, хотя не знал почему, не верил в него. Не верил он и молодому Чинскому. В том, что этот барчук полюбил Марысю, не было ничего удивительного. Познакомившись с этой девушкой, никто не мог остаться к ней равнодушным. В Радолишках все молодые люди пытались ухаживать за нею.

А то, что Чинский решил жениться на ней, — прихоть панича. Иным путем он не мог ее заполучить. Но сумеет ли, захочет ли принести ей счастье?.. Сможет ли понять, каким огромным сокровищем владеет, оценит ли это сокровище достойным образом, не погубит ли?..

Когда Марыся жила на мельнице, Антоний ни разу не вспоминал о Чинском. Он умышленно молчал, хотя видел глубокую печаль девушки, ее внутренние переживания. Не скрылось от его

внимания и мучительное ожидание письма от Лешека. Проходили недели, письма все не было, и в глубине души Антоний радовался. «Потерпит голубка, — думал он, — и забудет. Так для нее будет лучше».

Но Чинскому Косиба не мог простить молчание и резко осуждал его. Ему казалось, что Лешек по возвращении случайно встретил Марысю, о которой давно забыл, и в нем ожил старый каприз. А сколько может продолжаться каприз таких шалопаев?..

Но не только эти опасения мучили Антония Косибу. Мучила знахаря и его собственная беда. Как он будет жить дальше и зачем?.. Марысе, став женой Чинского, не понадобится ни его опека, ни помощь. Она будет жить в другом обществе. «Я даже не смогу видеть ее», — думал он.

Чем больше он размышлял об этом, тем мрачнее становились его мысли: не хотелось жить, хлопотать об изменении приговора, возвращаться в пристройку на мельнице, где так красиво, счастливо и милосердно начинала складываться будущая жизнь, где каждая мелочь, каждый предмет напоминал о Марысе с того момента, когда он вырвал ее из когтей смерти...

— Была моей, только моей, а сейчас ее у меня отняли...

Цельми днями он безучастно сидел в углу камеры, равнодушно раздавая сокамерникам посыпавшиеся на него передачи с едой и табаком.

Так прошли праздничные дни.

После праздников Антония вызвали в канцелярию. Оказалось, пришел его новый защитник, адвокат Корчинский. Это был высокий и довольно полный, хотя еще молодой, брюнет с серьезным лицом и живым пронизательным взглядом.

— Ну, пан Косиба, — он протянул руку в приветствии, — я ознакомился с вашим делом.

Встречался с коллегой Маклаем, внимательно изучил судебные акты. Я не в восторге от процесса, проведенного первой инстанцией, и думаю, что мы еще поработаем. Если не выиграем дело полностью, хотя я уверен в успехе, то, во всяком случае, скостим срок до нескольких месяцев. Я предпринимал некоторые усилия, чтобы пана уже освободили...

— Это не имеет для меня значения. — пробормотал Косиба.

— Думаю, вы правы, тем более, что апелляцияльный суд назначен на первое февраля. Остался неполный месяц. Вряд ли стоит возиться с оформлением документов, чтобы вас выпустили под залог на столь короткий срок.

— Но у меня нет средств, чтобы внести залог...

— Пан Чинский хотел оплатить за вас.

— Ненужная забота. Я не нуждаюсь в помощи пана Чинского.

— Почему же?.. Он настроен весьма доброжелательно к вам. Собственно, это понятно, ведь вы спасли жизнь его невесте и, может быть, ему самому. Но вернемся к делу. Я уже собрал материал, которым воспользуюсь при защите. У меня мало времени, поэтому буду краток. Прежде всего, я попросил сделать рентгеновские снимки переломов у Лешека и его невесты. Показывал их многим врачам. Все сходятся в одном: операции, проведенные паном, сделаны не только правильно, но свидетельствуют об исключительных способностях пана. Что касается перелома основания черепа, то эта операция была сделана феноменально. Мне бы хотелось узнать, как и у кого вы этому научились?

Знахарь пожал плечами.

— Я не учился.

— Не скрывайте от меня этих сведений, пан Косиба, — как можно мягче сказал адвокат. — Если хотите, я сохраню их в тайне, но я должен знать. Возможно, вы работали санитаром в какой-нибудь больнице? А может, на войне?..

— Нет.

— Сколько времени вы уже лечите людей? Где вы жили до того, пока не поселились на мельнице под Радолишками?

— Раньше не лечил. Только там начал.

— Хм... Пан не убедит меня в том, что, не имея практики, он смог составить сломанные кости, примитивными инструментами произвести ампутацию и другие подобные операции.

— Я не хочу ни в чем убеждать пана адвоката.

— Своим недоверием вы затрудняете мне вашу защиту в суде.

— А разве я просил пана адвоката защищать меня? Мне не нужна защита. Адвокат с интересом посмотрел на него.

— Значит, вы хотите сидеть в тюрьме.

— Мне все равно, — мрачно ответил знахарь.

Адвокат возмутился:

— Зато мне не все равно. Я дал слово и пообещал другу, что вытащу отсюда пана, и я не упущу удобного случая. Не хотите говорить сами, я узнаю у других.

— Не стоит труда, — махнул рукой знахарь. Мне свобода не нужна, а другим до нее дела нет.

Буду я в тюрьме или на свободе, никому от этого не прибудет.

— Глупости! Но даже если у вас есть основания рассуждать так, то в интересах справедливости...

— Справедливости нет, — прервал адвоката Косиба. — Почему вы думаете, что она есть?..

Откуда вам известно?..

Адвокат кивнул головой:

— Разумеется, я не говорю об абсолютной справедливости. Может быть, такая и существует, только в нашем сознании нет ни одного критерия, на основании которого можно судить о ее существовании. Я говорил об относительной, человеческой справедливости.

Знахарь рассмеялся:

— Нет никакой. Человеческая?.. Вы видите меня здесь, осужденного на три года.

А абсолютная?.. Пан адвокат определенно не найдет критерия ее существования в сознании. Не в сознании ее нужно искать, а в совести. А если человек в этой совести найдет только обиду, оскорбления, если поймет, что вся его жизнь — унижения и боль, тогда где же та абсолютная справедливость? Это не наказание! Нет!.. Наказание приходит за преступление. Остается только обида! Ничем не заслуженная, горькая обида!

Глаза его горели, а толстые пальцы рук нервно сжимались. Адвокат какое-то время молчал, а потом неожиданно спросил:

— Какое у вас образование?

— У меня нет никакого.

— В ваших бумагах написано, что вы закончили два класса сельской школы в Калишском районе. Но говорите вы, как интеллигентный человек.

Знахарь встал.

— Жизнь подбрасывает человеку разные мысли. Я могу уйти?

— Сейчас, минуточку. Так вы не хотите поговорить со мной откровенно?

— Мне не о чем говорить.

— Как хотите. Я не могу вас заставить. Да, возможно, вам что-нибудь нужно?.. Теплое белье, может быть, книги?..

— Ничего мне не нужно, — подчеркнуто ответил знахарь, — я только хотел бы, чтобы меня оставили в покое.

Адвокат примирительно улыбнулся и протянул руку:

— Ну хорошо. До свидания, пан Косиба.

Когда сзади захлопнулись ворота тюрьмы, у адвоката Корчинского уже созрело решение: следовало поехать на мельницу, в Радолишки, в окольные деревни, разыскать свидетелей — бывших пациентов знахаря — и привезти их на суд. «При случае загляну на пару дней в Людвиково, — подумал он, — а из этого дела организую большой процесс и если не выиграю его, то грош мне цена».

Корчинский был молодым адвокатом, однако врожденные способности, трудолюбие, глубокие юридические знания и, естественно, связи давали возможность быстро продвигаться вперед; его амбиции не ограничивались местной известностью, честолюбие требовало, чтобы о нем говорили по всей стране.

Он согласился заняться делом Антония Косибы не только из дружбы с Лешекком Чинским — не последнюю роль играл и приличный гонорар. Но главным образом его очень заинтересовало само дело. Он почуял в нем такую эффектную фактуру, благодаря которой подобный процесс вызовет громкий резонанс. Победа на таком процессе приносит адвокату славу.

Приняв решение вести дело, Корчинский уже никогда ни перед чем не отступал, и на следующее же утро он выехал в Радолишки. Два дня прошли в разъездах по району, в подробных беседах с людьми, в сборе материалов. Поэтому ему пришлось сократить время пребывания у Чинских.

Приняли его в Людвикове с распростертыми объятиями. Гости после праздника уже разъехались, дома были только родители Чинские и Лешек с Марысей.

Корчинский подробно рассказал, что удалось ему собрать по делу знахаря, и потирал руки:

— Я становлюсь все сильнее и сильнее. Вот увидите, когда я выведу на огневой рубеж всю свою артиллерию и открою ураганный огонь, от обвинения камня на камне не останется. Этот Косиба — гениальный лекарь! Ни одного смертельного исхода, а вылеченных можно представить суду сотни человек. Из них почти половина, которые не только не платили ему за лечение, а еще от него получали помощь. Мотивы о наживе вообще отпадают. Но главный упор я намерен делать на его способности. Поэтому у меня появилась определенная мысль.

— А именно? — спросил Лешек.

— Все свидетели, а прежде всего ты и твоя невеста, должны приехать в город за день до процесса. Пока не знаю, примет ли суд мое предложение пригласить экспертов. У меня в запасе есть сильное средство, если не сказать решающее. Мне в голову пришла мысль, чтобы какой-нибудь известный хирург осмотрел перед процессом всех пациентов Косибы. Разумеется, это должна быть знаменитость, потому что, когда он предстанет перед судом как свидетель от защиты, суд будет вынужден признать его мнение компетентным. Это должна быть звезда хирургии.

Пани Чинская кивнула головой:

— Такой в Польше только один. Это профессор Добранецкий из Варшавы.

— Пани, вы угадали, — заплодировал адвокат.

— Это не так трудно — засмеялся пан Чинский. — Труднее будет склонить Добранецкого к приезду в Вильно.

— Если все дело в гонораре, — вмешался Лешек, — то, прошу тебя, Вацек, не стесняйся.

— Ну, я надеюсь, что ему не на что будет жаловаться, — улыбнулся Корчинский, — но есть еще и другая возможность. Супруга Добранецкого родственница моей жены. Постараемся как-нибудь решить все проблемы, ибо процесс должен быть выигран.

Марыся приветливо улыбнулась:

— Я так благодарна пану за энтузиазм и надежду. Вы не представляете, как сердечно я привязана к этому добрейшему на свете человеку, как я люблю его. Вы не можете даже вообразить, какое у него сердце.

— Этого я не знаю, но верю пани на слово. Зато своей интеллигентностью Косиба, признаюсь, удивил меня. Он разговаривал, как образованный человек, что как-то не соответствует его внешности, его незаконченной сельской школе, месту батрака на мельнице или знахарю.

— Вот видишь, — сказала Марыся, обращаясь к Лешеку.

— Да, да, — согласился Лешек. — Вацек, представь себе, что Марыся давно обратила на это внимание, а я даже провел опыт, который подтвердил наши предположения.

— И что же это был за опыт? — заинтересовался Корчинский.

— В сущности, довольно примитивный. Я начал разговаривать с ним, употребляя много слов, значение которых не может знать простой мужик или даже полуинтеллигент.

— Ну и?..

— Он все понимал. Более того, однажды он застал Марысю за чтением стихов Мюссе в оригинале. Так представь себе, он совершенно правильно прочел целую строфу.

— Могла бы поклясться, что он не только читал, но и понимал, добавила Марыся.

Адвокат задумался.

— Да. Это, действительно, странно... Встречаются же такие самоучки. Этот факт тоже мог бы мне пригодиться, если бы Косиба захотел говорить.

— Как это?

— Он упорно молчит. Не захотел рассказывать мне ни о чем. Впал в какой-то пессимизм, мизантропию, черт знает что.

— Несчастный, — вздохнула Марыся. — Нас с Лешекком это тоже поразило, поэтому мы не решились его снова тревожить. Он принял нас очень холодно, почти безразлично, хотя это неудивительно, ведь он столько пережил...

— Это пройдет, когда Косиба окажется снова на свободе, — уверенно сказал Лешек.

— Я сделаю все, что в моих силах, — заверил адвокат.

— Вы такой добрый, — произнесла Марыся.

— Я?.. Добрый?.. Ну, что вы, пани! Здесь нет места для доброты. Во-первых, я сколачиваю на этом деле капитал...

— Ну, ну, — рассмеялся Лешек, — не преувеличивай...

— ... А во-вторых, если я выиграю такой процесс, то приобрету еще большую популярность, еще лучшую репутацию и... больше денег.

— Фу, — поморщилась пани Чинская, — постыдились бы разыгрывать из себя карьериста.

— О, я не разыгрываю, я настоящий карьерист и не скрываю этого, скорее, наоборот: подчеркиваю каждый раз, как только представляется случай. Еще будучи студентом, я поклялся, что сделаю карьеру и теперь последовательно реализую свою клятву. У нас привыкли осуждать карьеристов. Превратили это понятие в оскорбление. А что такое делать карьеру? Это значит использовать все, чем наделила нас природа, окружающая среда, воспитание, образование, чтобы реализовать свои способности, знания, энергию, умение общаться с людьми. Кто не умеет использовать свои природные данные, тот их растрачивает, а значит, он расточитель и растяпа. Разумеется, есть непорядочные карьеристы, так же как непорядочные боксеры, применяющие в борьбе запрещенные приемы. Но это уже другой вопрос. Я, например, больше верю карьеристам, знаю, что в них никогда не обманусь, потому что у них есть амбиция, порыв, воля. Они работают для себя, а значит, и для дела, которому служат. Он весело рассмеялся и добавил:

— Если бы я был диктатором, то на все чиновничьи должности посадил бы карьеристов. Пан Чинский покачал головой:

— Ваше понимание этого вопроса, пан адвокат, мне показалось несколько упрощенным.

— Почему?

— Потому что у истинного карьериста стремление к осуществлению собственной карьеры иногда настолько сильно, что, оказавшись в конфликте с чувством долга, должно победить.

— Иногда? — подхватил адвокат. — Я согласен с вами, пан Чинский. Но разве не больше мы теряем из-за бездарности и лени разных недотеп и добровольных париев?.. Я думаю, что именно потому мы представляем собой государство бедных, что властвует у нас психология презрения ко всем тем, кто сам создает себе состояние или положение. Уважаем мы лишь тех, кто получает все без малейших усилий, то есть в наследство.

— Я вижу вы сторонник американского культа миллионеров.

— В Америке не все так глупо, — усмехнулся Корчинский.

Пани Элеонора, однако, прервала дискуссию, снова возвращаясь к делу знахаря. Потом пригласили к столу, а вечером Корчинский уехал на станцию.

— Он производит впечатление человека, который не умеет уступать дорогу, — высказала свое мнение пани Чинская после отъезда адвоката.

— О да! — подтвердил Лешек. — Поэтому у меня самые радужные надежды. Мне кажется, следует ускорить ремонт домика в саду, где поселится Косиба.

В домике уже целую неделю шел ремонт под заботливым наблюдением молодых, которым даже в голову не приходило, что их работа напрасна и будущее сложится совсем иначе, чем они запланировали.

## Глава XIX

Небольшой зал апелляционного суда быстро заполнялся людьми странного вида. Кирпичного цвета кофухи мужиков из околиц Радолишек перемежались с элегантными шубами горожан. Процесс вызвал большой интерес не только в кругах юристов, где уже давно ходили волнующие слухи о сенсационной защите, подготовленной Корчинским, но и среди медиков, поскольку на нем должен был выступить в качестве свидетеля профессор доктор Добранецкий, известнейший польский хирург, пользующийся всеобщим признанием, уважением и славой. Среди присутствующих в зале суда врачей было много бывших учеников известного профессора, и все с одинаковым интересом ожидали его заключения относительно практики знахарей. Если и удивлялись, то только тому, что профессор вызван в качестве свидетеля от защиты, а не обвинения, и это тоже обещало непредсказуемые повороты в деле Антония Косибы.

По выражению лица адвоката Корчинского можно было понять, что он приготовил немало сюрпризов. Веселый и оживленный, он сидел в расстегнутой тоге, засунув руки в карманы брюк, и разговаривал с коллегами. Рядом на столе громоздились стопки актов и записок, в которые он даже не заглядывал. Адвокат досконально изучил материалы следствия и имел детально проработанную линию защиты.

Он был абсолютно уверен в себе, особенно со вчерашнего дня. Вчера, ранним утром, он встретил на вокзале профессора Добранецкого и отвез его в одну из частных клиник, где его уже ждали бывшие пациенты знахаря Косибы. Почти целый день с незначительными перерывами профессор осматривал их, изучая рентгеновские снимки, и диктовал стенографистке свои заключения.

Адвокат Корчинский не забыл ничего, что могло бы помочь выиграть процесс. Он проследил, чтобы привезли всех необходимых ему свидетелей, основательно изучил судебные акты и сейчас спокойно ожидал начала процесса.

Ввели обвиняемого, который апатично занял свое место под охраной полицейского. Выражение лица Антония Косибы никак не сочеталось с настроением его защитника. Знахарь сидел, сторбившись, опустив голову, и неподвижно всматривался в пол. Его борода еще больше поседела, лицо пожелтело, под глазами обозначились синие мешки. Он даже не посмотрел в зал, как бы не слыша доброжелательных, знакомых голосов, произносящих его имя. Хотя, может быть, действительно не слышал, потому что на вопрос, заданный ему защитником, он также не отреагировал. Только резки звук звонка и приказ полицейского встать разбудили Косибу. Он тяжело поднялся и снова сел, погружившись в свои мысли.

В этом зале он был единственным человеком, которого совершенно не интересовал ход процесса и его результат.

Он автоматически отвечал на формальные вопросы, задаваемые с целью установления личности, затем снова погружался в состояние апатии.

«Если бы я был в составе присяжных, — подумал Корчинский, — то одного вида этого бедняги оказалось бы достаточно, чтобы снять с него обвинение».

Тем временем начался допрос свидетелей. Первым вызвали сержанта Земека. Отвечая на хитроумно поставленные вопросы прокурора, он должен был дать пояснения, сильно отягчающие вину знахаря. Косиба признался, что украл саквояж с инструментами, спрятал его, хранил несколько недель и отдал лишь при угрозе обыска.

В свою очередь с вопросами выступил защитник:

— Получал ли свидетель, как комендант участка в Радолишках, какие-нибудь жалобы от населения на Косибу?

— Нет, никаких.

— Считаете ли вы возможным засвидетельствовать нравственность обвиняемого до случая с пропажей инструментов?

— Конечно. Это был очень порядочный человек.

— Почему вы не арестовали Косибу, когда подтвердилась кража?

— Потому что, по моему мнению, он не сбежал бы. Достаточно было подписки о невыезде.

— Свидетель знал, что Антоний Косиба прибыл в ваш район относительно недавно и что на протяжении многих лет часто менял место жительства?

— Знал.

— И, несмотря на это, пан верил, что Косиба не нарушит обязательства?

— Да. И я не ошибся, он не сбежал.

— Спасибо. Больше вопросов нет.

Следующим свидетелем был доктор Павлицкий. Вначале он неохотно засвидетельствовал, что к своим предыдущим показаниям добавить ничего не может, однако под давлением прокурора начал отвечать:

— Я трижды был в избе, где жил осужденный.

— С какой целью?

— Первый раз, чтобы предостеречь его от ведения лечебной практики, не имея на это права, потом был вызван к нему после катастрофы и наконец для розыска украденных хирургических инструментов.

— Какие санитарные условия вы обнаружили в избе?

— Весьма плачевные. Одежда подсудимого была испачкана, руки донельзя грязные. Потолок покрыт паутиной. Я заметил, что горшки, в которых готовились травы, заросли толстым слоем грязи — вероятно, они служили одновременно для приготовления пищи — и оставляли такое впечатление, будто их никогда не мыли. Пол был завален мусором и разным старьем. В избе нечем было дышать.

— Где Косиба проводил операции?

— Именно в этой избе.

— Может ли пациенту в таких условиях угрожать заражение?

— Разумеется, и не только при серьезных операциях. При любой, даже самой маленькой ранке, если в нее по падет грязь или пыль, возможно заражение крови или столбняк.

— Как ответил осужденный на предупреждение пана доктора?

— Проигнорировал целиком.

— Вы видели хирургические инструменты, которыми пользовался знахарь до операции?

— Видел. Их нельзя назвать хирургическими. Я видел обычные слесарные молотки, долота, шипцы и тому подобное. А еще обыкновенный кухонный нож и садовую пилку.

— В каком состоянии находились эти инструменты?

— Некоторые были покрыты ржавчиной. На одном из молотков виднелась запекшаяся кровь. Слышался запах керосина или бензина, которым пользовался осужденный, видимо, в качестве дезинфицирующего средства.

— Может ли использоваться керосин или бензин в качестве дезинфицирующего средства?

— Может, но в незначительной степени.

— Много ли знахарей практикует в районе Радолишек?

— Несколько человек работает в пригороде. Во всем районе их наберется, пожалуй, несколько десятков. Это настоящее бедствие.

— Чем пан доктор это объясняет?

— Невежеством людей.

— Смертность среди населения большая?

— Очень большая.

— У вас были вызовы туда, где смерть наступала в результате лечения знахарей?

— Довольно часто. В деле находится копия моей докладной записки, поданной властям, где указаны цифры. Я лично зафиксировал семьдесят два случая на протяжении двух лет. Во всем районе, согласно данным всех врачей, практика знахарей обрекла на смерть двести с лишним человек.

Затем к свидетелю обратился защитник:

— Пан доктор минуту назад сказал, что его довольно часто вызывают к жертвам лечения знахарей?

— Да.

— Сколько раз вы встречались с жертвами Антония Косибы?

— ... Не припоминаю.

— Ах, так. Не припомнит ли пан доктор хотя бы один такой случай?

— Нет.

— Это странно. Косиба практиковал в непосредственной близости от Радолишек, работал в страшных санитарных условиях, пользовался при операциях самыми примитивными инструментами и, несмотря на это, пан доктор ни разу не слышал о смерти пациента по вине знахаря?.. А может, вы слышали?

— Нет, — после минутного замешательства ответил доктор.

— Чем вы это объясняете? У него была малая практика?

— Я не считал его пациентов.

— Вы ошибаетесь, пан доктор. Ваши показания в первой инстанции свидетельствуют, что вы считали. Прошу Высокий суд зачитать показания свидетеля. Том второй, страница тридцать третья, параграф первый.

— Это для дела несущественно, — поморщился председательствующий.

— Я хочу доказать, что Косиба принимал до двадцати пациентов в день, согласно показаниям доктора Павлицкого.

Зачитали указанный параграф, после чего защитник снова обратился к свидетелю:

— На вопрос прокурора вы ответили, что трижды были в избе Косибы, в том числе один раз по вызову?

— Да.

— Зачем вас вызывали?

— К двум тяжелораненым, пострадавшим в дорожном происшествии.

— Кто вас вызывал?

— Какой-то Войдыло. Как позднее стало известно, он был виновником катастрофы.

— А по чьей просьбе вас вызывали?

— Кажется, по просьбе Косибы.

— Вы не припомните, пан доктор, чем объяснял Косиба свой вызов?

— Конечно, помню. Там было двое раненых, и он твердил, что сам не справится.

— Умолял ли он пана доктора спасти раненую девушку?

— Да, но я считал ее состояние безнадежным и поэтому сделал только укол для поддержания работы сердца.

— Просил ли Косиба пана доктора разрешить ему воспользоваться хирургическими инструментами, чтобы сделать операцию пострадавшей?

— Да, но ни один врач на моем месте не удовлетворил бы такую просьбу.

— Неужели ни один врач не решился бы оперировать умирающую только потому, что на основании беглого осмотра пришел к выводу, будто операция уже не спасет пострадавшую? Доктор Павлицкий покраснел.

— Вы не имеете права оскорблять меня!

— Я отклоняю этот вопрос, — заявил председательствующий.

Адвокат кивнул головой.

— На основании чего вы сделали заключение о безнадежном состоянии пострадавшей?

— У нее был перелом основания черепа! Пульс почти не прослушивался.

— А пан доктор знает о том, что знахарь Косиба сделал операцию и спас пациентку?

— Знаю.

— Как это можно объяснить?

Доктор пожал плечами.

— Это редчайший случай в моей практике. Думаю, это произошло по воле странного стечения обстоятельств.

— Когда вы приехали на мельницу, знахарь предложил вам свой диагноз?

— Да.

— И он совпадал с вашим?

— Да.

— Не кажется ли пану доктору, что Антоний Косиба, установив правильный диагноз и успешно проведя опаснейшую операцию, продемонстрировал большой талант хирурга?

Доктор заколебался.

— Вполне. Я должен признаться, что во многих случаях его способности озадачивали меня.

— Спасибо. Больше вопросов нет, — кивнул головой адвокат и с усмешкой посмотрел на прокурора.

Затем зачитали показания нескольких свидетелей обвинения с предыдущего процесса, после чего одного за другим стали вызывать свидетелей защиты. Дал показания старый мельник, его сын, Чинские и наконец целый ряд бывших пациентов Антония Косибы.

Их показания звучали почти одинаково: болел, угрожала инвалидность, он меня спас, о деньгах даже не вспоминал. Некоторые засвидетельствовали, что получали от знахаря не только лечение, но и деньги на дорогу. Вся округа знала о его бескорыстности. Засвидетельствовал этот факт и пан Чинский, у которого Косиба не взял ста злотых, хотя для него это была значительная сумма.

Трогательно прозвучало свидетельство Прокопа Мельника:

— Бог привел его в мой дом, оказав мне, грешному, моей семье и всем соседям великую милость. А что от Бога он, а не от злого духа, так знаю я, потому что от работы, угодной Богу, он никогда не уклонялся. Мог у меня все требовать, мог без работы за печью сидеть, есть и пить, но не такой он человек. При каждой работе был первым, смекалистый мужик. Так и работал, пока не забрали. А человек он уже немолодой. Так мы все просим Высокий суд освободить его во славу Бога и на пользу людям.

Седая голова старца опустилась в низком поклоне, прокурор нахмурил брови, а все присутствующие обратили взгляды на осужденного.

Антоний Косиба по-прежнему сидел, безучастно опустив голову. Он не слышал ни искусно построенных вопросов прокурора, ни контратак защитника, ни показаний свидетелей. На короткое мгновение его пробудил тихий, дрожащий голос Марыси. Тогда он поднял глаза и беззвучно пошевелил губами. «Ничего у меня не осталось, — думал он, — нечего мне больше ждать от жизни».

Тем временем был приглашен самый важный свидетель, показаниям которого адвокат Корчинский придавал особое значение. Хотя не только он, но и судьи, и публика с нетерпением ждали его появления. Свое веское слово должен был сказать знаменитый ученый, известный хирург, первое лицо в мире медицины, официальный представитель государства.

Кто не знал его лично или никогда не видел, тот именно так представлял себе профессора Добранецкого: высокий, в расцвете лет мужчина, несколько полноватый, с красивым орлиным профилем и высоким лбом. В каждом его движении, в звучании голоса, в полном достоинства взгляде сквозила уверенность в себе, которую дает только чувство собственной значимости, повсеместное признание заслуг и неоспоримого авторитета.

— Ко мне как к хирургу, — начал он. — обратилось несколько человек с просьбой, чтобы я дал заключение о состоянии их здоровья. Они в свое время подвергались разным серьезным заболеваниям, после чего прооперированы сельским знахарем по фамилии Косиба.

Аускультация и просвечивание с помощью аппарата Рентгена показали, что происходит...

Профессор стал перечислять фамилии выступавших несколько минут назад свидетелей, описывая их заболевания и степень риска для жизни, а также давая оценку проведенным операциям и результатам лечения. Часто звучали латинские названия, медицинские термины, профессиональные определения.

— Подводя итог, — закончил профессор, — я должен засвидетельствовать, что во всех приведенных выше случаях операции выполнены своевременно и совершенно правильно, характеризуются основательным знанием анатомии и спасли пострадавших от смерти или неотвратимого увечья.

Председательствующий обратился к профессору:

— А чем, пан профессор, вы можете объяснить тот факт, что человек, не имеющий никакого образования, мог проводить такие рискованные операции с благополучным исходом?

— Я сам задавал себе этот вопрос, — ответил профессор Добранецкий. Хирургия по природе своей — область эмпирических знаний, основанных на опыте и наблюдениях тысяч поколений. Простейшие операционные приемы человек использовал еще в доисторические времена.

Находки археологов, относящиеся к периоду бронзового века и даже каменного, позволяют утверждать, что уже тогда люди умели составлять сломанные кости, проводить ампутацию конечностей и тому подобное. Я считаю, что среди сельского населения, знакомого с анатомией домашних животных, встречаются такие наблюдательные самородки, которые со временем способны оказать помощь и людям, приобретая от случая к случаю все больше и больше опыта.

— Однако здесь, — заметил председательствующий, — среди случаев, перечисленных паном профессором, большинство пациентов страдало весьма сложными и опасными для жизни заболеваниями.

— Действительно. И, признаюсь, меня самого это ставит в затруднительное положение. Этот знахарь должен обладать не только опытом, но и феноменальным талантом...

Профессор задумался и добавил:

Интуиция... Да, интуиция хирурга, это очень редкий феномен. Лично я знал только одного хирурга с такой уверенной рукой и потрясающей интуицией.

— А что значит уверенность руки?

— Уверенность руки?... Прежде всего, это умение наносить точные разрезы.

— Спасибо, — поблагодарил председательствующий. — Со стороны защиты или обвинения есть вопросы?

Прокурор отрицательно покачал головой, но адвокат Корчинский обратился к профессору:

— У меня есть. Нашел ли пан профессор у кого-нибудь из обследованных пациентов Косибы следы заражения?

— Нет.

— Спасибо. Больше вопросов нет.

Профессор поклонился и занял место в первом ряду рядом с Чинскими. И сейчас впервые он бросил взгляд на скамью подсудимых. Он увидел широкоплечего исхудавшего бородача, которому на вид можно было дать неполных шестьдесят лет.

«Так вот, значит, какой он, этот знахарь», — подумал он и хотел было отвернуться, но его остановило странное поведение подсудимого.

Антоний Косиба всматривался в него напряженным и одновременно отсутствующим взглядом. На его лице появилась непонятная усмешка, неуверенная и испытующая.

«Что за странный человек», — подумал профессор и отвернулся. Но спустя некоторое время вопрошающий взгляд знахаря снова привлек его внимание, он притягивал, гипнотизировал профессора. Выражение его вытянутого лица не изменилось, но глаза прямо-таки впивались в профессора.

Добранецкий нервно заерзал в кресле и стал присматриваться к прокурору, который как раз начал свою речь. Говорил он довольно монотонно, и это лишало убедительности его аргументацию, снижало накал его кратких заявлений, бесспорно, логичных и обоснованных. Прокурор признал, что приговор первой инстанции оказался весьма суровым. Признал он также, что подсудимый Косиба не относится к числу шарлатанов низшего пошиба. Соглашался он даже с тем, что знахарь занимался медицинской практикой из благородных побуждений.

— Но мы, — продолжал он, — не армия спасения. Мы — представители закона. И не должны забывать, что подсудимый нарушал его.

Профессор Добранецкий старался сконцентрировать свое внимание на выводах прокурора, но ему не давало покоя непонятное чувство тревоги: он все время ощущал затылком взгляд знахаря.

«Чего ему от меня надо? — раздраженно подумал профессор... — Неужели таким способом он выражает благодарность за мои показания?..»

...Несомненно, здесь есть смягчающие вину обстоятельства, — продолжал обвинитель. — Но мы не можем игнорировать факты. Воровство всегда останется воровством. Укрывание краденного...

Нет. В таких условиях невозможно собраться! Глаза этого человека обладали удивительным магнетизмом. Добранецкий почти с гневом повернулся к знахарю и удивился: тот сидел, опустив голову. Перед ним на баллюстраде безжизненно лежали его большие натруженные руки.

И мгновенно в голове профессора родилось нелепое предположение: «Когда-то я уже видел этого человека».

В памяти профессора лихорадочно замелькали лица разных людей, которых он встречал хоть раз в жизни. Добранецкий верил в свою память, еще ни разу она не подводила его... И сейчас, спустя какое-то время, он пришел к выводу, что знахарь имеет некоторое сходство с человеком, несомненно виденным им ранее. Наверное, с кем-то из давних пациентов... Но профессор не стал задерживаться на этой мысли, потому что как раз в это время встал адвокат Корчинский. Его звучный баритон наэлектризовывал аудиторию.

— Высокий суд! Только по воле слепой судьбы и недоразумения случилось так, что этот человек оказался в зале суда на скамье подсудимых! Не здесь его место, и не мы должны оценивать его действия. В настоящий момент Антонию Косибе надлежит находиться в актовом зале нашего университета, входить в состав ученого совета и ждать не приговора, а вручения почетного диплома доктора медицины!

О нет, господа судьи, это не моя фантазия! Я не стремлюсь к ораторским эффектам, к невозможному. И если невозможно сегодня присвоить знахарю звание доктора, то только потому, что наше законодательство несовершенно. С разной меркой подходит оно к одним и тем же операциям, но сделанным в разных условиях. Высокий суд! Нельзя согласиться с тем, чтобы жизнь человека доверялась врачу, знания и навыки которого не гарантируются дипломом. Но мы без колебаний доверяем ее инженеру, создающему машины или строящему мосты. Но ведь титул инженера и все связанные с ним права может получить любой человек, даже не заканчивая институт, а доказав на практике, что обладает знаниями и опытом в своей области. Нужно ли мне называть всем известные фамилии ученых, которые в институтах Польши делятся своими знаниями с тысячами слушателей, не имея даже свидетельства о средней школе?

К сожалению, законодательство не предусмотрело такой возможности для медицины. В противном случае стенограммы сегодняшнего процесса вполне хватило бы Антонию Косибе для получения диплома доктора медицины. Что может послужить более красноречивым и убедительным доказательством его знаний и опыта, чем факты, накопленные судебным разбирательством, чем мнения тех свидетелей, которые пришли сюда как своеобразные вещественные доказательства, как живые документы врачебных способностей обвиняемого. Они пришли сюда засвидетельствовать правду, прямо указать на своего благодетеля и сказать: «Мы были калеками, он позволил нам ходить, мы были больными, он нас вылечил: мы одной ногой стояли в могиле, он нам подарил жизнь!»

Но пан прокурор видит грех и вину Антония Косибы в том, что он, не имея диплома, осмелился прийти на помощь своим ближним. Выходит, если бы он прыгнул в воду спасать утопающих, то тоже должен был бы иметь свидетельство об окончании школы плавания?..

Я не демагог и не собираюсь защищать знахарство, но тем активнее выступаю против использованного обвинением метода. На первый взгляд, совершенно случайно поставлены в один ряд две истины: первая — Антоний Косиба является знахарем, вторая — знахари — это шарлатаны, владеющие целым арсеналом трюков, ловких приемов, заклятий, заговоров, чар и многого другого. Но позвольте! Как нам известно из протокола судебного процесса, подсудимый в своей практике никогда не пользовался такими средствами.

В ходе судебного разбирательства ему было предъявлено еще одно обвинение, в соответствии с которым Косиба действовал в интересах наживы. А поскольку в его действиях обвинительный акт усматривает состав преступления, то единственный мотив его при ближайшем рассмотрении рассеивается как туман и остается только предположить, что Косиба был одержим манией. Да, Высокий суд! Этот человек — маньяк. Им овладела мания помогать страждущим, помогать бесплатно... Но какой ценой он заплатил за это?! Ценой лишения свободы, тюремных нар и позорного места на этой скамье.

Я не буду останавливаться на вопросе, был ли Антоний Косиба хорошим врачом. За меня говорят свидетели, светило нашей хирургии профессор Добранецкий, мнение которого убедительнее самой высокой аттестации. Не стану акцентировать ваше внимание на том, что к доктору медицины Павлицкому, по его же свидетельству, никто не обращался с просьбой спасти пациента знахаря Косибы; зато этот знахарь в одном случае спас от инвалидности, а в другом от смерти двух человек, тогда как доктор Павлицкий оказался беспомощным.

Господа судьи! Я хочу поговорить о самой большой вине Антония Косибы, о том, что стало козырем обвинения. Я имею в виду антисанитарные условия той избы, где он проводил операции. Я сам был в той избе и должен согласиться с паном прокурором, что вызванные свидетели с большой сдержанностью характеризовали антисанитарные условия жилища знахаря. Они забыли добавить, что в окнах зияют щели, откуда дует ветер, в полу трещины, через которые проникает сырость, потолок затекает, печь дымит, что в избе была не только грязь, паутина и пыль, но, кроме того, там еще гнездились и тараканы!.. Я видел инструменты, с помощью которых Косиба делал операции. Это — старое, износившееся железо, выщербленное и искривившееся, связанное проволокой и веревками. В такой избе и с такими инструментами Косиба оперировал людей.

Но Бог милостив!.. Ни один из оперируемых не умер! Ни у кого не было заражения!

Я вижу в зале многих известных и опытных врачей и спрашиваю вас: это заслуга Косибы или его вина?! Я спрашиваю вас: сам факт, что такое количество серьезных операций он провел в столь страшных условиях, свидетельствует против него или за него?!. Должен ли он за это, именно за это, получить четыре тюремные стены или достоин операционного зала из фарфора и стекла?!.

По залу пронесся ропот. Когда установилась напряженная тишина, адвокат Корчинский продолжил:

— И еще одно обвинение лежит на этом человеке с незапятнанной судьбой, которому без колебания доверяла даже подозревающая всех полиция: воровство. Да. Его соблазнил блеск сверкающих хирургических инструментов, и он украл их. Но, прежде всего, он попытался выпросить их, просил разрешения воспользоваться ими, а встретив категоричный отказ, украл. Но зачем он это сделал?.. Что толкнуло этого благородного человека на преступление?.. В какой ситуации и какие побуждения заставили его воспользоваться чужой собственностью?..

Тогда же в той избе умирала, лежа на столе, молодая девушка; расцветающая жизнь погружалась в пучину смерти, а он, Антоний Косиба, знал, чувствовал, понимал, что без этих сверкающих инструментов не сможет оказать ей действенную помощь. Я спрашиваю вас: как должен был поступить Антоний Косиба?..

Адвокат окинул пылающим взглядом зал суда.

— Как должен был поступить?! — обратился он к аудитории. — Как поступил бы каждый из нас на его месте?! На это есть только один ответ: «Каждый из нас сделал бы то же самое, каждый из нас украл бы эти инструменты! Каждому из нас подсказала бы совесть, что это его долг, его моральный долг!»

Опершись руками о стол, возбужденный, он на минуту умолк.

— В Австрии в давние времена, — продолжал адвокат, — существовал особый военный орден, присуждаемый за странные действия: за неподчинение приказу, за нарушение дисциплины, за бунт против наказания. Эта награда была одной из самых высоких и наиболее почетных. Если бы суды Польши имели право не только наказывать, но и награждать, то именно такой орден следовало бы прикрепить к груди Антония Косибы, когда он будет покидать этот зал.

Поскольку этой награды, к сожалению, не существует, пусть наградой ему будет то, что каждый порядочный человек сочтет за честь пожать его натруженную и грязную, но самую чистую руку на свете.

Корчинский поклонился и сел.

Профессор Добранецкий не без удивления заметил в его лице и в опущенных глазах выражение неизъяснимого волнения, хотя сам он тоже был взволнован не меньше. Один из судей согнутым пальцем незаметно смахивал слезы. Другой сидел, напряженно всматриваясь в бумаги, лежавшие на столе.

Оправдательный приговор, казалось, был предreshен, тем более что прокурор отказался от выступления.

— Осужденному предоставляется слово, — объявил председательствующий.

Антоний Косиба не шелохнулся.

— Вам предоставляется последнее слово, — адвокат Корчинский тронул его за локоть.

— Мне нечего... сказать. Мне все равно...

Если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел на профессора Добранецкого, то поразился бы резкой перемене, происшедшей с ним. Профессор вдруг побледнел, сделал движение, точно хотел вскочить со стула, и открыл рот...

Но никто этого не заметил. Все как раз вставали, поскольку суд удалялся на совещание. После выхода судей зал наполнился громкими голосами. Многие окружили Корчинского, поздравляя с успешно завершённым делом. Некоторые вышли в коридор покурить.

Профессор Добранецкий пошел за ними. Когда он вынимал портсигар, руки его дрожали. Найдя пустую скамейку в дальнем углу, он тяжело опустился на нее.

Да, он узнал его. Узнал абсолютно точно: знахарь Антоний Косиба был когда-то профессором Рафалом Вильчуром.

Этот голос!

Нет, он никогда не забывал этот голос. На протяжении многих лет он вслушивался в его звучание. Вначале молодым студентом медицинского института, потом ассистентом, наконец как начинающий врач, которого приютил большой ученый... Как он мог не узнать сразу знакомых черт? Как мог не разглядеть их под седоватой щетиной?

Боже! Каким глупцом он был, озадаченно осматривая послеоперационные следы на пациентах Антония Косибы, не в состоянии понять, как мог сельский знахарь так гениально выполнять сложные приемы, перед которым заколебался бы он сам, профессор Добранецкий.

— Я должен был сразу узнать его руку! Какой же я глупец!

А ведь ему в руки попали и другие ниточки! Среди обследуемых находилась девушка, которую знахарь оперировал по случаю перелома основания черепа. Правда, Добранецкого сразу насторожила ее фамилия — Вильчур, но в суматохе он не подумал поговорить с ней. Вообще-то фамилия эта довольно распространенная. У него было несколько пациентов Вильчуrow. Однако уже тогда следовало задуматься. Возраст этой девушки соответствовал возрасту дочери профессора Вильчура... Когда она исчезла вместе с матерью из Варшавы, ей было лет... семь. Да, все ясно...

— Это не может быть случайностью. Знахарь Косиба... и она.

Профессор выбросил незажженную папиросу и стер со лба испарину.

— Значит, он не умер! Его не убили! Он укрылся в провинции под чужой фамилией и в мужицкой одежде, укрылся вместе с дочерью, но почему не изменил и ее фамилию?.. Почему отец и дочь делали вид, что не знают друг друга?

В памяти всплыли слова, сказанные девушкой при обследовании:

— Дядя Антоний был внимателен ко мне, как родной отец.

— Зачем эта комедия?.. Он ведь и есть ее отец! Достаточно было встать и сказать: «У меня есть право оперировать и лечить. Я не знахарь Косиба. Я профессор Рафал Вильчур».

И он был бы свободен.

— Почему же он так цепко держится за свою маску? Открой Вильчур свою настоящую фамилию в суде первой инстанции, и все бы тут же закончилось, но он предпочел свободе приговор, обрекающий его на три года тюрьмы!

Если бы профессор Добранецкий так хорошо не знал своего прежнего шефа и учителя, то у него возникла бы мысль, что Вильчур совершил какое-то преступление и теперь скрывается от закона.

— Нет, здесь скрывается какая-то тайна. Эта история более запутана, чем кажется на первый взгляд.

Память услужливо представила внутреннему взору Добранецкого первые дни после исчезновения профессора Вильчура. Неужели исчезновение пани Беаты с дочерью, а затем гибель профессора Рафала — хорошо разыгранная комедия?.. Тогда каковы же мотивы их побега?.. Отказались от состояния, положения в обществе, славы. И сбежали, но с какой целью? Рациональный разум Добранецкого требовал ответа, обоснованного логическими предпосылками и нормальными человеческими действиями.

Однако сейчас у него не было времени на разгадывание головоломок. Каждую минуту могли вернуться судьи и объявить приговор.

— Я обязан немедленно сообщить адвокату о своем открытии и потребовать возобновления разбирательства, чтобы сделать заявление, что в лице знахаря Косибы я узнал пропавшего профессора Вильчура.

Добранецкий закусил губу и чуть слышно повторил:

— Да, это мой долг.

Однако он не сдвинулся с места. Мысли вихрем проносились в его голове. Стремительно росла и цепочка возможных последствий такого открытия.

Прежде чем принять решение, следовало трезво взвесить все «за» и «против» и, естественно, предусмотреть последствия. Профессор Добранецкий не любил действовать вслепую под влиянием голых эмоций.

— Прежде всего, нужно взять себя в руки, — произнес он таким тоном, каким успокаивал нервных пациентов.

Он вынул папиросу и закурил, отметив про себя, что табак пересохший, что сегодня он выкурил меньше, чем обычно, и что следовало бы вообще ограничиться двумя десятками папирос в день. Привычные действия и мысли вернули ему спокойствие и уверенность. Результат не замедлил сказаться: он вспомнил нюансы, которым до сих пор не придавал никакого значения, но которые, в сущности, резко меняли ситуацию, — ведь знахарь в ходе процесса усмехался, глядя на него, усмехался совершенно откровенно!

— Он присматривался ко мне, как к кому-то хорошо знакомому, и, по крайней мере, не скрывал того, что пытается меня узнать!.. Что это может значить?

Ответ напрашивался сам собой: профессор Вильчур не боялся быть узнанным в обличье знахаря! Тогда почему он не прервал процесс простым заявлением, что он профессор, доктор медицины Вильчур? На это может быть только один ответ: «Он сам не знает, кто он...»

Сделав это открытие, Добранецкий вскочил сам не свой.

— Амнезия! Утрата памяти. Боже! Столько лет он блуждал... Дошел до уровня простого поденщика... Он потерял память...

Профессор Добранецкий точно знал, что следует делать, чтобы вылечить несчастного.

Достаточно было просто сказать ему, кто он, напомнить несколько деталей из его жизни, показать какой-нибудь знакомый предмет.

Разумеется, это может вызвать нервное потрясение, но, каким бы сильным ни был стресс, он неопасен.

Спустя несколько часов или дней к Вильчуру вернется память...

— И что тогда?..

И тут перед глазами Добранецкого отчетливо предстали неизбежные последствия. Прежде всего, новость о трагедии и ее счастливом финале разлетится по всей стране. Профессор Вильчур вернется в столицу. Вернется домой, в свое имение, в свою клинику. Он вернет свои права, должности, ведущее положение в мире медицины. Он станет еще более известным и любимым. Его окружит ореол мученика, ореол знахаря-чудотворца, который сумел остаться гениальным хирургом без операционных, без штаба ассистентов, без инструментов..

— Он вернется... а что тогда будет со мной?..

И профессор Добранецкий почувствовал во рту привкус горечи. Что будет с ним?.. Десять лет каторжного труда привели его к вершинам признания и успеха.. Что же теперь ждет его? Несомненно, все с восторгом воспримут его открытие. Он переживет еще один триумфальный день. А потом?.. В силу понятных обстоятельств его отодвинут на второй план, он снова окажется в тени величия Вильчура... Кафедру, правда, у него не отнимут, но под давлением общественного мнения он вынужден будет уступить ее добровольно, как, впрочем, и управление клиникой... кабинет директора... Конец его нововведениям, которые он делал на протяжении многих лет, председательству в разных объединениях и союзах...

Да, войти в зал суда и объявить, что этот знахарь — профессор Рафал Вильчур, значит отказаться от своих достижений и должностей, зачеркнуть самый плодотворный период своей карьеры и добровольно отказаться от всего, что он так любит...

И еще одно: в биографии Рафала Вильчура, написанной Добранецким, был один небольшой фрагмент, который даже спустя столько лет заставлял краснеть профессора от стыда. Описывая один из сложных случаев, встреченный им в лечебной практике, он приписал себе заслуги в постановке смелого и точного диагноза, что спасло пациенту жизнь.

Ложь эта, в общем-то незначительная, могла быть обнаружена только одним человеком — профессором Вильчуrom, но лишь в том случае, если к нему вернется память...

Руки и ноги профессора Добранецкого налились свинцом, в висках лихорадочно стучало.

— Как поступить?..

А что... если он промолчит? Будет ли это подлостью по отношению к Вильчуру? Будет ли для него трагедией остаться тем, кем он есть, жить в тех условиях, к каким он успел привыкнуть?..

— Ведь Корчинский совершенно случайно вызвал меня свидетелем! Так же случайно, черт возьми, я согласился выступить в суде! Если бы не это... Антоний Косиба до смерти остался бы знахарем и не чувствовал бы себя обиженным.

Правильно! И это должно стать основным критерием. Если человек не знает, что его оскорбляют, значит, оскорбления нет. Вильчур не знает, что он был кем-то другим. Нет счастья без осознания его, как, впрочем, и несчастья...

Резкий звонок оповестил о продолжении судебного заседания.

— Прошу встать! Суд идет, — донесся голос дежурного до слуха Добранецкого.

Он не сдвинулся с места. В зале зачитывали приговор.

— А что будет, если его осудят? — раскаленным гвоздем пронзила мозг досадная мысль.

Он сжал кулаки:

— Нет, не осудят, его нельзя осудить, — убеждал он себя.

Скоро послышались голоса, шум отодвигаемых стульев и разноголосый гомон. Дверь открылась, и публика высыпала в коридор.

По выражению лиц людей, присутствовавших на суде, нетрудно было догадаться, что приговор был оправдательным. Добранецкий с облегчением вздохнул. Ему показалось, что вся тяжесть ответственности свалилась у него с плеч.

Мимо, жестикулируя и громко разговаривая, проходили люди: мужики в коричневых кожаных куртках, врачи, адвокаты, мельник с сыном, чета Чинских. Последним в окружении большой группы шел знахарь Косиба со своим защитником, с молодым Чинским и его невестой.

Адвокат Корчинский со своими спутниками задержался возле профессора Добранецкого. Он что-то весело говорил ему, за что-то благодарил.

Профессор пытался улыбаться, пожимал их руки, но не мог поднять глаз. В какое-то мгновение он все же встретился взглядом с Антонием Косибой. Добранецкому потребовалось огромное усилие, чтобы овладеть собой и не закричать. Взгляд Косибы был напряженным, пронизывающим, полусознанным.

Наконец, они ушли, и Добранецкий, измотанный и оглушенный, опустился на скамейку. Он провел страшную ночь, ворочаясь с боку на бок и ни на минуту не смыкая глаз. Внимательный Корчинский забронировал для него самый дорогой номер в лучшей гостинице города. Здесь было тихо и уютно, однако профессор никак не мог уснуть. Под утро, совершенно измученный, он нажал кнопку звонка и попросил принести ему крепкий чай и коньяк. Лишь после этого он заснул.

Проснулся он поздно и с ужасной головной болью. Ему принесли почту из Варшавы. В телеграмме из клиники ассистент напоминал о предстоящем съезде в Закопане, где профессор должен был председательствовать, вторая была от жены. Она настаивала на возвращении.

— Приходило еще несколько господ, — доложил портье. — Спрашивали, когда пан профессор сможет их принять.

— Я никого не приму: мне нездоровится. Прошу так и объяснять посетителям.

— Слушаюсь, пан профессор. А адвокату Корчинскому?

— Всем.

Встал он только поздно вечером. Пора было складывать вещи и возвращаться в Варшаву, однако что-то удерживало его. Несколько часов профессор бесцельно бродил по городу, потом, накупив ворох газет, возвратился в гостиницу. Все газеты поместили пространные отчеты о судебном процессе и мотивах вынесения оправдательного приговора.

— Ну, все в порядке, — уговаривал он себя. — Я чересчур впечатлительный. Надо взять себя в руки!

Однако такое решение не слишком помогло. Когда Добранецкий начал собирать вещи, ему показалось, будто он делает что-то не то, а в душе нарастало такое раздражение и беспокойство, что он опять попросил принести ему в номер коньяк. И снова он провел бессонную ночь.

Рано утром профессор встал с готовым решением. Он вышел без завтрака, остановил первое попавшееся такси и назвал адрес адвоката Корчинского.

Адвокат встретил его еще в халате.

— Здравствуйте, дорогой профессор, — приветствовал его адвокат. — Я был у вас вчера два раза, но мне сказали, что профессор нездоров...

— Да, да... Мы не могли бы поговорить с вами наедине?

— Разумеется, прошу вас! — он встал и закрыл дверь кабинета. — Что случилось, профессор?

— Как фамилия той девушки?.. Невесты Чинского?

— Вильчур.

— Мария Иоланта?

— Что Мария, так это я точно знаю, а вот второе имя сейчас проверим.

Он вынул из стола папку с бумагами. С минуту искал и, наконец, нашел.

— Да, Мария Иоланта Вильчур, дочь Рафала и Беаты из фамилии Гонтыньских.

Оторвавшись от бумаг, адвокат увидел, как побледнел профессор. Глаза его были полузакрыты.

— Послушайте, — сказал он, делая над собой усилие, — я должен сообщить вам, что это... что она... его дочь.

— Чья дочь? — удивился адвокат.

— Дочь Антония Косибы.

— Не понимаю, пан профессор.

— Неужели Косиба не знал этого?.. Неужели она тоже не знала?..

Корчинский недоверчиво посмотрел на него.

— Пан профессор, — начал он, — это какое-то недоразумение. Косиба, действительно, заботился об этой девушке, и она добросердечно относится к нему, но я уверяю вас, что никаких родственных отношений между ними нет...

Добранецкий покачал головой.

— А я вас уверяю, что это отец и дочь. Антоний Косиба это... Рафал Вильчур.

Он с усилием выплеснул из себя эту мысль и замолчал, тяжело дыша.

— Как это?

Профессор ответил не сразу.

— Да, — заговорил он, как бы обращаясь к самому себе. — Я узнал его. Здесь нет ошибки. Этот знахарь не кто иной, как профессор Вильчур, который пропал тринадцать лет назад...

Добранецкий вдруг встал.

— Где он? Проводите меня, пожалуйста, к нему.

Адвокат встревожился, уж не случилось ли что с профессором Добранецким.

— Присядьте, дорогой пан профессор, — мягко обратился к нему Корчинский. — Мне кажется, произошла какая-то ошибка.

— Никакой ошибки. Это — Вильчур. Вы когда-нибудь слышали об известном варшавском хирурге с такой фамилией?

— Разумеется. Вы ведь руководите клиникой имени профессора Вильчура.

— Да. Тринадцать лет назад Вильчур погиб. Все думали, что он покончил с собой. У него была личная трагедия. Тело не нашли... Я был его ассистентом, правой рукой. После него я возглавил кафедру, принял на себя руководство клиникой... Да... Это он.

— Невероятно! — несколько успокоившись, сказал Корчинский. — Но вы, пан профессор, наверное, ошибаетесь. Отсюда вытекает, что тринадцать лет он скрывался под чужой фамилией?.. Зачем?

— Амнезия. Потеря памяти.

— Неужели?.. В это трудно поверить. Тринадцать лет...

— Да, это так.

— Извините, пан профессор. Когда об этом говорите вы, не должно оставаться никаких сомнений, но с научной точки зрения такое возможно?

— Вполне. Заболевание носит название «амнезия ретрограда». Медицина знает много подобных случаев. Регрессивное забвение... Стирает из Памяти человека всю ранее прожитую жизнь. После мировой войны отмечены сотни подобных случаев.

— Это результат нервного потрясения?

— Причина не играет роли. Амнезия наступает, как правило, после короткой или длительной потери сознания.

— Она неизлечима?

— Случается и такое. Однако в основном... Но не будем терять время. Где он?

— Косиба?.. Он выехал вместе с Чинскими. Они его забрали. Но это, действительно, сенсация! И пан профессор абсолютно уверен в своих выводах?

— Абсолютно!

— Черт возьми! Если бы я знал об этом на процессе! Представляете, что бы там было?! Добранецкого не интересовала эта сторона вопроса.

— Я сопоставил все факты уже после суда, — сказал он, уходя от разговора. — А сейчас... Вы не могли бы дать мне адрес этих Чинских?..

— С удовольствием. Вы собираетесь туда поехать?

— Конечно.

— И вы надеетесь вылечить Косибу, вернее Вильчура?

— Здесь не требуется никакого лечения. Просто достаточно напомнить ему, кто он. Если это не поможет... то других средств нет.

— Поразительно! Но все-таки он хоть что-то должен помнить, если не забыл знания и навыки врача?

— Да, поэтому я очень надеюсь на благополучный исход, — ответил вставая Добранецкий.

## Глава XX

Поезд с сопением остановился на маленькой станции. Стояло ясное, солнечное утро. Крыши зданий скрывал толстый слой пушистого снега, ветви деревьев сгибались под тяжестью снежных хлопьев. Широкая панорама, открывшаяся с перрона, блистала праздничной, первозданной белизной, манила мягкой и уютной тишиной.

Профессор Добранецкий стоял и всматривался в белое беспредельное пространство. Как давно он не был в деревне! В первые мгновения пейзаж показался ему неестественным, какой-то невероятно реалистичной и прекрасной декорацией. Прошло несколько минут, прежде чем он открыл в своей душе давние связи с этим заново обретенным миром. Давние связи... Ведь он родился в деревне, в деревне прошло его детство и первые годы юности.

«Тоже амнезия, — подумал Добранецкий. — Человек, живя в городе, забывает об этом мире, о его красоте и включается в болезненный ритм карьеры, работы, конкуренции... Для него

попросту перестает существовать эта красота и тишина... иной земли, где правда так непосредственно обращается к человеку, но не через радиоприемник, не с листа бумаги, испещренного черными буквами... Об этом забывается...»

Он услышал сзади легкое поскрипывание снега и голос:

— Вам, наверное, в Радолишки?

— Нет, мне в Людвиково. Нельзя ли здесь найти извозчика?

— Почему нет? Можно. Если хотите, я подскочу к Павляку, и он мигом запряжет.

— Я вас очень прошу.

Это «мигом», однако, продолжалось около часа. Поездка до Людвиково по ненаезженной дороге заняла почти полчаса. Когда сани, наконец, остановились возле дворца, был уже полдень. Привлеченная лаем собак, в дверях показалась пани Михалесея и, заслоня глаза ладонью, стала разглядывать незнакомца.

— Пан, наверное, по делам фабрики? — спросила она.

— Нет. Я хотел бы увидеть пана Чинского.

— Тогда входите. Но никого нет дома.

— Ничего. Я, собственно, хотел встретиться с невестой пана Чинского, с панной Вильчур.

— Ее тоже нет.

— Нет?

— Да! Все поехали в Радолишки. Профессор Добранецкий заколебался:

— А скоро вернутся?

— Неизвестно. Они поехали оплатить ксендзу объявление об их помолвке. Наверное, ксендз их не отпустит, оставит на обед.

— Да?.. Это плохо. А не могла бы мне пани сказать... Адвокат Корчинский в Вильно проинформировал меня, что Чинские забрали к себе некоего Антония Косибу, знахаря.

— А как же, забрали, правда. Только он не захотел у нас оставаться.

— Не понимаю...

— Ну, не захотел. Такой красивый домик ему приготовили там, за огородом, а он не захотел.

— Тогда где он сейчас?

— Где ж ему быть? На мельницу поехал, к Прокопу Мельнику. Говорил, что там ему будет лучше. С причудами старый. Но что это я вас на морозе держу, хотя мороз, правда, сегодня небольшой. Заходите, прошу вас...

Добранецкий задумался.

— Нет, спасибо, пани. Я должен поехать в Радолишки. У меня очень мало времени, я не могу ждать.

— Как вам угодно. Если вы хотите увидеться с хозяевами, то поезжайте к ксендзу.

— Хорошо. Спасибо, пани.

Кучер хлестнул коня, профессор плотнее укутал ноги бараньей шкурой и сани тронулись в обратный путь.

Однако в этот день, видимо, какой-то злой рок преследовал его. Приехав к ксендзу, он застал там только старших Чинских, которые его не интересовали. Их кучер сообщил профессору, что пан Лешек с невестой поехали на кладбище, где похоронена ее мать, а по дороге они собирались заехать на мельницу, чтобы встретиться со знахарем.

— Вы найдете их либо в одном, либо в другом месте, — заключил кучер и, обращаясь к кучеру профессора, спросил:

— А ты, Павляк, знаешь людвиковских пестрых коней?

— Чего же не знать...

— Ну так смотри. Молодой барин их взял. Как увидишь их, значит, и хозяин там.

— Известное дело, — кивнул головой кучер и цокнул на коня.

К кладбищу в Радолишках вели две дороги. Ближняя, по которой всегда проходили похоронные процессии, тянулась около Трех грушек. Сделав крюк с версту, можно было проехать мимо мельницы Прокопа Мельника. Именно эту дорогу выбрал Лешек, но не только потому, что она была расчищена, а чтобы заодно навестить знахаря. В глубине души Лешек был на него немного обижен. Он не понимал, почему Косиба отказался хотя бы погостить в Людвиково, почему не захотел поселиться в домике за огородом, над реставрацией которого они с Марьсей так долго хлопотали. Он знал, как любит Марья своего дядюшку Антония и как ей хочется, чтобы он был рядом с ней. Для обоих отказ знахаря оказался горькой неожиданностью.

И вот сейчас, возвращаясь от ксендза, они решили еще раз попросить его переехать к ним. Правда, Марыся, зная характер дядюшки Антония, особых надежд не питала. Однако Лешек, по натуре человек упрямый, уверял ее, что сможет уговорить знахаря переехать. Они застали его возле мельницы с мешком муки на плечах. Как раз грузили сани, называемые в этих местах розвальнями.

Он серьезным тоном поздоровался с ними, отряхнул руки и пригласил к себе в пристройку. — Сегодня не холодно, — сказал он, — но сейчас я поставлю самовар: горячий чай не повредит.

— С удовольствием, — поддержал Лешек. — Мы тут не стесняемся у вас... Как у себя дома.

— Спасибо за милость.

— Милости с нашей стороны, действительно, много, потому что вы пренебрегли нашим гостеприимством в Людвиково, а мы ваше принимаем.

Знахарь не ответил. Вытащив из-за печи старый сапог, натянул его на трубу самовара и стал раздувать угасшие внутри угли; оттуда вылетал пепел и искры.

— Пан Антоний, — опять обратился к нему Лешек, — вы, правда, нас обижаете. Вокруг Людвиково достаточно больных, которым требуется ваша помощь. А мы будем тосковать без вас...

Косиба горько улыбнулся.

— Шутите, пан Лешек! Зачем я вам нужен?..

— Постыдились бы, — Лешек сделал обиженный вид. — Не говоря уже обо мне, вы прекрасно знаете, как привязана к вам Марыся!

— Бог отблагодарит ее!

— Ну, так как?

— Так, но привязанность привязанностью, а жизнь жизнью. Новая жизнь, новые привязанности.

— Вот так так! — воскликнул Лешек. — Видишь, Марыся?.. Пан Антоний дает нам понять, что мы ему надоели, что он теперь к другим людям привяжется.

— Дядюшка Антоний, — Марыся взяла его под руку, — я так прошу, очень прошу...

Знахарь дотронулся до ее плеча.

— Голубка, моя дорогая! Я для тебя все готов сделать, только зачем я вам нужен? Старый я и хмурый. Одним своим видом омрачу ваше счастье. Ни к чему это. Нет. Если когда-нибудь захотите увидеть меня, заедете сюда на мельницу... И давайте оставим этот разговор...

Он повернулся к самовару, который уже начал нетерпеливо посвистывать. Лешек развел руками.

— Жаль. А я запланировал подарить вам на новоселье — в тот день, когда пан переедет в Людвиково, — комплект хирургических инструментов...

Он ждал ответной реакции на это соблазнительное предложение, но знахарь сделал вид, что ничего не слышит. Сняв с полки стаканы, он посмотрел их на свет и собрался наливать чай.

Когда они сидели за столом, Марыся сказала:

— Мы были сегодня у ксендза. Через четыре недели наша свадьба.

— Но на свадьбу, пан Антоний, вы должны приехать! — воскликнул Лешек.

— Обойдется там и без меня. Я не подхожу к тому обществу, которое соберется в Людвиково.

Я и отсюда от всего сердца пожелаю вам счастья.

— Вы не хотите быть свидетелем нашей радости и нашего праздника?!

— Дядя Антоний!

— Почему нет, — кивнул головой знахарь.

— В костел я приду, а свидетелем... Так я ведь с самого начала свидетель ваших несчастий и радостей. Слава Богу, что все хорошо заканчивается.

— О! Пан Антоний, все только начинается, — поправил его Лешек. — Это только начало нашего большого счастья, которое мы заслужили, выплакав море слез, преодолев столько преград, пережив столько бед и огорчений... Даже страшно представить, сколько же зла мы повидали в жизни.

— Тем лучше для вас, — серьезно сказал знахарь.

— Почему лучше?

— Потому что человек счастлив до тех пор, пока в состоянии достойно оценивать свое счастье.

А для человека ценно лишь то, что тяжело достается.

Все трое сидели, задумавшись. Молодые — над открывающимся перед ними счастливым будущим, Антоний Косиба — над своим одиночеством, верным спутником до конца дней. А ведь он столько пережил, столько натерпелся, но ничего для себя от жизни не получил. Он бы согрешил против собственного сердца, если бы пожалел им частичку того счастья, которого желал для себя и которое сейчас отдал им, как скромную монетку прибавил к их большому сокровищу... Нет, он ни о чем не жалел, просто на душе его лежала нестерпимая тяжесть, как у любого, кто уже ничего не ждет, ни на что не надеется, ничего не хочет...

Постучали в дверь. Вошел кучер с коробкой в руках.

— Боюсь, хозяин, что цветы замерзнут. Они уже давно на морозе.

— Хорошо. Пусть здесь постоят, — сказал Лешек. — Хотя нам недолго ехать.

— Куда это вы с цветами? — поинтересовался знахарь?

— Поедем на кладбище, на могилу мамы Марыси. Хотим поделиться с ней нашей радостью и попросить благословения, — ответил Лешек.

— Твоей мамы, голубка?

— Да.

— Правильно, это хорошо... Очень хорошо... Ты рассказывала мне когда-то, что мама похоронена на кладбище в Радолишках. Да, да... Когда ты, голубка, лежала в этой избе, находись между жизнью и смертью, я хотел пойти на ее могилку, помолиться за твое выздоровление... Заступничество матери не только перед людьми, но и перед Богом больше всего значит... Тяжелое было время... Только я не знал, где ее могилка.

Он нахмурился, потер высокий лоб и встал. Из алькова в углу принес большой пук бессмертника.

— Возьмите их. Отвезите. Эти цветы не замерзнут, не завянут. Это цветы усопших. Положите их от меня.

Марыся с глазами полными слез обвила его шею руками.

— Дорогой, любимый дядя...

— А может быть, и пан Антоний поехал бы с нами? Положил бы эти цветы сам? — деликатно предложил Лешек.

Знахарь посмотрел в глаза Марысе, подумал мгновение и кивнул головой:

— Хорошо, я поеду с вами. Отсюда недалеко до кладбища. Если буду знать, где могилка, так стану навещать время от времени, чтобы зелье вырвать и цветы положить.

Знал Антоний Косиба, как обижает Марысю отказываясь поселиться в Людвикове. И сейчас он хотел доказать ей, что все, что дорого ей, никогда не перестанет быть дорогим и близким ему. Четверть часа спустя они втроем сидели в санях. Лошади пошли мелкой рысью, и уже через сколько минут они были на повороте, откуда как на ладони виднелась капличка и вся возвышенность, на которой раскинулось так называемое Новое кладбище. От нового у него осталось только название, а в остальном прогнивший забор, покосившиеся кресты и прохудившиеся во многих местах стены каплички святого Станислава Костки свидетельствовали об обратном.

Старое кладбище, находящееся за костелов почти в центре города, за тридцать лет было так переполнено? что на нем не осталось ни одного свободного метра.

Здесь же, некогда на пустом, а ныне густо поросшем деревьями пригорке, хоронили усопших из Радолишек и его околиц. Между аллеями еще оставалось свободное место от могил и деревьев. Кустарники и деревья не хотели расти в сыпучем песке.

Дорога шла вдоль кладбища, и сани остановились у ворот. Отсюда нужно было идти по нетронутому белому снегу, которого местами навалило выше колен. Когда они миновали вершину пригорка, идти стало легче. Только возле могил метелью намело небольшие сугробы. Марыся остановилась у могилы матери, стала на колени прямо в снег и начала молиться. Лешек последовал ее примеру. Знахарь, сняв шапку, стоял позади них, погружившись в молчание. Он видел перед собой обычную сельскую могилку с небольшим черным крестом, увешанным высохшими веночками и до половины засыпанным снегом. Молодые закончили молитву. Лешек вынул из коробки цветы. Марыся смахнула с креста снег, и появилась табличка с надписью.

Антоний скользнул по ней взглядом и прочитал: «Святой памяти Беата из семьи Гонтыньских...»

Он сделал шаг вперед, вытянув перед собой руки...

— Что с вами, что с вами?! — вскрикнул пораженный Лешек.  
— Дядя!  
— Боже! — застонал знахарь. В его мозгу с поразительной ясностью ожило все. Он дрожал всем телом, а из его горла рвался какой-то глухой, нечеловеческий стон. Силы покинули его, и он рухнул бы на землю, если бы Лешек и Марыся не поддержали его.  
— Что с тобой, что с тобой, дядя? — шептала пораженная Марыся.  
— Мариола, доченька моя... доченька моя, — едва проговорил он дрожащим голосом и зарыдал.  
Они не смогли удержать тяжелого тела знахаря и как можно осторожнее опустили его на землю. Слова, произнесенные им, поразили молодых. Больше всего Марысю удивило то, что он назвал ее именем, которым очень давно, лаская, ее называла мама. На выяснение подробностей времени не было. У Антония Косибы, видимо, случилось нервное потрясение. Стоя, согнувшись, на коленях в снегу, закрыв лицо руками, он глухо, взхлеб рыдал.  
— Нужно перенести его в сани, — решил Лешек, — я побегу за кучером, потому что сами мы не справимся.  
Он уже направился к саням, когда на аллее показался профессор Добранецкий. Его неожиданное появление удивило их, но в то же время обрадовало.  
— Здравствуйте, пан профессор, — обратился Лешек. — У него нервный приступ. Что делать?.. Но Добранецкий стоял неподвижно, всматриваясь в табличку на кресте.  
— Нам нужно перенести его в сани, — сказала Марыся.  
Добранецкий покачал головой.  
— Нет, пани, позвольте выплакаться своему отцу.  
И, видя широко открытые глаза обоих, он добавил:  
— Это ваш отец, пани, профессор Рафал Вильчур... Слава Богу, к нему вернулась память... Пойдемте, отойдем подальше... Пусть поплачет...  
Пока они стояли поодаль, Добранецкий вкратце рассказал всю историю Рафала Вильчура. Слезы принесли, видимо, знахарю облегчение. Он тяжело поднялся с земли, но не отошел от могилы. Марыся подбежала к нему и прижалась лицом к его плечу. Она уже ничего не видела, потому что слезы застилали ей глаза, только слышала его тихий голос:  
— Царство ей небесное...  
Садилось солнце; пурпуром и золотом польхало небо на горизонте. На снегу лежались длинные голубоватые тени — первые прикосновения ранних зимних сумерек.

## Примечания

1

Вдвойне дает тот, кто дает быстро (лат.)

2

Спасибо, мой дорогой (англ.)

3

Положение обязывает! (фр.)

4

Мой принц (фр.)

5

Палец (ит.)

6

Учись, мальчик! (лат.)